



ISSN 1993-9477

XXI ВЕК **ВОЛГА** 5-6 2016
Литературно-художественный журнал



В Музее космонавтики. Личные вещи П. И. Климук



Реактивный самолёт перед Музеем космонавтики



XXI ВЕК

ВОЛГА

5-6 2016

Литературно-художественный журнал

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

- А.Ю. Аврутин** – член Союза писателей Беларуси (Минск)
А.Б. Амусин – член Союза писателей России, председатель Ассоциации Саратовских Писателей
А.А. Бусс – член Союза писателей России (Саратов)
В.И. Вардугин – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
Е.А. Грачёв – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
Д.Е. Кан – член Союза писателей России (Новокуйбышевск)
О.И. Корниенко – член Союза писателей России (Сызрань)
В.В. Ковалёв – член Союза художников (Рига)
В.А. Кремер – член Союза писателей России (Саратов)
М.А. Лубоцкий – член Союза писателей Москвы, ответственный секретарь Ассоциации Саратовских Писателей
В.Д. Лютый – член Союза писателей России (Воронеж)
М.С. Муллин – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
Г.П. Муренина – директор музея Н.Г. Чернышевского, член Ассоциации Саратовских Писателей
Н.В. Шаталина – член Союза журналистов России (Саратов)

5-6 2016

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭТОГРАД

Диана КАН. **Я вернусь по весне**..... 3

ОТРАЖЕНИЯ

Я. УДИН. **Под палящим солнцем** 10

ПОЭТОГРАД

Ренат ХАРИС. **Клятвенная чаша** 17

ОТРАЖЕНИЯ

Виктор САЗЫКИН. **Хам удостоенный** 23

ПОЭТОГРАД

Игорь ПРЕСНЯКОВ. **В небесах — ни кола ни двора**..... 65

ОТРАЖЕНИЯ

Алёна БЕЛОУСЕНКО. **Два рассказа** 69

ПОЭТОГРАД

Василий РЕСНЯНСКИЙ. **Последняя ласточка** 83

ДЕСЯТАЯ ПЛАНЕТА

Сьюзен ГЛАСПЕЛЛ. **Где-то далеко** 86

В САДАХ ЛИЦЕЯ

Анастасия УСТИНОВА. **Я с жизнью играю ва-банк**..... 99

КАМЕРА АБСУРДА

Нелли КРЕМЕНСКАЯ. **Начало** 101

ОЧЕРК

Владимир ВАРДУГИН. **Ведущий за руку в мир прекрасного** 109

НА ВОЛНЕ ПАМЯТИ

Валентина ТАРХОВА. **«Растворённые в тропиках» (Главы из книги)** 116

СТАТЬИ

Галина ДЕРБИНА. **Булгаковские шарады** 146

К 55-ЛЕТИЮ ПОЛЁТА

ПЕРВОГО КОСМОНАВТА ЗЕМЛИ Ю.А. ГАГАРИНА В КОСМОС

Владимир ЕФИМОВ. **Томашовка. Школа. «Космическая станция»** 154

РЕЦЕНЗИИ

Елизавета МАРТЫНОВА. **Царство красоты** 161

Елизавета МАРТЫНОВА. **По велению сердца** 163

ТЕАТРАЛЬНОЕ РЕВЮ

Натэлла ЛЕВИЦКА. **Личности и личинки (Продолжение)** 164



**Диана
КАН**

Я ВЕРНУСЬ ПО ВЕСНЕ...

Ныне и присно уже не приснится
(Разве во веки веков!)
Волга – усталая синяя птица,
Дочь голубых родников.

Ты ль не поила шальных атаманов?
Ты ль не топила княжон?
Не над тобой ли, от удали пьяной,
Царский штандарт водружён?

Так отчего же ты больше не вхожа
В странные песни мои?..
Азия, чёрная птица, итожит
Душу-добычу в крови.

...С чувством меня научившие, с толком
И с расстановкою петь,
Средняя Азия, Средняя Волга,
Встретимся ль, милые, впредь?

Да и какие вы «средние», право,
Ежели не налегке
Насмерть форпостами русской державы
Встали в судьбе и строке?

И – рассчитались со мною сторицей..
Что ж, запевай «Бисмилля!»,
Окровавлённая хищная птица –
Азия, песня моя!

-
- Диана Елисеевна Кан – автор книг «Високосная весна», «Согдиана», «Междуречье», «Покуда говорю я о любви», «Звёзды окликают» и др., а также многих публикаций в центральных и региональных изданиях России. Член редакционных советов ряда изданий России. Руководитель народного литобъединения «Отчий Дом» в г. Новокуйбышевск Самарской области.

*«...Морская канула в моря...»***Марина Цветаева**

Кровавые рябины справа.
 Плакучие берёзы слева.
 Твердят: «Марина, Вы не правы!» –
 Тебе, Марина-королева!

Пеннорождённая морская –
 В стихии тесной пресноводной –
 Обречена была такая
 На смерть, чтоб снова стать свободной!

Ты канула... О, если б в море!
 Прощай, прикамское приволье!
 Но это горе – всё ж не горе,
 Лирическое своеволье!

Не горе, что не пожелала
 Дурной эпохе стать служанкой.
 А горе, горе, что не стала
 Елабужанкой и волжанкой.

А горе то, что не воспела –
 Как только б ты сумела! – Волгу
 За всех, кто за избытком дела
 Века ей верен втихомолку.

Неизреченные напевы
 Шального волжского прибоя,
 Отвергнутая королева,
 Ты унесла навек с собою.

Жигулёвская вольница стонет: «Вернись!..»
 Новгородская вольница чаёт: «Приди!..»
 Это смех, это грех, это жость, это жисть,
 Это вольная воля в разверстой груди.

Заплутавшая в северном синем бору,
 Целовавшая питерский гордый гранит,
 Эта вольная воля звенит на ветру
 И шутя обживает имперский зенит.

Что ей труб водосточных крикливая жость
 И слезливая жисть прошлогодних снегов?
 Пьяный смех, свальный грех и бездарная месть
 Тех, кто тщился стяжать себе званье врагов?

Что ж, попытка – не пытка, и где наша не
Пропадала, печалилась, пела, летала...
Я вернусь по весне... Я вернусь по весне –
Високосной весной – разве этого мало?

Что ты смотришь с надменной насмешкой,
Теребя белопенную ветвь?
Ну, рассмейся в лицо мне – не мешкай! –
Черноглазая дерзкая стервь.

Что тебе чья-то тихая нежность?
Не смутила пока что слеза
Щёк твоих первозданную свежесть
И колючие звёзды-глаза.

Всем ты в радость, и все тебе в тягость.
Без вины виноватых прости!
Ты ж моя ненагляда-загляда –
Это зеркало явно не льстит!

Разбивай покорённые души.
Рот змеиной усмешкой улыжь...
Только золото звонких веснушек
По ухабам чужим не рассыпь!

Сбереги для родного простора
И веснушки свои, и грехи,
И смешки, и словечки, что скоро –
Скоро вызреют в чудо-стихи.

Что мне твой скоротечный румянец,
Пламень губ, что сгорает дотла?..
Что мне хохота протуберанец,
Разбивающий вдрызг зеркала?..

В окруженье цветов белопенных
Ты покуда – никто и ничья,
Сколь заглядчива – столь же мгновенна,
Звездоокая юность моя!

Щелчком смахнула пепел с папиросы.
Заметила: «Тебя, наверно, ждут!..»
И разом улетели все вопросы
Как дым в невозмутимый абсолют.

Прихваченные отчуждённой стужей,
Они теперь летят за облака –
Вопросы, что испепелили душу,
Но так и не слетели с языка.

Болтаете о чём-то несерьёзном,
Ведь надо же о чём-то говорить...
И ты вдруг понимаешь: слишком поздно
Пытаться что-то в жизни изменить.

Да, ты любил. Но был ли ты любимым?..
Ты вовремя его не произнёс –
Сегодня улетевший вместе с дымом
Всего один-единственный вопрос.

Что ж, ты не сотворил себе кумира.
Ты победил... Гляди издалека,
Как, абсолютно безучастны к миру,
Дымятся над землёю облака.

Здесь ещё чужая. Там уже чужая.
Полно!.. То потеря в жизни небольшая.
Ну-ка, ногу – в стремя, в руки – удила.
Отродясь насильно милой не была.

Покури в сторонке, разлюбезный враг!
Бьёт копытом звонким звёздный аргатак.
И течёт дорога аж до самых звёзд
Вдоль реки Молога через млечный мост.

Улица сутулится под ветром.
Горбится под ливнем старый мост...
Ну а я бегу, считая метры
До того, что невзначай сбылось.

Зонт мой нераскрывшийся, что дальше?
Я не пожалею ни о чём,
Вымокнув под самым настоящим,
Самым майским проливным дождём.

Друг, меня предавший, ну и как ты?
Не печалься, что продешевил!
Нынче у меня достанет такта
Сделать вид, что ты меня прости!

Рыжий, словно око светофора,
Кот, глядящий ночью в лица звёзд,
Привязался, чтоб отстать не скоро –
Прихвостень, бродяга и прохвост!

...На сыром ветру роняя блёстки
Всем случайным-неслучайным вслед,
Ты дождись меня на перекрёстке,
Долгожданный мой зелёный свет!

Кто мы? Что мы? С кем мы? Где мы?
Как нам жить и быть теперь?..
Белокурый юный демон
Кофе мне принёс в постель.

Всё случившееся – в силе.
Всё у нас не как у всех:
Всю-то ночь проговорили
О стихах – и смех, и грех!

Н-да, неладно что-то с нами...
Впрочем, может, хорошо:
Так мы увлеклись стихами,
До греха и не дошло!

Я, наверное, жестока.
Но не более, чем он.
Я люблю Сапфо и Блока,
Он в Есенина влюблён.

Среди классиков не тесно
Нам – совсем наоборот!
Разобраться бы с небесным,
А земное подождёт!

Пуглив и странен,
Диковат и тих,
До времени державшийся в сторонке,
Меня подкараулит мой же стих,
Похож на нежеланного ребёнка.

В какой такой сторонке он возрос?
На стороне возрос... Моей родимой!
И сколько пролил безутешных слёз,
Покуда мать фланировала мимо!

Переживая бедствие моих
Лирических любовных отступлений,
Эпических реваншей жаждет стих –
Дитя моих спонтанных вдохновений.

Напрасный труд – надеяться и ждать,
Пока мамаша в небесах витает.
Увы, не повезло тебе на мать,
Но дети матерей не выбирают!

Что матерняя ласка – сторона,
Ты пообвыкся на родной сторонке.
Как поживаешь, милый?.. Тишина
В ответ звучит заносчиво и звонко.

Велика кобыла – воду возит...
 Сокол мал, но не тягаться с ним!
 Срок настанет – сокол грянет оземь
 И предстанет суженым твоим.

Он тебе напомнит, что когда-то,
 Покидая свой небесный дом,
 Ты была беспечна и крылата,
 И негоже забывать о том!

Что ты в оправдание ответишь,
 Суется попутно у печи?
 Так, мол, вышло – народились дети.
 Ну а муж? Ищи его свищи!

Да, была беспечна... Только печку
 Ты никак не вправе укорять
 Ни единым суетным словечком:
 Не свекровь она – родная мать!

До всего всегда ей было дело.
 Хоть пыхла сгоряча порой,
 Всё же приютила и согрела,
 Наделив насущною едой.

Ну а ты, хоть и кидалась оземь,
 Вновь крылатой стать не довелось...
 ...И судьба-кобыла воду возит
 На тебе, обиженной до слёз.

Причёска «полюби меня, Гагарин!»,
 Поплиновые платица в горох...
 Неужто свыше этот день подарен,
 Чтобы никто отнять его не смог?

Никто-ничто! Ни будущие слёзы
 Предательски терзаемой страны,
 Ни мужние похмельные угрозы,
 Ни призраки космической войны.

Ни дети, ни морщины, ни седины,
 Ни алименты – чёрт бы их побрал! –
 Отнять не властны этот день единый,
 Который – был! И самым звёздным стал!

Когда, лучась улыбчивостью кроткой,
 От знойных взглядов заслонясь рукой,
 Они слетались к оренбургской «лётке»,
 Благоухая «Красною Москвой».

Слетались, словно птички-невелички.
О чём-то щебетали меж собой,
Верны исконной девичьей привычке
Везде искать небесную любовь.

Ах, здесь что ни курсант – то сокол-парень!
Крылатым помогает Оренбург.
Ах, кабы знать, какой из них Гагарин?
Он сам тебя узнает средь подруг!

Спешат девчата к оренбургской «лётке»...
И пусть не всем сегодня повезло –
Не вышли на свиданье парни-«слётки»,
Поставленные крепко на крыло.

А может, и не выйдут... Может статься,
Взлетели, улетели высоко,
Чтобы мечтою навсегда остаться,
Ведь без мечты на свете нелегко!

Ведь без мечты, до времени состарен,
Однажды рухнет мир, как в страшном сне...
Люби меня, как я тебя, Гагарин!
Люби меня, не зная обо мне.



Я. УДИН

ПОД ПАЛЯЩИМ СОЛНЦЕМ

ЗАТРАВКИ

ДУНОВЕНИЕ ПАМЯТИ

Я вспомнил, как юношей косил с мужиками в горах, и на меня повеяло свежестью росных альпийских лугов. На меня повеяло дуновением памяти и почти позабытым ощущением силы, когда косьё будто влито в ладони, когда рубашка прилипает к мокрому здоровому телу, когда запах собственного пота, словно настоящего на травах, цветах и солнечном луче, сладок и душист, – безвозвратно ушедшим временем повеяло на меня.

И досадно, грустно стало на душе.

Ты живёшь себе в городе, зарабатываешь деньги, читаешь книги, ходишь на концерты, выставки и спектакли, и всё это тебя не очень удовлетворяет, всё это кажется неважделанным, искусственным, что ли. Но ты знаешь, что у тебя есть малая родина и что там всё настоящее, и всё на свете сравниваешь с тем, что оставил там, а по ночам тебе не спится, ты тоскуешь, думая о том, как прекрасна твоя родная земля, какие там чистые люди, как умеют трудиться и радоваться, и загадываешь когда-нибудь насовсем вернуться туда, а сам чувствуешь, что это самообман, самоуспокоение, что ты полностью захвачен, опутан этим ненадёжным, утлым существованием, называемым культурным образом жизни. Потом ты засыпаешь наконец, и тебе снится всё та же малая родина, и опять тебе нет покоя, ты взволнован, счастлив – ты весь во власти прошлого!..

-
- Я. Удин (Яша Геранович Манджиян) родился в 1951 году в селе Нидж Азербайджанской ССР. По национальности удин. Учился в Саратовском государственном университете. Автор четырёх книг прозы, изданных в Москве и Саратове, публикаций в журналах «Волга», «Подъём», «Волга–XXI век», «Сура», «Литературный Саратов», «Аргамак», в альманахах «Волжские зори», «Истоки», «Саратов литературный», «Московский Парнас», «Стрежень», «Впечатления» и других периодических изданиях. Член Союза писателей СССР и Союза писателей России.

ПРЕЕМНИК

Где-то в незапамятном прошлом дед с внуком, стар да млад, плотничают. Под высоким навесом два верстака, большой и маленький, верстак деда, верстак внука.

«Вж-жик, вж-жик, вж-жик...» — поёт рубанок деда, высекая кудрявую золотистую стружку.

«Фшик, фшик, фшик...» — дишканит рубанок внука, вхолостую скользя по доске.

Они что-то там такое мастерят. У деда за ухом карандаш, у внука карандаш не держится.

— Что, слаб ухом-то? — лукаво замечает дед. — А ты привяжи чем-нибудь.

— Гы! — показывает розовые дёсны мальчишка. — Гы-гы!..

— А ты забудь про карандаш-то, — серьёзнее советует дед. — Забудь про него, о работе думай — и он будет держаться.

Мальчишка замирает, вникая в суть дедовых слов. Рядом с навесом молодая женщина, сидя на табуретке, кормит грудью ребёнка:

— Ешь же, ешь. Ну чего тебе, чего?.. Ох, окаянный, укусил-то как!..

Чуть дальше, под развесистой яблоней, курлыкают индюшки. Теплынь разливается кругом. Приятно пахнет белым наливом.

Скоро им приносят чай под навес. Они садятся с разных сторон маленького верстака, располагаются друг против друга. Пьют чай. Дед курит. Кошка чёрная, но три ножки в белых чулочках, и кончик хвоста белый, и одно ухо; кошка резвится на сухом кудрявом ворохе — шуршит стружками. Дед пьёт чай очень горячий и совсем без сахара.

— Что ты никогда сахар не берёшь? — спрашивает внук. — Экономить?

— Не привык, — просто отвечает дед, пыхнув густым клубком дыма. — Отродясь без сахара обходился. Да и не было его.

— Как не было? — удивляется внук. — Ни вот нисколечко?

— Ну, — кивает дед. — Тогда много чего не было. А соль и керосин на верблюдах привозили.

О верблюдах мальчишка слышит впервые.

— А как это? Как? — загорается он. — Расскажи, а?..

— Ну, известно как: среди бела дня ездили по селу на верблюдах и кричали: «Ай дуз-нефт алан, ай дуз-нефт алан!..»

— А много верблюдов было?

— Кто ж их считал? Пять, шесть — целый караван. Отец мой всегда брал меня к каравану. Сам-то слепой был, без меня шагу, бывало, не ступит. А так детей к верблюдам не подпускали.

— А отчего он, отец твой, ослеп? — допытывается внук. — Или слепым родился?

— Нет, что ты, родился он зрячим. Даже не то что зрячим, охотником был первейшим, зверя ли, птицу единым выстрелом клал. А глаза на войне вытекли, на первой мировой. Но, несмотря на это, женился на девушке, которую с детства в семье сношенькой звали, на наречённой то есть. И если жену он и помнил, какая она была, то детей своих никогда не видел. Бывало, погладит меня по головке — а я в ту пору совсем мальцом был, вот навряде тебя, — поерошит мои вихры

и говорит: «Волосы как у меня, мягкие, а лицом похож ли – бог тебя разберёт».

Внук силится и не может представить деда мальчишкой. Старик тем временем продолжает:

– Вот был у нас осёл, кто-то ему уши отчекрыжил...

– Кому? Ослику?

– Ослу, ослу, – говорит дед. – Злых людей и тогда хватало. Кто-то со зла отхватил уши бедняге, и с обрезанными ушами, изувеченный – а осёл без ушей, считай, и не осёл уже, а что-то другое – он прожил восемнадцать лет. Все в округе знали его и жалели, и проклинали того изверга, что искалечил божью тварь. Потом, помнится, осла пристрелили, старый он стал, немощный, изработался весь, и вот порешили, чтобы не мучился...

Глаза мальчишки блестят: жаль ослика. Он переживает, слушая, впитывая каждое слово, и ещё не знает, конечно, что память деда исподволь становится его памятью...

БОГ

Детство моё прошло вроде в безбожные в нашей стране времена. Но в моём родном селе в застольях любой тост все как один воспринимали с Божьим словом: «Аминь». Впрочем, на нашем наречии говорили: «Аммен». Женщины ложились спать с именем Иисуса Христа. Пекли хлеб, обязательно нанося на серёдку каждой раскатанной лепёшки крестик. Хлеб преломляли тоже непременно с именем Господа и многое, очень многое свершали с именем Спасителя.

Когда большевики отменили религию и закрыли храмы (кстати, в нашем селе не снесли ни одной церкви, просто на входные двери навесили увесистые амбарные замки), мои соплеменники удины всё равно не отвернулись от Бога, они просто вернулись к языческим своим верованиям, с тем же именем Иисуса Христа и с пучком тонких восковых свечек шли к древним молельным камням, святым деревьям и родникам. Выходит, никаким указом или запретом из народа не вытравишь Бога.

Помню также из детства, как бабушка исполосовала мою спину ореховым прутом, когда я из любопытства убил из рогатки ласточку. При этом никто из взрослых не заступился за меня, и мне было до слёз обидно, что из-за какой-то ничтожной птички так сурово наказан и ни одна живая душа в нашем большом доме даже не пожалела меня. Ведь из той же рогатки я ежедневно сшибал воробьёв, дроздов, и никто мне ни слова упрёка не высказывал. Более того, как-то метким выстрелом в глаз насмерть уложил молодецкого бабушкиного петуха, оставив два десятка несушек без хозяина, но тоже отделался незначительной трёпкой. А тут пустячная ласточка – и такая нешуточная расправа. Это было странно и непонятно. Только спустя многие и многие годы в какой-то книге я вычитал: «...ласточки – божьи птички: их Христос благословил за то, что они у римлян украли гвозди».

ЖАРА

Смутно видится вдали знойный летний полдень. Разомлевшая от жары пара тягловых буйволов прохладается в загаженном водоёме. Животные привычно отдыхают себе, почти полностью погрузив тяжёлые свои тела в грязную воду. Одни лишь рогатые головы торчат над затянутой зелёной ряской поверхности. На широком лбу одного буйвола, между мощными чёрными рогами, суетливо скачет трясогузка. Иногда буйволы мотают головой и громко фыркают ноздрями, и тогда трясогузка отлетает куда-то, но вскоре возвращается обратно и всё что-то выклёвывает в жёсткой шерсти животного. Даже на приличном отдалении от водоёма резко пахнет характерным запахом буйволов.

Мальчик томится в плотной тени раскидистого грецкого ореха, от нечего делать лениво наблюдает за буйволами и трясогузкой. Больше ничего интересного окрест не видно. За линией тени орехового дерева весь мир плавится в слепящем мареве. Тягучей смолой тянется время, и вскоре, сомлевший от жары, мальчик незаметно для самого себя проваливается в сон, привалившись к комлю дерева. Часа через два примерно наконец буйволы шумно, с чмоканьем копыт, оскальзываясь короткими ногами, выбираются из воды. Мальчик с трудом разлепляет веки и видит, что буйволы отряхиваются от влаги, налипшей ряски и, опустив огромные головы, начинают щипать траву, поматывая куцыми метёлками хвостов. Мальчика снова засасывает разморённая сладость душного сна.

Но буйволы недолго пасутся под палящим солнцем. По своей природе они обычно кормятся по вечерней прохладе или даже ночами. Так что очень скоро они забредают в тень орехового дерева и ложатся на землю недалеко от мальчика. Эдак все трое очень долго перемогают жуткое пекло. Мальчик иногда просыпается весь в поту, задрав грязноватую зелёную майку, размазывает испарину по лицу, как сквозь пелену замечая, как буйволы безмятежно жуют вечную свою жвачку, потом исподволь опять забывается липким сном.

Лишь ближе к сумеркам мальчик отгоняет буйволов к арбе возле дома колхозного возчика, с помощью того же возчика запрягает и трогается в путь. Движения буйволов неспешны, кажутся даже неуклюжими. Но мальчик знает, что так они ходят всегда, не стоит ни понукать, ни тем более хлестать по спинам гибким прутом, всё равно рысцей не побегут. Такие прихотливые это животные. Арба почти вся деревянная, сработанная без единого гвоздя или какой иной железной части, кроме, конечно, тускло лоснящихся ободков высоких колёс. Деревянная ось опять плохо подмазана, истошно взвизгивает на всю округу. Мальчик с деланой досадою на лице издаёт необходимый окрик «Ооо-а!» – и буйволы покорно останавливаются. Мальчик деловито снимает с боковой грядки арбы широкий буйволиный же рог с разведённым хозяйственным мылом, с торчащей изнутри мочальной кистью, молодцевато спрыгивает на землю и начинает тщательно подмазывать ось.

За этим занятием и оставим мальчика, поскольку за давностью лет запомнил, по какой неотложной нужде и, главное, куда он правит арбу пред стущающимися фиолетовыми сумерками.

БЛАЖЬ

Стоял погожий осенний денёк, сотканный из тишины и тонюсенькой паутины. Алош умывался на чужой веранде. Наладил барахливший телевизор и теперь, после работы, мыл руки. Рядом с ним, держа в руках чистое полотенце, топталась хозяйка дома.

– Спасибо тебе, Алош, что уважил, – говорила она. – Больше месяца без телевизора сидели, а ты за полчаса вернул нам радость. Спасибо, милый, дай Бог тебе долгих лет жизни.

– Дело пустяковое, – ответил Алош, скромно улыбаясь, и принял из рук женщины полотенце. – Телевизор или магнитофон – мелочь для меня. Бывает посложнее техника.

– Я и говорю, – продолжала женщина, – раз-раз, и всё готово! И как ты во всём разбираешься, ты ведь по телефонам инженер?..

– С малых лет занимаюсь – как не разбираться, – сказал он просто. – Ну, мне пора. До свидания.

– То есть как? Кто же тебя так отпустит? – засуетилась женщина. – Сейчас стол накрою, пообедаешь, выпьешь.

– Да нет, спасибо, – возразил Алош, спускаясь по лестнице. – Я сыт, недавно поел.

Но женщина как-то неловко себя чувствовала.

– Это нехорошо, Алош, милый, – мягко выговаривала она, ступая следом. – Поработал и уходишь, ничего не отведав. А я специально готовила... Ну постой же, постой. Хоть плату за работу возьми. Постой, куда же ты?..

– Ну что вы, ничего не нужно. Я денег не беру, – отмахнулся Алош и, стукнув калиткой, зашагал прочь.

– Ва-ай! – оставшись одна, вслух удивилась женщина. – Да он и правда малахольный – не зря, оказывается, люди говорят. Чудно, за свой труд денег не берёт. Блажь-то какая.

Она ненадолго замерла посреди двора, словно бы пытаясь постичь нечто диковинное. Алош же тем временем неспешно шёл домой. Чуть приметная улыбка играла на его светлом лице. Он всегда уходил от клиентов, отказавшись от вознаграждения и с хорошим настроением. Никакая это не блажь, конечно, а давняя, почти из детских лет вынесенная привычка. Ещё школьником он начал колдовать с паяльником в руках, а позже, уже в студенческие годы, прослыл настоящим мастером и, приезжая в родное село на каникулы, был нарахват. И старался он из одного азарта, из любви и интереса к технике, да и не знал он в ту пору, не догадывался даже, что своё увлечение, почти ребячью свою страсть, всё равно что забаву, можно превратить в источник дохода.

ПОД ПАЛЯЩИМ СОЛНЦЕМ

Мастер Маис поднял с земли завалившуюся увесистую доску, положил на гусеницу бульдозера с теневой стороны и, подпрыгнув, уселся на эту доску, до серости выгоревшую кепку на глаза натянул, задремал. Он долго так сидел, опустив плечи, лениво поникнув, подрёмывал и улыбался сквозь дрему; такая блаженная улыбка то вспы-

хивала, то гасла на его полном загорелом лице. Ничего не скажешь, красивый получился детский сад, на радость мальчикам, которые скоро начнут ходить сюда, в этот садик, где им будет светло и просторно, уютно, зимой тепло, а летом прохладно, потому как веранда застеклённая и все рамы отворяются; здесь детишки узнают первые свои буквы, споют первые свои песенки, нарисуют первые картинки; потом уйдут из садика, пойдут в школу, а на их место придут другие, после и эти уйдут – и так без конца будут здесь детский смех, гвалт, визг...

Вдруг мастер Маис как от толчка вздрогнул и понял, что заснул и чуть не свалился, не полетел вниз головой с гусеницы бульдозера. Он весь взмок от жары – тень сдвинулась, и он оказался на самом пекле, – рубашка прилипла к спине, горячие струйки пота текли по лицу. Он снял кепку, достал платок и вытер лицо и голову со слегка поседевшими, коротко остриженными волосами. Он немного поворчал на жару, обмахиваясь платком. «Чтоб тебя!.. – сказал он солнцу. – Будто испечь нас подрядилось...» Потом с тоской посмотрел вдоль накатанной пыльной дороги, по которой должен был приехать бригадир-работодатель с комиссией по приёмке. Но дорога была пуста, лишь два воробья, ошалело чирикавая, возились в пыли.

Мастер Маис сладко, разморённо зевнул, сидя на раскалённом железе под этим палящим волжским солнцем, стоящим уже в зените, зевнул и подумал, что ничего не случилось бы, если он тоже с ребятами пошёл на реку. Купальщик из него, конечно, никудышный, но хоть время от времени мог по колено зайти в воду, поплескаться или просто так посидеть на откосе по-над Волгой, на выгоревшей до срока ломкой траве, покуривать – всё ж прохладней, посвежей там. А то сиди и жди его, не зная, приедет или не приедет. Три дня подряд повторяется одно и то же: бригадир, велев им далеко не разбредаться – дескать, при сдаче объекта можете понадобится, – уезжал, а они сидели, томясь от безделья, изредка обвеваемые степным суховеем, обливаясь потом, ждали. Целых три дня ждали, и всё без толку.

А сегодня ребята не выдержали, махнули рукой – пропади всё пропадом! – ушли купаться. Но мастер Маис не решился уйти: а вдруг приедут, начнут принимать здание детского сада и придерутся к чему, обнаружат недоделку какую мелочную, которую придётся устранять тут же, при начальстве, чтоб они, значит, не уехали и не назначили приёмку на другой день. Хотя, если по-доброму, вряд ли чем могут быть недовольны, работа и вправду сделана на совесть. Бывало, бригадир даже распекал его, мастера Маиса, мол, так-то уж стараться, может, и не нужно бы – не царский дворец строим, чтобы так аккуратно всё подряд отделявать, подгонять каждую раму, наличник ли; сетовал, что чересчур уж нерасторопен мастер Маис.

Мастер Маис никогда не обижался на эти упрёки, обычно стоял перед бригадиром, переминался с ноги на ногу, почёсывая под расстёгнутой рубахой волосатую грудь, и как-то виновато, застенчиво даже улыбался, обнажая ряд крепких белых зубов, заранее зная, что по-прежнему будет работать медленно: на склоне лет натуру свою не изменишь. Конечно, случалось, и препирались, но всё это осталось позади, всё прошло – слава Богу, отмаялись. Мастер Маис, где бы ни работал, всюду оставил о себе добрую память, никогда не зала-

мывал цену и трудился, как все истинные мастера, основательно, сделанная им работа всегда была и красивой, и долговечной, и в общем и целом он был доволен своей жизнью, Бог всегда так или иначе давал на хлеб насущный...

Так-то оно так, конечно, но безделье томило, прямо угнетало, и мастер Маис не знал, куда от него деться. Он спрыгнул с гусеницы бульдозера, отряхнул сзади штаны и, сдвинув кепку на затылок, нервничая, прошёлся взад-вперёд и с досады смачно сплюнул на бульдозер, и плевков, попав на раскалённый металл, казалось, зашипев, испарился – и это было похоже на то, как если бы бульдозер обиделся, что плюнули на него, зашипел от злобы. Мастер Маис подумал о том, какое в этих краях жестокое лето: до срока пожелтели, огрубели травы, земля потрескалась, зной опалил листья на редких чахлых деревьях, совсем не слышно птиц, кроме, конечно, вездесущих воробьёв.

И, думая так, он вскинул голову, жмурясь, поглядел вверх: там белое солнце растопило небо до бледной, почти белёсой голубизны; там медленно, этак величаво плыло облако, большое белоснежное облако. Вот взвиться бы и оказаться в самой середине этого облака и лечь, развалиться, вольно раскинув руки-ноги, в этой плотной курчавой белизне и ни о чём не думать, забыться в поднебесной прохладе. И плыть, плыть над этим раскалённым миром, над этой бескрайней степью, над сёлами, городами, над Волгой, над Волгой, долго плыть над Волгой, потом над морем, плыть над морем, глядя на белопенные гребни волн внизу, плыть, плыть до тех пор, пока не окажешься над родным селом. Там уже можно спуститься на землю, там всегда прохладно, там сплошь сады, леса, поляны с непролазной травой, там тьматьмущая певчих птиц, там студёные шумливые речки, рождаясь в снеговых вершинах гор, бойко бегут через село, там всё своё, привычное, там жена, готовая по одному твоему взгляду подать чай на стол в тени айвового дерева, там внучок бегаёт по сочно-зелёной травке, гонится за пестрокрылой бабочкой...

Когда получают деньги, нужно будет хоть на денёчек задержаться в городе, походить по магазинам и кое-что прикупить. Ведь приедет из далёкого такого далека, после пятимесячного отсутствия с пустыми руками не явишься. Жене, к примеру, необходимо купить пуховую шаль, очень просила, когда уезжал, говорила, что в тех краях должны быть (и в самом деле есть, обязательно нужно взять). Значит, пуховую шаль – это для жены; для сына он купит зимнюю шапку, ондатровую ли, нутриевую – какая подвернётся, а то всю зиму опять проходит с непокрытой головой – кепку не носит, а хорошую шапку в родном селе днём с огнём не сыщешь; для невестки – сапожки, такие высокие, из мягкой кожи и с тонкими высокими каблучками, хоть и не для сельской грязи это, но именно о таких вела речь невестка, уважительная, чтит старших, надо оказать внимание; для мальчика, для внучонка... тут нужно подумать, обмозговать как следует, с норовом, бесёнок, баловнем растёт – ещё и не угодишь; для дочерей, значит, он приобретёт часики, да, обеим такие, электрические, что ли, называются, часики, чтоб без обид обошлось; ну и ему самому, стало быть, надобно малость приодеться, а то весь износился, не возвращаться же в село в нищенском обличье...



**Ренат
ХАРИС**

КЛЯТВЕННАЯ ЧАША

Поэма

перевод Николая Переяслова*

В год 6493 (985).

*И заключил Владимир мир с болгарами,
и клятву дали друг другу, и сказали болгары:
«Тогда не будет между нами мира, когда камень
станет плавать, а хмель тонуть».*

(«Повесть временных лет»)

Я круглый камень бросил в Волгу с кручи,
и он сверкнул, дно озарив огнём.
(Так луч порою разрывает тучи...)
И древний век сомкнулся с новым днём!

И прокатились кольца волн, переча
течению лет, что тают вдалеке.
И всплеск от камня двинулся навстречу
волнам, гонимым ветром по реке.

Отдавшись воле волн, я то ныряю
в глубины Волги, достигая дна,
а то с потоком дерзостно играю,
вдаль уплывая через времена.

-
- Ренат Харис – народный поэт Татарстана, автор более сорока книг на татарском, русском, английском, башкирском и чувашском языках. Родился в 1941 году. Окончил Казанский государственный педагогический университет. Работал учителем, журналистом, ответственным секретарём Союза писателей Татарстана, заместителем министра культуры, заместителем председателя Госсовета (парламента) Татарстана. Им написано около четырёх десятков поэм, часть из которых стала операми, балетами, ораториями, кантатами, теле- и радиоспектаклями. На стихи Хариса композиторами Казани, Москвы, Уфы, Саратова и других городов написано более ста пятидесяти произведений вокального жанра. Лауреат Государственной премии Российской Федерации за 2005 год, Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая, Республиканской премии молодёжи Татарстана имени Мусы Джалиля. Секретарь правления Союза писателей России.

Я погружаюсь в струи дум горячих,
в них растворяясь, как в воде речной,
перемешавшись с пляской капель зрячих
и говорящим ветром над волной.

Я стал землёй. Мой путь безмерно долог...
Во мне – века. Исследуй, археолог!

...На берегу Днепра высоко
стоит Перун, тьму прожигая оком,
а князь Владимир, встав на косогор,
швырнул полено крепкое в костёр.

Взлетела к небу туча искр слепящих,
сорвав среди ночи сов, на ветках спящих,
и свет багровый чащу окровил,
и лик Перуна ужас искривил.

И обожгло сверкающее пламя
усы Перуна, взмывшие как знамя.
И князь Владимир, будто звоном струн,
вспугнул мрак словом: «Мир тебе, Перун!

Благодарю тебя! Перед тобою –
горит полено, брошенное мною.
В том вижу я благословенный знак,
как будто то – возвращённый нами знак.

Снесу я всё: удары и пожары –
и двину рать в Великие Булгары,
поскольку царь болгарский Мухаммат
купцов пустился грабить из засад,
дома их сделав жалкими гробами,
а их самих вдруг обратив рабами...

О, Русь, твой лик, где чёрная зола,
в крови врагов отмою добела!

Благослови, Перун! Со мной Добрыня,
его душа сияет как святыня,
а за спиной – дружинников ряды,
чьи копыя остры, а мечи – тверды.

Пошли, Перун, твоё благословенье –
пускай взлетит до туч народа пенье
и, нам даруя сладость всех чудес,
на Киев счастье спустится с небес!..»

...И князь сошёл – туда, где Днепр бежит,
листая волны, как страницы книжник.
Щитами лодок каждый борт обшит...
А князь в руках несёт с собой булыжник!

Весь Киев утром к берегу идёт,
где князь готов плыть за врагом по следу,
и русский люд ему удачу шлёт,
ну, а Руси – и славу, и победу.

Взойдя на острый нос своей лады,
князь бросил людям клич под облаками:
«Мои родные, близкие мои,
в моих руках вам ясно виден камень?»

Моё решенье камня тяжелей,
который в Днепр я брошу нынче смело.
Коль слово дал, то силы не жалею:
или нырни за ним, иль сделай дело...»

И князь булыжник бросил в недра вод,
уняв смятенье, что тревожит душу.
И стон протяжный выдохнул народ,
увидев мать Владимира – Малушу.

И словно чайки голос прозвучал,
опять родив в сердцах людей кошмары:
«Не покидал бы, княже, ты причал
и не водил бы воинов в Булгары.

Уж сколько лет... Отец твой Святослав
мне ранит душу долгими годами,
среди днепровских сгинув переправ.
Теперь и ты идёшь его следами...»

И в этот миг дохнул с высот Стрибог,
грудь парусов наполнив ветром туго.
И, покидая свой родной порог,
уплыли лодки, торопя друг друга.

Плескался в берег голубой поток,
над отчим краем небосвод был светел.
И не услышал над рекой никто,
что князь Владимир матери ответил...

В шатре высоком, лёжа на коврах,
витая слухом в сказочных мирах,
царь Мухаммат внимал стихам поэта,
что в честь его тот сочинял с рассвета.

Но тут вбежал примчавшийся гонец,
«О, ильтабар¹! Нам близится конец!
С той стороны, где спать ложится солнце,
я видел пыль, что над степями вьётся,
и плеском вёсел полнится вода!
Знать, к нам с Руси грозу несёт беда».

И на коврах привстал царь Мухаммат:
«Я и плохим вестям бываю рад,
когда их кто-то вовремя приносит...
Гонцу отсыпьте, сколько он попросит,

И собирайте полководцев в круг
да аксакалов – нынче недосуг...»

Ну, а когда пришли – мудры и седы –
все те, кого созвали для беседы,
царь вышел к ним и спросил народ:
«С чем нам встречать того, кто к нам идёт?
Коль у него за пазухою – камень,
его встречать нам с голыми руками?
Или с мечами выйти из-за скал,
иль стол накрыть, чтоб всем он взор ласкал?..»

И вышел в круг старейший аксакал:
«Того, кто к нам идёт с тяжёлым камнем,
мы встретим с миром – и друзьями станем,
не пожалев для них горячих слов.
Они – соседи. Надо слать послов».

«Ты справедлив!» – Глаза царя зажглись.
И поддержал его слова меджлис...²

(Гул этих слов я услышал в груди,
как будто это – дальний гром гудит!
И этот гул стелился по земле,
качая воду и клубясь во мгле.

О, археолог! Вскрой пласты песков –
услышишь в них слова былых веков...)

¹ Ильтабар – тюркско-татарское: иль (страна) + табар (найдёт). То есть: нашедший свою страну, свою родину. Во времена князя Владимира это слово значило титул правителя Булгарского царства.

² Меджлис – законодательно-представительный орган в ряде стран, преимущественно исламских.

...В шатре высоком для гостей накрыт
огромный стол, где блещут чаши, блюда.
Стол не простой – его нарядный вид
всех соблазняет яствами, как чудо.

Лаская слух хозяев и гостей,
слова слетели птичьей песней в чашу.
Кровь не пуская, не дробя костей,
по кругу носят клятвенную чашу.

Из года в год мы рубим, как леса,
друг друга в битвах, не чураясь боли...
А столько душ умчалось в небеса,
через века летя, как через поле!

Земля устала слышать стук голов,
летающих с плеч в боях неутомимых.
Грядущий век заждался сладких слов,
истосковавшись по глазам любимых...

...И вот в шатре все сели чинно в ряд –
Владимир-князь, Добрыня, Мухаммат,
богатыри Владимировой рати
И Мухаммата воины и братья.

И встал со словом первым царь болгар:
«Нам с русским князем не чинить впредь свар.
Купцов не грабить, не пускать их крови,
жить по-соседски – в дружбе и в любви.
А если эту клятву мы нарушим,
то пусть нам вынет сталь из тела душу!»

И он из ножен саблю обнажил –
и перед русским князем положил.
А добрый гул поплыл вдоль вод и суши:
«Пусть наши сабли рассекут нам души...»

И вслед за этим встал Владимир-князь:
«Мы укрепили с Мухамматом связь
и затвердили прочно в договоре,
чтоб кровь не лить, неся друг другу горе,
вести торговлю не мешать купцам,
дать жить в родстве отцам и молодцам,
а если кто тот договор нарушит –
Перун пусть гром на них с высот обрушит,
Стрибог сотрёт о них в столетях быть
и над морями их развеет в пыль».

И, сняв шелом, его поставил рядом
с оружием, положённым Мухамматом.
И добрый гул качнулся, как ковыль:
«Пускай Стрибог развеет нас как пыль...»

Водю волжской чашу сам наполнив,
царь Мухаммат её над пиром поднял
и князю дал Владимиру глотнуть –
мол, нашей дружбы вкус не позабудь.

Затем кремень он вынул из кармана
и, чтобы в том не видели обмана,
его пред всеми в чашу опустил –
и на поверхность он уже не всплыл.

И Мухаммат сказал, взмахнув руками:
«Когда в воде вдруг станут плавать камни,
а хмель потонет в чаше, как сапфир,
тогда меж нами – прекратится мир!»

«Да будет так! – сказал Владимир громко. –
Пускай из чаши льётся через кромку
по миру дружба наша как вода.
Из века в век! Отныне – и всегда!..»

(...И в том шатре я тоже тайно был,
воды из чаши клятвенной испил,
и та вода мне душу оросила,
чтоб в ней навеки укрепилась сила...)

* Николай Владимирович Переяслов родился в 1954 году. Поэт, критик, прозаик, эссеист, переводчик стихов национальных и зарубежных поэтов. Член Союза журналистов Москвы, Международной федерации журналистов, Международной ассоциации писателей и публицистов. Секретарь правления Союза писателей России. Автор более 30 книг стихов, прозы, критики и поэтических переводов с национальных языков, а также огромного количества публикаций в газетах и журналах России, Украины, Беларуси, Молдовы, Татарстана, Казахстана, Туркменистана, Армении, Грузии, Эстонии, Болгарии, Германии, США, Китая. Лауреат литературных премий им. Р. Гамзатова, М. Лермонтова, В. Хлебникова, святителя митрополита Макария Алтайского и многих других.



**Виктор
САЗЫКИН**

ХАМ УДОСТОЕННЫЙ

*Отыде отсюда, человеце; здесь бражники
не водворяютца, ибо им изготована
мука вечная со блудниками вместе...*

(Повесть о бражнике)

*Мистические объяснения считаются глубокими;
истина в том, что они даже и не поверхностны.*

(Ф. Ницше)

Хотите – верьте, хотите – нет, но, как гласит молва, известный на заводе мастер-наладчик Дмитрий Анучин побывал на *том свете*. Что уж там увидел Дмитрий Пахомыч – не знаем, не ведаем. Но, думать надо, не райские кущи, где блаженствуют праведники, поскольку вернулся он *оттуда* в состоянии чрезвычайно удручённом, если сперва не ошеломлённом. «Чё с тобой, Пахомыч?» – когда немного оклемался, спросили его. «На том свете был...» – только и вымолвил. Однако ж кто поверит Анучину?

Произошло это на Дачном пруду. Прилюдно. Многие из присутствующих хорошо знали Пахомыча, одни по работе, другие просто так: городок-то Черёмухово небольшой, а на заводе мастер-наладчик, будучи хорошим специалистом, слыл ещё и отпетым балагуром-матерщинником. Женщины, долгое время работавшие с ним бок о бок, по привычке терпели его скабрёзности и даже по простоте душевной отвечали на его грубые шутки соответствующе. А вот конторские или, скажем, какие-нибудь новенькие учётицы, технические контролёрши – мелкая заводская сошка, чуть узнавши Пахомыча, бежали прочь от него, как беси от ладана. Мужики – те вообще потакали его наклонностям, охотно подыгрывали ему, поскольку Анучин – своего рода артист.

-
- Виктор Алексеевич Сазыкин родился в 1956 году. Окончил Пензенский сельскохозяйственный институт. Учился на Высших литературных курсах при Литературном институте имени А. М. Горького. Член Союза писателей России. Живёт в Пензе.

Вот, к примеру, во время перекура в подсобном помещении Анучин после очередного отпуска вдохновенно повествует, как он ездил в санаторий отдыхать-лечиться. Поехал поездом. Проезд в купе – за полцены, но путёвка плюс лечение – бесплатные (разумеется, это было ещё в *те* времена, доперестроечные, в «застойные»). Ну, собрался, поехал. Жена, разумеется, в дорогу ему отварила курочку, яички, картошечку, купила копчёную колбаску – меню по-русски достаточно стандартное, но выверенное со времён вседоступности железнодорожного передвижения.

Трапезничать и даже кутить во время езды есть какая-то своеобразная русская особенность. Сели, тронулись, малость огляделись, раздвинули оконные шторы, посозерцали плывущий за окном пейзаж, ну а далее – непременно закусить. Кстати, по словам Анучина, жена кроме курочки и прочего припасла ему в дорогу и бутылку водочки. Но тут уж начинается точно враньё: не могла бедная жёнёнка Люся сделать такое угодение склонному к запоям супругу. А что Анучин раза два в год запивал – это тоже всем было известно, хотя и страдал язвой желудка (он и в санаторий поехал в общем-то лечиться).

Тронулся, значит, поезд Сурград–Пятигорск, а Дмитрий в купе один. «Ну, расположился я, – рассказывал он, – одежонку аккуратно повесил на вешалку. Постель, гляжу, аж накрахмалена! Эх, думаю, жаль, никого нету!.. Закусь вынул, курочку разделал, колбаску порубал, достаю бутылочку...» «Водку, что ль? – выпрашивал кто-нибудь из слушателей. – Да ты ж водку не пьёшь, бормотуху одну». – «Так это я дома, когда загуляю. А тут, думаю, вдруг с кем придётся... Мы вообще-то с женой перед этим поскандалили. Она меня на курорт ни за что одного отпускать не хотела. Ты, говорит, там всех баб перечекрыжишь, кобелина. А я её успокаиваю: «Люсенька, хуже тебя я и сам ... не буду, а лучше тебя мне всё равно не даст».

Известно было, что по бабам Пахомыч шастал и об этом любил красочно рассказать. Так что жена его имела все основания к ревности. Но вот какая странность: Анучин охмурял-обхаживал только заводских старых дев и разведёнок, некрасивых и безотказных. Красивых и молодых он явно избегал, но по возможности старался хамливо уязвить.

«Расположился, значит... – рассказывал дальше Пахомыч. – Эх, думаю, сейчас бы бабёнка какая зашла!.. И только до первой станции доехали, только поезд притормозил, заходит та-а-кая – просто звездануться можно!» Разумеется, Анучин выразился более изощрённо, а далее вообще пошли такие непечатные описания спутницы, что мужики не могли не хохотать. Прохохотавшись, спрашивали: «А что там дальше-то?» «Ну, я тут же около неё еловым хвостом пошевелил, чемоданчик ей на полку помог уложить, при этом как бы нечаянно прижал к себе. Чую, не противится. Игривая, шалашовочка! «Никого, наверное, нет? – спрашивает. – Мы, чего же, одни?» Да хорошо бы, думаю. Но тут другая заходит – эта чистая страхолюдина, я бы её и за бутылку не стал. Потом парень зашёл. Но я азимут уже взял, не отпускаю, думаю. Ну, сели ужинать. У меня уже всё готово: курочка, бутылочка. Парень тоже свою долю ставит. И страхо-

людина винцо достаёт. А у моей кобылёночки – хренушки. (Анучин выразился более «изящно».) Ну, думаю, и ладно. Выпили, закусили. Поболтали. Пора спать укладываться. А любви захотелось, как медведю бороться! Значит, говорю парню, ты, мол, корешок, давай на моё место, а я на твоё, то есть на нижнюю полку, рядом с этой, с сиповочкой. Легли. Потушили свет. Колёса – тук-тук-тук, вагон покачивается. Я руку свою вытянул, и она мне свою навстречу. Пальцы свились... Ну, думаю!..»

Дорассказать железнодорожное приключение Анучин не успел, так как в курилку зашёл начальник цеха. «Курите?» – «Курим, Сергей Петрович». Через курилку прошёл в туалет. Вышел, сполоснул руки, включил сушитель, с полминуты вертел ладонями перед соплом. Все молча ждали, когда он выйдет. И лишь потом нетерпеливо: «Ну, а дальше-то чего, Пахомыч?» «Да муж, говорит, вернулся, – на шёпот перешёл Анучин. – Давай, говорит, на балкон. А я ей: я прыгать не буду! А сам уж штаны в охапку – и дёру!» «Стой, стой, Пахомыч, какой балкон? Ты же в поезде». Наладчик неторопливо встал, горделиво выпрямился во весь большущий рост, презрительно выплюнул окурочку: «Да пошли вы... Ничего вам рассказать нельзя!» Мужики в курилке хохотали. И никто так и не понял: специально ли рассказчик повествование своё закончил несуразностью или вправду нелепо сбился. С него и то, и это станет.

Запивал он обычно во время отпуска или под какой-нибудь государственный праздник, прихватывая ещё неделю-другую из общего числа рабочих дней. Заводское и профсоюзное начальство журило его и нередко наказывало выговорами, лишением премии или перемещением на низко оплачиваемую работу на два-три месяца, даже грозило задержкой расширения жилплощади, в которой семья Дмитрия Пахомыча, естественно, нуждалась. Но, в сущности, всё ему сходило с рук, потому что Пахомыч – классный специалист в своём деле: любой станок наладит как часы. Что там станок! Анучин вообще – мастер-универсал. Про таких говорят: «Золотые руки!» Поэтому, допустим, переведут его за очередную провинность в простые слесаря, а через какое-то время начальство уже заискивающе просит его или важный для производства станок наладить, или выполнить токарную работу, которая не всякому по зубам (первоклассным токарем он зарекомендовал себя изначально). Пахомыч искусно выругается, поломается, но непременно сделает, а стало быть, наказание автоматически снимается.

В механическом цехе, где он работал, у него было специально отгороженное помещение, куда без особой нужды и ведома самого универсала никто не смел заглядывать. Разумеется, как мастер ценился он не только у заводского начальства, но и пользовался спросом среди своего же брата – простых работяг: этому шаровые для «Жигулей» выточит, тому поршневую или коленвал расточит – мало ли надо простому люду при всегдашнем советском технически-бытовом дефиците. И никому, как правило, Пахомыч не отказывал. Причём известен он был далеко за пределами своего завода и даже райцентра Черёмухово, где жил в деревянном бараке на две семьи. Барак давно

уже грозились снести, а жильцов вселить в новенькую пятиэтажку. Но строительство пятиэтажки затягивалось, а профком к тому же грозился отодвинуть очередь мастера-универсала не только по причине его загулов, но и за некоторые особенности характера. А причуд у него хватало.

Вот приезжает, скажем, какой-нибудь «наездник» из пригорода на своём «Москвиче» (кстати, Анучин, не имея собственной машины, замечательно разбирался и в автомобилях, особенно по части электрики; в его закутке стоял станочек для перемотки катушек и трансформаторов, были различные необходимые для обихода электроприборы – словом, и тут он специалист был что надо), вот приезжает некто с нуждой. «Генератор, земляк, то работает, то не работает – замутил вконец! Помогите, пожалуйста!» – упрощивает. Причём «наездника», если он лично не был знаком с Анучиным, заранее предупреждали: если Анучин сей же миг взбеленится и со зверским видом начнёт просителя посылать туда-то (тра-та-та!) и туда-то – терпи! Пусть пар выпустит, душу успокоит – такой уж характер и обычай у человека, но знай: сделает, что попросишь, обязательно. Причём первоклассно сделает, что называется, со знаком качества, а главное – за работу ни копейки не возьмёт, разве что бутылку портвейна (ни в коем случае ни водки!), и то если в преддверии очередного запоя. Взять возьмёт, но пить пока не станет: срок не подошёл. А что до ругани – это у него своего рода ритуал.

Матерился же Анучин так искусно, что заслушаешься. И где только научился? В тюрьме не сидел, с блататой не якшался... Ах да, папаня – Пахом Калиныч! – тот ещё весельчак! Ну и, похоже, детдом-интернат, где Митрий провёл почти всё детство и отрочество.

Нет, Митька рос не сиротой казанской, просто семья в деревне была большая, бедная и неблагополучная: мать-доярка Марьяна Ильинична склонна к выпивке; отец-плотник Пахом Калиныч – тоже пьяница, да и не всё нормально было у него с головой – то ли по природе, то ли после фронта. И сам Митька, как выяснилось однажды при медицинском осмотре в школе (да и без осмотра многие замечали), плоховато слышал. По умному совету директора школы мать и отправила паренька в райцентр, в школу-интернат для слабослышащих детей. Да и то сказать: одним ртом меньше.

Митьке в интернате в общем-то жилось неплохо.

Во-первых, сытно. В деревне он досыта белого хлеба не едал, а котлет отродясь не пробовал. А тут и фрукты зимой, и сладости по праздникам. В семье вдосталь на всех даже молока не хватало, хотя мать держала и свою коровёнку, и с колхозной фермы подворовывала, несмотря на то, что учётчик, одноногий фронтовик, был строгий и даже безжалостный, за что и ценило его начальство. Но и он зачастую прикрывал глаза на воровство доярок: детей-то у иных, как у Марьяны Анучиной, целая куча; да и неудобно пожилому мужику всякий раз после дойки ощупывать баб, выискивая у них резиновые грелки с молоком.

Во-вторых, здесь, в городе – хоть и небольшой он, райцентр Черёмухово – зимой было куда интереснее, чем в деревне: и регулярные

фильмы в кинотеатре, и всяческие культурные мероприятия (работал, между прочим, театр художественной самодеятельности, куда Митька с удовольствием заглядывал и даже исполнял некоторые роли), и хорошая библиотека с последующими жаркими обсуждениями прочитанных книг про индейцев, шпионов и полёты на иные планеты. А ночные вылазки в город, за которые, если попадётся, такую взбучку схлопочешь, что мало не покажется, так что на подобный подвиг не всякий решался – только Митька всегда готов! А жуткие рассказы про бандитов и нечистую силу в полночь! Особенно после коллективного просмотра «Вия», когда так страшно было идти по тёмным коридорам интернатского общежития, да ещё старались нарочно напугать друг друга, а ложаешься спать, заучивали или придумывали заковыристые заклинания, типа: «Ты, чёрт хвостатый, ты, змей рогатый, ты за черту мою не ходи, за купол мой не гляди!..»

Рядом с интернатом располагалось старое городское кладбище. Детдомовцам ходить туда строго воспрещалось, особенно в религиозно-праздничные дни: чтоб не привыкали попрошайничать и не подбирали на могилках оставленные на помин конфеты-пряники. Впрочем, у интернатских пацанов это считалось западло. А вот на спор сходить в полночь в одиночку на то же кладбище и для убедительности принести что-нибудь *такое* – героев тем более находилось мало. Но Митька Анучин и тут в первых рядах. Правда, страх он всё-таки испытывал жуткий. Но пересиливал себя, за что пацаны и уважали его.

А как шалили-подшучивали над ночными дежурными по интернату, когда посмотрели «Республику ШКИД»!

Педагоги и обслуживающий персонал в детдоме были, как и в кино, тоже самые разные: и строгие, и робкие, и смешные. Одних боялись, других ни во что не ставили, над третьими иногда озоровато измывались. Была, например, пожилая кастелянша тётя Варя. Верующая. Это она исподтишка рассказывала детдомовцам, что на месте их интерната до революции располагался женский монастырь, который основал какой-то купец первоначально как богадельню при кладбищенской церкви. Потом монастырь разросся, его называли Успенским, а когда в Бога запретили верить, здесь стала районная больница; дом же главной монахини очистили от икон и приспособили под детский дом для беспризорников, а после войны сделали школой-интернатом для слабослышащих детей. Но в народе его по-прежнему называли *детдомом*.

Тётя Варя любила интернатских, жалела и частенько угощала домашними пирожками, просто так или за какую мелкую услугу, скажем, за разгрузку-погрузку прачечного белья либо за уборку вверенных ей помещений. Когда наступала её очередь дежурить ночью в интернате, она приходила в спальню к мальчишкам или девчонкам и пыталась разучивать с ними молитвы: Богородичную, «Отче наш», «Живые помощи» (тётя Варя выговаривала *помочи*). Начальство знало об этом, но активно не вмешивалось. Времена уже были не те, когда за религиозные убеждения, тем более пропаганду могли и посадить – после хрущёвских гонений, при Брежневе, всё это почти утихло. Иногда, правда, директор тоже вызывал её в кабинет и, подсмеиваясь,

выговаривал: «И охота вам, Варвара Степановна, себе и ребятишкам голову морочить? Ведь они, засранцы, смеются над вами. Вот вы вчера: «Отче наш, иже еси...» – а Митька Анучин вас передразнивает из-под одеяла: «...унеси нас на небеси, там пиво варят, нас пьяными напоят». Вы им про монастырь, а они вам за спиной – срамную песню: «Шли монашка и монах, оба в синеньких штанах, и вели такую речь, где под кустиком прилечь». Так ведь?» Варвара Степановна краснела, но оправдывала маленьких негодников: «Глупые они. Вырастут, поймут: без Бога ни до порога. – И настороженно спрашивала: – А вы откуда про Митьку-то знаете? Аль наушничают?» – «Может, наушничают, а может, я сам как Харун-аль-Рашид». «Кто-кто?» – не понимала малообразованная женщина. «Ну, это я так, пошутил. Идите-идите. И будьте поосторожнее с этим делом... У нас всё-таки атеистическое государство... Узнают – тебе-то, может, и ничего, а меня по головке не погладят. Идите-идите...» – Махал рукой.

Кто наушничал, детдомовцы всё-таки узнали и устроили стукачу «тёмную», за что Митьку, как организатора, чуть не вытурили из детдома. Но приехала мать и со слезами уговорила директора не выгонять сына: детей, мол, кормить нечем, муж – инвалид войны, да и пьёт, чумная башка, всё пропивает начисто, никакой помощи от него, шатуна...

Оно, по сути, так и было.

Жил Пахом Анучин, отец Митьки, в худой-прехудой избёнке на окраине села, порознь с семьёй, помогать им и вправду почти ничем не помогал. Будучи отличным столяром-плотником, он ни женин двор, ни свою халупу в порядок привести не мог и не хотел. Он для себя даже дров на зиму не заготавливал, отапливался щепой, оставшейся после рубки сруба у того или иного сельчанина; вдобавок с местной пилорамы мужики за вино привозили ему обрезки. А когда всё это заканчивалось посреди зимы, он нехотя ходил с вязанкой за хвостом в ближайший лесочек, чтобы скудно протопить печь, что-то сварганить себе и потом сутками спать – сначала на печи, а станет прохладно, в ту же печь залезет и лежит лежнем, пока та совсем не выстынет.

Плотник и столяр, по правде сказать, был он замечательный и в округе самый неприхотливый по найму. Надо кому что-то – сруб ли срубить, крылечко ли резное сделать, рамы связать, наличниками лик избы изукрасить или пристроить к дому веранду с византийским окном, – зовут Пахома. Правило у него было одно: назовёт цену за предстоящую работу – и лучше не торгуйся! Иначе повернётся и уйдёт, хоть какой там магарыч ни поставь ему. А вот ежели хозяин сразу согласится, тогда другой коленкор: Пахом Калиныч выполнит работу наотличнейшим образом и сверх того сделает что-нибудь ещё без дополнительной оплаты. Этой наивно-суровой простотой мастера те, кто похитрее, обычно злоупотребляли. Да и на что ему, дескать, лишние деньги? Сколько ни дай, всё равно пропьёт и даже ребятишкам своим одёжку к школе не купит.

Ребятишек с горем пополам мать-доярка обихаживала. Ну, и государство кое-чем подсобляло: обувью, одежкой, школьными принад-

лежностями, не говоря про интернат, где Митька потом воспитывался на полном обеспечении. А вот Пахом Калиныч почему-то знать детей не хотел. Ему и не до них было: плотничал с утра до ночи, а после получки или пенсии пьянствовал без просыпа. Пропьётся дочиста – идёт опять наниматься.

Набор инструментов у мастера был небольшой, но для его дела вполне достаточный и весь умещался в объёмистый баул из выделанной бычьей кожи, с которым он, казалось, никогда не расставался, и не дай бог кто залезет в него – зарубит! Все знали, как Пахом дорожил своими инструментами, особенно топором. Топор и вправду был славный! Стариннойковки: щёлкнешь ноготком по лезвию – колоколом звенит. Пахом после работы целовал его – дескать, кормилец мой! – а по весне и изредка по праздникам брился им. Перед тем брусочком жало подправит, широкий солдатский ремень из портков вынет, пряжкой за гвоздок на стене прикрепит, натянет, зелёной пастой ГОИ натрёт и долго, старательно наводит, как заправскую бритву. Хорош был топор у Пахома, хорош! Таких теперь нет.

Зимой Калиныч редко выходил из халупы своей, разве за тем же хворостом да за хлебом в магазин (набирал враз чуть не по мешку – на целый месяц); или, заросший густой медвежьей шерстью, изредка шатался по селу, если душа вдруг взалкает винопития. Несмотря на возраст, он как будто ни капельки не седел. Или сажа, копоть и дым махры затушёвывали жидкую проседь в густой волосне его? Но видок был выразительный! Вылезет Пахом из печи, выйдет на улицу, покачиваясь от ядрёного морозного духа, идёт по селу – бабы шарахаются, мужики посмеиваются, ребятишки-озорники хором дразнят.

Старик на них не сердился. А если в настроении да подвыпивши, то и сам любил пошутить: вывернет драный тулуп свой наизнанку, как иной ряженный на Масленицу, и пошёл припрыгивать-приплясывать, рассыпая неисчислимыя прибаутки и частушки, чаще всего неприличного характера, вроде того:

*Из-под сахара мешок,
Из-под соли сумка.
Сорок лет мужа нет –
Отдыхает кунка.*

– Ха-ха-ха! – ржут весело мальчишки, а самый озорной, Шурка Двuosный, дружок Митьки, кричит в сторону стайки девчонок, держащихся поодаль, но тоже как бы принимающих участие в дразнилке Пахома:

– Ольга, Ольга, – орёт подросток-бесстыдник, – это про тебя!
– Дурак, дурак! – звонко отвечает ему Ольга-вертунья и крутит пальчиком у виска.

А Пахом Анучин, кривляясь, припевает:

*Под шубою была –
Пощупали меня.
Потом я оделась –
Ещё захотелось.*

– Ха-ха-ха! – держась за животы, хохочут сорванцы, а бедокур Шурка, неприлично выламываясь перед девчонками, речитативом тоже выкрикивает частушку:

*Чичивика с викою –
Давай почирикаю!*

– Дурак, дурак Двусный! – отвечают ему хором девчонки. Ребя-тишки покатываются со смеху.

А Пахом поёт, приплясывает:

*Барыня ты моя,
Сударыня ты моя,
По печи елозила –
Курдюк отморозила!*

Прихлёбывает из бутылки, выкобенивается, а дойдёт до своей избы-халупы на окраине села, недалеко от кладбища на пригорке – хрясть! – пустую посудину об угол, обернётся да как рявкнет во всю утробу, да с бутылочным осколком, наподобие гранаты в руке, нарочито как кинется за пацанвой: «У, фрицы проклятые!» Те воробьями в разные стороны – пых! А пьяный плотник добродушно рассмеётся – и домой, в печь, если ещё тёплая. Но опомнятся бесенята и долго ещё будут крутиться возле его берлоги, бухать в дверь, стучать и дразниться в промёрзшее окошко, пока не надоест им, бесенятам, или кто из взрослых, проходя мимо, не задаст хорошую трёпку.

Иногда к Пахому захаживала супруга Марьяна Ильинична. Тоже любила баба выпить. Идёт, бывало, в задумчивости ссутулившись. «Куда собралась, Марьяна Ильинична?» – спрашивают встречные уважительно (за глаза – каким-нибудь неблагозвучным прозвищем, а в глаза – по имени-отчеству). «Да вот в ларёк за бутылочкой: грипп загрёб». В магазине возьмёт водочки – и к волосатому мужу-отшельнику. «Вставай, Пахом, зарос весь мхом!» Шутя выволочет его из печи, сажу веником с волосни отряхнёт, заодно пол ему выметет. Потом сядут за кособокий дубовый стол, выпьют по стакану, любовью малость побалуются (это когда помоложе были), а напоследок непременно раздерутся: она ему в бородищу вцепится и давай его по избе таскать, он кое-как отдерёт артрозные бабьи руки, отдышится, набычится – и пошёл супружницу мутузить, но не так чтобы зверски, а в назидание. Потом выпроводит в толчки на улицу и долго искусно бранится ей вослед. А выговорится – снова в печку. А чего ему? Живности никакой – ни собаки, ни кошки, ни петуха. Словом, как в той песне, которую он певал в подпитии, про утёс: «...ни забот, ни печали не знает...»

Но весной Пахом Калиныч приводил себя в порядок. Дремучие заросли на лице сначала убирал «горячим способом»: подожжёт доскут газеты и осторожно колдует с огнём, наполняя избёнку едким запахом подпаливаемой шерсти. А потом уж, как бритву, наводит топор, чтобы выскоблить физиономию до человеческого облика. Иногда

осторожность подводила его, и на лице оставались ожоговые отметины, но быстро зарастали, будто на диком звере, да и бурая щетина скоро опять покрывала широкоскулое лицо.

Внешне Пахом был, что называется, неладно скроен, но крепко сшит: невысок, кряжист, широк в плечах и кости. И кривоног, как степной наездник. С ранней весны, когда начинались плотницкие работы, и до самой поздней осени помахивал он топором, орудовал рубанком, фуганком – и всегда по пояс обнажённый, что у сельских мужиков в возрасте после сорока не принято, потому за лето становился точно копчёный. Бывало, сидит на венце с топориком в руках – истинно разбойник на лихом коне. За работой пил немного, даже если хозяин попадался щедрый на вино. Зато, получив расчёт, гулял без просыху. Шатался по селу, пел, приплясывал, шутил с бабами, которые не чурались его. А устанет, тут же – бряк – под чью-либо изгородь или прямо посреди дороги раскинется, положив под голову замызганный баул с инструментом. И всё ему нипочём – ни дождь, ни холод, и никакая болезнь не брала его!

Сельская ребятня хотя и поддразнивала Пахома, но побаивалась, считая его сумасшедшим, хотя явных признаков невменяемости, кроме чудной жизни, за ним не наблюдалось. Чужих детей он как будто даже любил. При случае, когда у кого плотничал, старался хозяйских ребятшек приласкать и рассказать что-нибудь забавное и вполне приличное. А вот своих, родных, и от первого, довоенного брака Марьяны, подлинно, – знать не хотел. И те к нему не ходили, а встретив на улице, обегали стороной. Кроме младшего, Митьки, который на лето обычно приезжал в Чертозелье, к матери. Этот скорее характером, а ещё более способностями схож был с отцом. А вот внешностью, ростом пошёл явно в мать-дылду и со временем вымахал с коломенскую версту. Так же и сутулился, как она, когда забывался, при этом становясь похожим на гусака. Но окликнет вдруг кто, Митька опомнится и сей же миг выправится, а выпрямившись, станет даже хорош собой: высокий и горделиво-надменный – так что невольно заглядишься на парня. Только вот почему-то по жизни не сумел он распорядиться с толком для себя ни внешностью своей, ни талантом, ни словесной остротой ума. Женёнку себе выбрал, как нарочно, самую что ни есть невзрачную на вид, хотя, на иной взгляд, и дерзкую; словесную одарённость свою по большей мере проявлял в форме художественной брани; а талант (не по плотницкой, а по технической части) как-то и вовсе разбазаривал, казалось, по-дурацки.

В отличие от братьев и сестёр, Митька во время каникул действительно к отцу в его халупу изредка заглядывал. Обычно с друзьями и, как правило, когда Пахом Калиныч заканчивал очередную шашку, а значит, должен быть при деньжонках. «Папа, дэньги гони!» – на блатной манер с порога начинал долговязый Митька, и, если старик был ещё трезв и в настроении, он сыну что-то отщипывал от пенсии или заработка, но чаще всего – от ворот поворот, со всяческими бранно-поэтическими прибавками. Сын тоже в долгу не оставался. Случалось, придёт, а Пахом Калиныч – вдрызг. Митька ловко ошмоняет его, сколько денег найдёт – пересчитает, но все никогда не брал,

не больше пяти-шести рублей, – и в магазин. А один раз созорничал, сукин сын!

Стояло лето. Жара, духота. Вдруг заволокло всё небо грозowymi тучами, грянул гром, и ливень хлестал минут сорок. Потом всё стихло. На улице – словно после потопа. Митька с дружкой, засучив штаны, пошёл на рыбалку. Оттуда мимоходом заглянул к отцу.

В нечистом логове родителя – душно, мухи столбом, крупные, сизо-зелёные, как незрелые виноградины, а сам Пахом Калиныч на полу валяется, почти голый, трусы до срама сползли. На что уж Шурка Двуосный и другой паренёк – озорники безголовые, однако застеснялись и вышли в сени. А сын живо отцовскую одежку прощупал, денег не нашёл. Вышел, на дворе хороший дыр из забора выворотил и так сенную дверь подоткнул, что Калинычу, чтобы выйти по нужде на улицу, потом пришлось в сердцах пускать в ход свой знаменитый топор, а после, искусно матерясь, латать латаную-перелатаную дверь. Мало того, однажды в отместку Митька и самый этот топор знаменитой ковки весьма испортил. Но испортил руками самого же папани.

Тот заканчивал плотничать у Маланиных. Вечером была размывка. Зная, что отец сегодня будет при деньгах и пьяненький, Митрий с Шуркой Двуосным следом за ним пришли в его халупу. «Папа, дэньги гони!» Но старик оказался не в духе, и Митьке – облом. На этот раз сынуля изоцрился напакостить отцу иначе. Вышел в сени, нашёл старую рукавицу. Вернулся. «Папа, вот все говорят, у тебя топор, каких ни у кого не бывает. А давай поспорим на дэньги, что ты с одного маху вот эту рукавицу не перерубишь. Но только с одного. Шурка – свидетель», – кивнул на дружка, тот еле сдерживал смех. Пьяненький плотник сразу не сообразил о сыновней подлости. Засмеялся, взял топор и – хрясть! – без замаха, но искусно, с косою оттяжкой. А рукавица – не перерублена. Взглянул на лезвие зацелованного топора, а там выщерблина аж в палец! Пахом – цоп рукавицу, а в рукавице – толстый, ржавый, старинной ковки гвоздь. Сообразил – хватать топор! – но сын с дружкой уже были за порогом, и, как ни ловок был плотник, пущенный им вдогонку томагавк не настиг паршивцев. Топор Пахом Калиныч, конечно, наладил, но отпрыск долгое время не проводывал отца и старался на улице ему не попадаться. Потом помирились, и чумовой папаша иной раз опять нет-нет да сунет парнишке рубль, а то и пятачку. «Хитрый ты, Митрий! – скажет, обнимая его, потом плеснёт от щедрот в засиженный мухами стакан. – На-ка, приобщись, сын мой», – пьяно ухмыльнётся. Если самогон или водка – Митька не станет, с души воротит, но если красное вино – выпьет, а отец Пахом – щепоткой под нос ему зачерствелый мякиш хлеба: «Закуси-занюхай, стервец. Вот ведь какой стервец! Но, погодь, я на тебя управу найду!»

Дэньги же Митрий пускал в игру – в орлянку, бабки и карты. Если выигрывал (а в бабки ему равных не было: глазомер и точность руки у подростка были потрясающие!), накупал в магазине конфет, пряников, сладкого фруктового чаю, и всё это тут же съедалось в компании со сверстниками или ребятнёй помладше, которой Митька любил

по-военному командовать: водил по деревне строем, с песнями, устраивал войну «с немцами и нашими» – это была его любимая забава. «Ну Гусак даёт!» – усмехались кто повзрослее, глядя со стороны.

А время бежало, и, ставши подростком, Дмитрий начал вместо сладостей покупать то самое красное вино, которым «причащался» у родителя, и, видно, с той поры пристрастился к нему. И в интернате его не раз прихватывали за этим делом, и в «рогачёвке» потом...

В армию Дмитрия сперва не хотели брать из-за сниженного слуха. Но в то время не пойти служить считалось делом позорным: такой парень, особенно в глазах девушек, выглядел неполноценным. Митьке же хотелось быть не хуже других. И он изо всех сил старался доказать, что со слухом у него всё в порядке. Даже умудрился записаться в автошколу при ДОСААФ. Впрочем, после школы-интерната для слабослышащих детей, где, отдадим должное тогдашней медицине, Митьку всё же подлечили, слух у него улучшился. Так что в армию он всё-таки напросился. Направили в «учебку». Там и оставили «замком» (замкомввода) в автомобильной роте до самого «дембеля».

На «гражданку» он вернулся в звании старшего сержанта. Устроился на механический завод по первоначальной профессии – токарем. Женился. Родилась дочка – получил одну комнату в ветхом ведомственном жилье; родилась вторая – поставили в очередь на расширение. А к тому времени у него уже проявился талант в руках. Ещё в училище на занятиях по токарному делу он удивлял мастеров тем, что легко и как-то изящно мог одновременно работать обеими каретками, на глаз вытачивая любой формы овал, что обычно не удавалось ни одному из учеников. В автошколе на уроках по диагностике неисправностей автомобиля научился точно определять их на слух. Но определял специфически, так сказать, «наложением рук»: потрогает пальцами работающий двигатель там и тут и тотчас выдаст: такой-то и такой-то клапан не отрегулирован, или свеча такая-то барахлит, или вкладыш на таком-то поршне износился, надо заменить. На заводе начальство его зауважало: толковый парень, безотказный и трудолюбивый. На собраниях Дмитрия хвалили, ставили в пример, но... стал чудить и запивать.

Было замечено, что ещё из армии он вернулся «каким-то не таким», как говорили про него в Чертозелье. Уходил этаким ухарем не ухарем, но пацаном «за всю фигню», по выражению парней. И девки не без интереса поглядывали на Митьку: он и вправду, двухметровый детина, когда в забывчивости не сутулился, был неплох, выглядел взрослее сверстников и по-городски (за плечами интернат всё-таки) боек. Но всё же они, девки, сторонились Анучина. Отчасти из-за его родителей. Наверное, и острый язык Дмитрия, его надменная бойкость тоже отпугивали девчонок. Заглазно они его, как и многие взрослые, нередко обзывали Гусаком. Он знал это и в ответ выплёскивал обиду в язвительных выражениях. Вообще говоря, по этой ли причине, по другой ли, но что-то уже и тогда хамливое было в анучинских шуточках. Замечали, что ещё подростком он любил среди пацанов похвастать с похабной развязностью, как он там, в райцентре, в интернате, всячески *имел* женский пол: и сверстниц, и взрос-

лых гулящих девок, и даже интернатских работниц помоложе. Опытному человеку можно было догадаться, что это – нездоровое подростковое враньё, а специалист-психолог сказал бы, что у мальчика такой-то и такой-то комплекс на сексуальной почве. Короче говоря, ни с одной деревенской девчонкой до армии, да и после, Дмитрий даже и не поцеловался ни разу. Хвастал, правда, Гусак, что у него есть «красивая городская», на которой он женится после армии. Но «городская» из армии его «не дождалась, мочалка-подлюга». Тем не менее скоро он женился на одной из вчерашних пэтэушниц – так, невзрачная девчушка из какого-то забытого Богом сельца.

Свадьбу сыграли в заводской столовой. С Митькиной стороны были только мать в стареньком платье, крёстный-родственник с прибаутками да пара дружков из Чертозелья, под конец затеявших драку с парнями из заводской общаги, где жили и познакомились жених и невеста. Сёстры и братья Митькины к тому времени разлетелись кто куда по белу свету, оставив изработавшуюся старуху одну. Митька и не искал их. Отца Пахома Калиныча, разумеется, тоже не позвал: гулял мастер-забудыга после очередной шабашки. А вскоре и помер.

Помер от переохладения, говоря проще, замёрз: лежал, лежал в остывшей печи да так и отошёл в мир иной. Хватились его только к весне: кто-то пришёл нанять плотника сруб рубить, а он, остывший, лежит в печи. Покойника даже и в морг не повезли. Сельская медичка засвидетельствовала смерть; соблюдая обычай, Марьяна самолично обмыла супруга; Дмитрий поставил мужикам вино – выкопали могилу, сколотили крест и похоронили, наскоро обметав лопатами весенний холм из не оттаявшей ещё земли. Никто и слезу не сморгнул. Правда, Марьяна Ильинична, выпив на поминках зелена вина, заголосила было, но Дмитрий тематически выругался, и она осеклась.

Потом он изредка навещал старуху в Чертозелье, но к отцу на кладбище – ни ногой. Халупу его раскатал по брёвнышку, перевёз к матери и распилил на дрова. Но Марьяна Ильинична ненадолго пережила непутного супруга. И её домишко Дмитрий также, по настоянию жены Люси, разобрал и, перевезя, поставил на своём дачном участке, на котором, впрочем, отдыхать и работать особой охоты не имел. С той поры и в Чертозелье перестал бывать. И никто из Анучиных не показывался там. Словом, рассеялся род, изжился на родимой земле.

Однако в райцентре Дмитрий Пахомыч скоро приобрёл широкую известность: машин стало много, а советский сервис никудышный, зато у Пахомыча – золотые руки и феноменальное чутьё на любую неисправность. К нему автолюбители и домой по выходным шли-ехали, и на работу, вызывая через знакомых. За проходную в любое время он выходил свободно – какой же охранник остановит Анучина?! Выйдет, выслушает, выберется специфически, загонит автомобиль в заводской гараж, послушает и точнейший выдаст диагноз, а если в его возможностях, то и устранит неисправность. И никому – никому! – в том числе и землякам, Дмитрий не отказывал, а главное, за труды свои деньги никогда не брал, разве что бутылку портвейна «три топора». Но стали подмечать за Дмитрием (а он был ещё совсем

молодой) именно вот это: прежде чем оказать помощь (да и вообще при определённых обстоятельствах), он так чертовски матерился, что любому изощрённому по этой части «специалисту» сто очков наперёд даст. А ещё наблюдалось: в случайных разговорах о женщинах отзывался о них непременно с самым распахбным юмором.

Природу русского мата как только не объясняют: тут, дескать, влияние и татаро-монгольского ига (если оно было вообще), и, наоборот, якобы сугубо отечественное происхождение с фрейдистской подкладкой; выискивают и древнеязыческий след: от волхвов-мистиков до художественного уклона в духе «Поэтических воззрений славян на природу». Но просто и ясно выразил суть матерщины один местный батюшка, приехавший к Анучину по рекомендации своего прихожанина насчёт какой-то неисправности церковной «копейки». Естественно, святого отца предупредили: потерпите, батюшка, Пахомыч сперва мастерски отсатанит вас, зато мастерски и диагноз поставит. Однако святой отец не выдержал испытания: как только Анучин взвился в искусных выражениях, священник плюнул и сей же час уехал. «И кто только придумал этот мат?!» – возмущался вместе с ним рекомендовавший ему Анучина прихожанин. «Да кто-кто? – возгневался батюшка. – Да бесы и придумали!» Вот так, ни более ни менее – бесы.

Но не только нужным в общем-то человеком слыл Дмитрий Анучин, но и забавным, артистичным, как уже отмечалось. Мастерски умел травить анекдоты или так искусно привирать, когда в курилке рассказывал мужикам какую-нибудь историю, что никто не мог понять, правда это или чистая брехня. А как заводских баб высмеивал – некоторые готовы были сквозь землю провалиться! Но от иных и сам хорошую отповедь получал.

У токаря-универсала, точнее, теперь наладчика, уже выросли дочери, а новую квартиру он так и не получил, по-прежнему жил в деревянном бараке на две семьи. Близилась юбилейная дата завода. Цеховой профорг, инженер Опуленко, известный здесь более как местный поэт, как автор-постановщик самодеятельных спектаклей и, по прозвищу образованных заводских дам, как Аполлон-Хваленко (была в нём этакая похвальбная статья: идёт по цеху – руки за спину, весь из себя, и при этом со всеми снисходительно внимательный), он-то и предложил начальству юбилейную годовщину родного предприятия отметить постановкой комедийной пьесы по произведениям Квитка-Основьяненко и Николая Васильевича Гоголя. Авторы были выбраны не случайно: директор завода – родом с Украины; главный инженер тоже хохол; сам Опуленко – само собой разумеется; у главного к тому же красавица-дочка готовилась поступать в театральное училище, и необходимые уроки мастерства, так сказать, давал ей не кто иной, как сам Аполлон-Хваленко. Причём батюшка красавицы, хотя и шутя, дал понять репетитору, что, если всё получится, порекомендует его на должность заводского председателя профкома (должность, понятное дело, немаловажная), поскольку прежний вот-вот уйдёт на пенсию. И Опуленко взялся с жаром.

Самодеятельность на заводе любили, артистов было хоть отбавляй, однако на роль хозяина харчевни режиссёр никак не мог подыскать толкового. Тут возьми и подсажи ему кто-то в шутку: «А вы Анучина уговорите – Анучин подойдёт. Вы только послушайте его брехню в курилке – вылитый артист!» Конечно, Опуленко прекрасно знал мастера-наладчика, в какой-то мере был его начальником, нередко заглядывал в его закуток по производственным вопросам, и как автолюбителю ему тоже приходилось не раз обращаться за помощью к Пахомычу. Правда, ни поэтическая известность, ни имидж «начальника» не спасали Опуленко от непрременной ритуальной порции анучинской брани, которая начиналась знаменитой фразой: «Задолбали вы меня все: этому сделай, тому сделай!..» Далее шли метафоры одна слаще другой. Однако легковушка-то Аполлона после этого работала ладно. Конечно, несколько унижительно было выслушивать матерную прелюдию из уст простого наладчика – но куда деваться? Да и не таких «начальников» с ног до головы обкладывал Анучин. Конечно, как профорг цеха Опуленко отчасти мог повлиять на квартирный вопрос... Но, во-первых, Анучин-то ни разу не отказал лично ему, Опуленко, а, во-вторых, Опуленко, в сущности, был человеком не злопамятным и в социальных вопросах по линии профсоюза старался быть справедливым. На последнем заседании профкома опять решали вопрос, кого в очереди на расширение жилплощади отодвинуть, кого пододвинуть; насчёт запойника Пахомыча, как всегда, спорили, но всё же решили наконец-то дать ему новую квартиру, благо затянувшийся долгострой вот-вот закончится, и свеженькая пятиэтажка шагнёт в эксплуатацию. Решили, правда, не окончательно, но Опуленко был «за». Знал профорг Анучина, знал. И как замечательно вруна-балабола знал, не раз слышал его рассказы с цветистой матерщиной и как поэт восхищался этой цветистостью. А почему бы и нет? Восхищались же классики – Бунин, Чехов, Достоевский – универсальным русским словцом. Выслушав шутливую рекомендацию насчёт Анучина, профорг кое-что прикинул в уме и решил: а почему бы и не попробовать? Припугнём и подзадорим вечного очередника. Подумал и самолично пошёл к Пахомычу в его закуток-мастерскую.

Придя к наладчику, он важно прошёлся по закутку, заложив руки за спину, и начал с того, что, мол, возникла нужда, Дмитрий Пахомыч... А тот как будто того и ждал. И не успел будущий председатель заводского профсоюза закончить мысль, как Анучин ястребом налетел на него и задал такого трепача! «Задолбали вы меня, начальники! Этому сделай, тому сделай! А вы мне квартиру сделали? Мне уже с женой как следует потереться нельзя. Девчонок уже замуж выдавать, а мы всё при них в этом грёбаном бараке ширяемся. Мы, чего же, так до смерти и будем... (тра-та-та и тра-та-та)?! Их мужья чему учить-то будут, они уж сами всё знают-умеют: они спят-то за ширмой от нас. А вам только одно: сделай да сделай!» И понёс, и понёс – слова не вставить.

Наконец профорг улучил момент: «Вот вместо того, чтобы материться, вы бы, Дмитрий Пахомович, лучше побольше общественны-

ми делами занимались». – «Какими делами? Я, что, хреном груши околачиваю?» – «Никто не говорит, что вы... груши околачиваете. Вас уважают, Дмитрий Пахомович. У вас золотые руки. Но и общественная жизнь – не последнее дело. Вот, например, вы бы приняли участие в постановке пьесы?..» Тут Опуленко живо принялся расхваливать свою комедию и так увлёкся, что, странное дело, заинтересовал Анучина. К тому же тот смикитил, что если он, Дмитрий Пахомович, будет участвовать в спектакле, то на этот раз никаких – совершенно никаких! – проблем с расширением жилплощади у Дмитрия Пахомовича не будет: очерёдность уже утвердили, его, Анучина, включили в список, и дом уже сдаётся. Мастер-наладчик, ссутулившись, озадачился. Но подумал-подумал, важно выпрямился и согласился. Сладились.

На репетиции Анучин стал ходить регулярно и роль выучил в совершенстве (память у него была великолепная). Более того, вошёл во вкус. Повалился импровизировать. И приберёт изюминку для премьеры.

Роль жены шинкаря играла как раз дочка главного инженера.

И вот – премьеры. В зале – аншлаг. В первых рядах – всё заводское начальство. Занавес открылся. Артисты вошли в роли. Лучше бы, конечно, Анучину сыграть шельмеца отставного солдата, но фактурой не подходил: слишком высок, а все партнёры по сцене мелковаты. Зато роль хозяина корчмы сыграл запоминающе. «Жинка, – скрипучим голоском, старчески сгорбившись, по ходу спектакля обратился Анучин (он же хозяин корчмы) к своей супруге (она же красавица-дочь главного инженера), – сыми-ка, душенька, со служивого сапоги. И дай ему... – И подлец Пахомыч сделал такую многозначительную паузу и в свойственной ему манере так это сказал «дай ему», что лицо «жинки» пошло пятнами... Вопреки сценарию, она размахнулась и влепила Анучину звонкую пощёчину.

И как среагировал наш герой? Он выдержал новую паузу и ухмыльнулся, погладив себя по щеке: «Ну, и скупа же у меня жинка, з-зараза: *дать ей солдату... жалко борща*». Хохот покрыл весь зал. Будущая звезда сценического искусства, вся пунцовая, убежала за кулисы, театральное действие оказалось на грани срыва, но через минуту возобновилось, и спектакль завершился на бис. Но если бы в том же году дочь главного инженера, человека солидного и многоуважаемого, в театральное училище не поступила, не быть бы цеховому профоргу Опуленко председателем заводского профсоюза, а незаменимому специалисту, актёру, цинику и запойнику Анучину Дмитрию Пахомовичу не жить бы в новенькой двухкомнатной квартире со всеми удобствами. Всё, что Бог ни делает, всё к лучшему. Вот такой он, наш герой.

Когда наступили перестроечные времена и на уличные книжные прилавки хлынул порно-эротический товар, шёл как-то углублённый в себя, ссутулившись, как фонарный столб, уже далеко не молодой Дмитрий Пахомыч. В ту пору многие, если не большинство, ходили «углублённые в себя» и озадаченные, ибо задача была немаловаж-

ная: выжить в условиях всеобщего развала и разора жизни. И вот идёт озабоченный выживанием Анучин, не видит, не слышит ничего вокруг. Тем не менее зацепил краем глаза крашенную в охру охапку волос симпатичной молодлицы, продававшей эротические журналы, которые попеременно лежали на небольшом столике-раскладушке. Анучин остановился, критически оглядел миловидную рожицу, выпрямился во весь саженный рост, важно подошёл к товару, полистал один журнал с обнажёнными красавицами, полистал другой и самым вежливым тоном обратился к продавщице, которая сидела с каким-то отрешённым видом, поскольку товар её не очень-то пользовался спросом (не до жиру – быть бы живу): «Простите, пожалуйста...» – «Да, что вас интересует?» – пришла в себя девица. «Простите, а вашей фотографии тут нет?» – спрашивает, обводя рукой столик с красавицами в интересных позах, и добавляет: – Ракообразно, желательно». – И с невинной улыбочкой смотрит в девичьи глаза. «Хам!» – наконец вырвалась из-под его гипноза юная торговка. «Значит, нету, – вздохнул Пахомыч, – будем искать». И пошёл было своей дорогой... Но остановился, как бы надумав вернуться и извиниться... Однако эхом прозвучавшее слово «хам» взбрыкнуло в нём спесь, и, не оглянувшись, он зашагал дальше – высокий, гордый, значительный. Но уже через минуту-другую опять незаметно ссутулился, озадачился. Перестроенная жизнь гнула и не таких.

Завод, где Анучин всё ещё числился мастером-наладчиком, к тому времени обанкротился (градообразующий завод!). Многие цеха, в том числе «закрытые» (выпускавшие продукцию для «оборонки»), закрыли по-настоящему, раскурочив, как водится, дорогостоящее оборудование, или сдали арендаторам, а те «перепрофилировались». Одних рабочих повыгоняли, другие сами уволились в поисках лучшей доли. С оставшимися заводское начальство расплачивалось «натуральным продуктом» – табуретками, садовыми скамейками, а если уж совсем у кого нужда-беда, то свежими гробами. Всё это наладил как раз некий шустрый арендатор, переоборудовав механический цех, в котором Дмитрий Пахомович Анучин проработал более четверти века, в деревообрабатывающий. Кстати, несмотря на то, что почти всё оборудование из цеха было вывезено и за бесценок продано, богадельню Анучина (богадельней каморку-мастерскую окрестил кто-то из заводских остряков) не тронули. Его золотые руки и совершенный слух и тут оказались востребованными: теперь он налаживал деревообрабатывающие станки, и ему даже разрешалось свободно проходить на завод в выходные дни, когда никто не работал. Больше того, предприниматель грозился арендовать ещё и большущий-пребольшущий заводской гараж, простаивающий теперь без машин (тоже пораспродали за ненадобностью), наладить сервисное дело по ремонту автомобилей, а Пахомыча поставить главным механиком. Но пока всё это было только в прожектах. Сейчас задача – выжить. Потому форма оплаты труда, извините, как и всем, соответствующая: табуретками. Анучин по этому поводу сперва такие выдавал прибаутки, что мужики-рабочие в курилке загибались от хохота, а начальство даже вызывало скомороха «на ковёр». Но что взять с шута горохового?

Выгнать? Да ведь нужен! (Арендатору он, между прочим, постоянно ремонтировал, эстетически матерясь, его «бэушную» иномарку, пока тот не купил новенькую, на зависть заводскому начальству.) Как же его выгонишь? Да и пусть народ посмеётся – это же отвлекает. А то начнут – митинги, демонстрации, пикеты...

Но и Анучин стал сдавать. Реже стал появляться в курилке, больше пребывал в своём закутке-обиталище. И чаще стал запивать, с бормотухи перейдя на «брынцаловку», свободно продававшуюся в аптеках как знак разгула перестроечных «реформ». На этикетке сего демократического напитка было напечатано, что якобы предназначен он для наружного пользования, но безденежное простонародье крепкую, дешёвую и вседоступную «брынцаловку», поименованную в честь достопочтенного депутата Государственной Думы, использовало, разумеется, вовнутрь, нисколько не опасаясь за своё национальное здоровье. Но как раз сей фармацевтический эликсир депутатско-коммерсантского разлива вкупе с другими фунфуриками скоренько и стали подрывать и без того неважное здоровье мастера золотые руки: чаще стало закладывать уши, пробудилась язва желудка и сильно упало зрение. Уши и язва – дело вроде бы привычное, а зрение доселе было прекрасное. А тут как-то после приёма одного аптечного изделия у Пахомыча невероятно зачесались дивные очи, и пришлось пойти к знакомому окулисту, которому он не раз ремонтировал «Жигули». Тот проверил его гляделки, покачал головой и прописал дорогущее лекарство. Анучин художественно выругался и лечиться отказался. Правда, с аптечным зельем, по совету того же глазника, завязал, да что толку – пить-то что-то надо. Перешёл опять на «три топора». Немного поправился. Однако на очки всё-таки пришлось раскошелиться. Зато поднялся градус общего настроения, и мастер изредка опять стал чудить.

Однажды то ли в шутку, то ли на полном серьёзе попросил себе в счёт зарплаты... гроб. «Зачем тебе, Пахомыч? Умер, что ли, кто?» «Умер. Сам я умер!» – сказал значительно. Контторские посмеялись, но раз требуется человеку гроб, пусть берёт. Выписали. Тот с квитанцией пошёл на склад. Однако на складе, сколько ни примерялся, ни один гроб ему по росту не подошёл. «Выродился русский народец», – ворчал он. «Пахомыч, ты колени-то подогни, – суетился возле него кругленький, низкорослый, похожий на грызуна кладовщик, бывший мастер цеха (у него и фамилия-то была – Хомяков), – а то вытянул как оглобли. Тебя, чё, запрягать, что ли, орясину?» «Уйди, огрызок моржовый!» – без былого вдохновения ругался Анучин, вставая из последнего гроба. Встал и потребовал гроб по квитанции заменить согласно адекватной цене табуретками, связал их покрепче, взвалил на худую спину и, сгорбившись, угрюмо потащил продавать на автотрассу Москва–Самара, где недавно ОМОН обезвредил банду дорожных гоп-стопников во главе с оборотнем-милиционером. «Не жизнь, а корыто наизнанку!» – шёл и думал мастер золотые руки Анучин Дмитрий Пахомович.

Да, что-то стало надрываться и в его натуре, и его доконали переделки-перестройки, перемены и подмены. И в шутках его теперь сквозило не столько смешное, сколько ещё более грубое и циничное.

Как-то в цехе появилась новенькая молоденькая учётчица. Этакая куколка в симпатичных очках. В цехе сразу её полюбили. Быстрая, лёгкая, внимательная ко всем. Женщины и мужчины постарше относились к ней по-отечески, парни помоложе, выяснив, что она замужем, обращались с ней ласково, не нагтели. Анучин же первое время на неё, «щень недоросшую», как будто внимания не обращал.

Но как-то бежит она по цеху мимо его богадельни, Пахомыч вышел ей навстречу.

– Минуточку, минуточку! – с многозначительностью в голосе приостановил её. – Можно вас?

– Да, да, конечно. – Торопливо подходит она к нему, вся такая хорошенькая...

– Скажите, пожалуйста... – как бы сосредоточившись, начал Анучин, – а вот когда вы с мужем спите, очки снимаете?

Учётчица на минуту растерялась, потом возмущённо:

– Да вы что!.. Да вы о чём?!..

А наладчик уже нагло с высоты своего двухметрового роста:

– Я говорю, когда вас муж... того, – и Анучин не постеснялся похабно выразиться, – вы, извините, очки снимаете?

Юная работница совсем потеряла дар речь. Наконец – возмущённо:

– Как вы смеете?! Да я... да я сейчас пойду к начальнику цеха!..

– Идите, идите, – снисходительно сказал ей Пахомыч, – ему, кстати, тоже интересно узнать.

Через месяц учётчица уволилась.

– Ну и гусь ты, Пахомыч! – сказал ему один на один прознавший про эту историю серьёзный немолодой начальник цеха. – Нельзя же так. Она же дитё ещё. А вот если бы кто так с твоей дочерью, а? Не совестно?

Анучин понуро ссутулился, ничего не ответил, скрылся в свою конуру.

Скоро и другой учётчице, сменившей предыдущую, тоже досталось от него. Правда, тут Анучин оконфузился.

В противоположность той, лёгкой и хрупкой всеобщей любимице, эта оказалась ещё та штучка. Бывшая спортсменка, самоуверенная, надменно-спокойная, причём истинно красавица, какие нередко появляются в русской породе, несмотря на все нравственные и физические пороки нашей жизни. Когда, цокая высокими каблуками по железобетонному полу, шла она по цеху в расклёшенном платье, дразня подколennыми ямочками раскалённый мужской взор; покачивала ладными бёдрами, как гордая яхта крепкими боками на лёгких крыльях морских волн; встряхивала распущенными лунного цвета волосами, непременно голову держа высоко и прямо, – все мужики глаз не сводили с неё или, наоборот, невольно опускали, точно боясь соблазна пуститься вслед за этой Артемидой козлоногими сатирами. Прозвища ей придумывались всяческие. Но прижилось, как водится, анучин-

ское – Страус-эму. «Она же как страус-эму!..» – однажды в курилке, пройдясь с папироской в зубах и отклячив тощей зад, изобразил он девицу. Но личной встречи с ней пока избегал. Иные, самые прыткие, пытались было подъехать к учётчице с приятными комплиментами, но всё безрезультатно – от борта! О, эта явно знала себе цену! Поговаривали, будто Страус-эму – любовница самого директора. Или родственница, что ли? Уж больно горда и самовлюблённа. Словом, с такой не похамишь.

Однако Анучин и здесь остался верен себе. Месяц и другой выжидательно примеривался.

Один раз стоит чем-то озадаченный возле своей богадельни, мелкими шажками семенит к нему тот самый Хомяков, благодаря подхалимажу новому начальству выбившийся из простых слесарей в заведующие гробовым и табуретным складом. Говорили про него, что он к тому же и стукач: всегда закладывал по части выпивки и подворывания своего же брата-работягу, хотя и у самого рыльце было в пушку. Пахомыч презирал Хомякова, в курилке при всех язвительно высмеивал его, а если тот обращался к нему с какой-либо личной просьбой (у него был старенький «Запорожец», требующий постоянного ремонта), Анучин материл Хомяка с особым пристрастием, хотя по обыкновению неисправность находил и устранял, – словом, и тогда помыкал, и теперь, несмотря на то, что тот стал «начальником». Формально Пахомыч и Хомяков были земляками – оба родом из Чертоземля, но об этом никогда не заговаривали между собой. А вроде как и дружили.

Мастер пошёл к владениям Анучина по делам производственным, заодно попросить, чтобы тот после работы посмотрел электрику на его «Запорожце»: где-то замыкает. А тут как раз мимо – Страус-эму: цок-цок-цок, повиливая бёдрами...

– Пахомыч, – тихонько, чтоб не дай бог услышала учётчица, сладенько пролепетал Хомяков, расщеперившись в улыбке, – ну, как бы ты её, а? Стал? (Тот – ноль внимания.) А я бы с удовольствием! – облизнулся бывший слесарिशка.

Страус-эму уже почти минула их, не обратив ни малейшего внимания ни на коротышку мастера, ни на двухметровый вопросительный знак фигуры токаря. И тут Анучин встrepенулся.

– Простите, пожалуйста, – негромко позвал он нормировщицу, сделав останавливающий жест рукой. – На минуточку, если можно.

– Слушаю вас, – с привычным горделивым спокойствием повернулась к мужчинам Эму.

– Вот этот хорь моржовый, – без разгона начал Анучин, – говорит, что он с удовольствием отхрюпал бы вас... – И длинными ручищами, и всем длинным изогнутым туловищем сделал насадное сексуальное движение.

– Да? – красавица ни капли не растерялась, лишь чуть надменно прищурила с зеленоватым огоньком глаза; стояла гордая, высокая (на каблуках она была почти вровень с Анучиным). – Передай этому моржовому... огрызку, – не взглянув на Хомякова, сказала она, – что замучится дыхалку восстанавливать. А тебе, оглобля, в следующий раз

я по харе надаю! – Повернулась и важно поплыла дальше. – Хамло! – добавила, не обернувшись.

Как будто ничуть не оскорбившись, кладовщик тихонько захихикал, зато Анучин как-то враз сторбился и неуклюжим гусаком нырнул в свой отгороженный закут, хлопнув дверью перед самым носом коротышки. Тот потоптался-потоптался и посеял в свой рабочий кабинетик, продолжая посмеиваться про себя. После он старался как можно меньше общаться с учётчицей, хотя работа требовала, а токарь и вовсе, завидев её, тотчас укрывался в своём ограждении. Правда, скоро она тоже уволилась – по причине, что якобы всё-таки была любовницей немолодого директора, что про их шашни прознала грозная супруга его и пригрозила скандалом и разводом, со всеми вытекающими последствиями, если не выгонит «молодую шлюху». Выгнать тот не выгнал, а пристроил, поговаривали, куда-то подальше от соглядатайства.

Ну, а Пахомыч вскоре запил: срок подошёл, да и жизнь... Ну, что это за жизнь: то шоковая терапия, то дефолт! Не хочешь, а запьёшь.

А вот здесь и начинаются события, с одной стороны, вроде «психиатрического» характера, а с другой, может, и мистического.

Шла телевизионная программа на тему: «Спор науки и религии». Диспутировали перед аудиторией священник и учёный-психолог. Священник – лобастый, остроумный старичок с весёлыми глазками и аккуратно подстриженной в виде сковородника белой бородкой. Психолог – сравнительно молодой, бритый налысо мужчина, с выскобленным округлым лицом золотистого отлива, отчего оно было похоже на яблоко-грушовку.

– Вот вы говорите, что бесов нет, – живо сказал священник, задорно поблёскивая глазками, – что, мол, это древняя выдумка церковников, чтобы пугать и держать в нравственной узде народ. Ну, положим, это так. Положим, в откровение Евангелия вы не верите, где Сам Господь наш Иисус Христос, – батюшка привычно перекрестился, – воочию изобличает бесов и где вообще этим образам – этим *архетипам*, как вы выражаетесь – уделено достаточно большое внимание. Ну, пусть, пусть это относится к нам, христианам-европейцам, – по-бойцовски рубил он сухонькой рукой, – пусть это будет сугубо наше художественно сублимированное измышление – культура, так сказать. Но позвольте, а как же насчёт демонов и бесов в других культурах? У всех, у всех – подчёркиваю – народов встречаем подобные «образы-архетипы». Почему?

– Это только доказывает, что всё человечество принадлежит к одному виду – *гомо сапиенс*, – не без снисходительности ответил психолог, – так сказать, единство психофизиологии, а также – что все народы, нации и расы имеют один центр происхождения.

– Так и мы это утверждаем, и про гомо сапиенса, и про единство происхождения: «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал», – процитировал церковный старичок отрывок из Ветхого Завета. – Только вы утверждаете, что человек где-то там, в африканских джунглях, эволюцион-

но произошёл от обезьяны... – Тут батюшка хитро-весело улыбнулся и, не закончив мысль, сказал: – Воля ваша, дорогой мой: если вам хочется – «от обезьяны», считайте своим родоначальником обезьяну. Только вот мне-то всегда смешно, а если хотите, обидно: почему именно – от обезьяны, по вашему Дарвину? Благородный англичанин, лорд – и вдруг, извините, от обезьяны. Какое падение чувства собственного достоинства! У других народов, примитивных с точки зрения образованного европейца, человек произошёл кто от сокола, кто от тигра, кто от прекрасной лани... А мы обязательно – от обезьяны! – И старичок-священник сделал досадливый жест рукой. – Ну, не обидно ли?

Аудитория одобрительно захлопала его остроумию, а он бойко продолжал:

– А ведь образ обезьяны, согласитесь, ваше боголюбие, очень походит на привычный образ нашего чёрта, прости Господи. Не так ли? Язычник-европеец ещё образ обезьяны и в помине не знал или давным-давно позабыл его в пути исхода из Месопотамии (или, по-вашему, из Африки), а образ чёрта, замечательно похожего на обезьяну, уже жил-поживал в его видениях и воображении. Как вы это объясните?

Батюшка явно уверенней чувствовал себя в дискуссии, чем психолог. Времени рассусоливать тему не было. Тем не менее представитель науки снова начал говорить о воображении именно «с научной точки зрения», употребляя малопонятные термины.

– Согласен, согласен, – замахал руками старичок-священник, как бы отмахиваясь от набившей оскомину истины. – Согласен и с понятием архетипа как коллективного бессознательного, как художественного воображения целого народа... Но позвольте спросить, – опять задорно блеснул глазками, – почему, к примеру, алкоголикам при «белой горячке» непременно являются, прости Господи, черти?

Зал опять было заплодировал, но тут психолог, похоже, уловив какую-то промашку священника, моментально воспарил:

– Извините, батюшка! Если бы вы были достаточно хорошо ознакомлены с алкогольной тематикой, вы бы обязательно знали, что при «белой горячке» (по-научному – *делирий*) галлюцинаторные образы чертей занимают всего лишь пять процентов в общей клинической картине. Сейчас инопланетяне уже почти столько же занимают.

– Во-во! – тотчас нашёлся весёлый старичок. – Пять процентов чертей плюс пять процентов инопланетян – образы всё тех же бесов – и вот уже десять процентов. А если поглубже, подотошнее покопаться, то и все двадцать, и все тридцать отыщем. Пить надо меньше и Богу почаще молиться: «Господи, не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого», – вот тогда и бесы меньше будут проникать в наше сознание через подсознание, а вместе с тем и в реальную действительность в виде большевиков-коммунистов, демократов-чубайсов, всяческих жириновских и кашпировских, всех этих кодировщиков-обаятелей – имя им легион, прости Господи!..

Благообразное лицо батюшки, показанное крупным планом, покрылось паутиной морщин, выражая явную нетерпимость. Передача заканчивалась.

Анучин лежал на диване. Он бюллетенил. Врач по благу продлил ему восстановительный отдых. Незадолго до приключившейся с ним болезни Пахомыч аккуратнейшим образом расточил ему распредел для поношенного «Опеля» (хотя иностранную технику Анучин почему-то недолюбливал) и при этом не только от медицинского спирта отказался, но даже привычные «три топора» с доктора не взял. И хорошо, что не взял, поскольку вскоре угодил в лапы именно этого эскулапа, то есть в наркологический диспансер. Угодил именно с «белой горячкой».

Всё, что с ним приключилось, он помнил до мельчайших подробностей, с небольшими провалами. Потому сейчас так внимательно и слушал передачу, особенно когда учёный и священник затронули актуальную для него тему. Но передача заканчивалась. И закончилась. Стали показывать сериал «Ну, погоди!» Пахомыч мультики любил. Бывало, с детьми своими, с дочками (которые теперь уже были замужем), сидит у телевизора и ухмыляется, глядя на забавные приключения волка и зайца. Дети смеются, а он только ухмыляется. У него и сейчас повело было губы, потому что один из эпизодов разом напомнил ему всю клиническую картину его металкогольного переживания...

Обозначившаяся на лице кривая улыбка робко стёрлась, как неприличный рисунок на школьной доске, а в памяти всплыл дурацкий рассказ, прочитанный им в фантастическом журнале (один из зятьёв увлекается: парень умный, хваткий, деньги зашибает, пить не пьёт, а как придут в гости – глядь, на диван ляжет и какую-нибудь дребедень читает). Смысл рассказа и вправду ни в какие ворота: поселковый фельдшер-алкоголик нечаянно обнаружил, что в заброшенной совхозной ферме поселились потерпевшие крах инопланетяне – существа, понятно, разумные, но видом звероподобные. А среди них оказался и один раненый. Фельдшер и рад бы помочь, да в животной анатомии разбирается гораздо меньше, чем в человеческой. Уговорил безработного соседа-ветеринара, мол, это по твоей части. Тот поломался-поломался, но согласился. Вместе исцелили гуманоида, заодно кое-какие запчасти для ремонта летающей тарелки подогнали инопланетянам из раскуроченной колхозной мастерской. Те их щедро отблагодарили и вовремя улетели на свою планету, потому что на подозрительную ферму скоро, по доносу, нагрянула районная милиция. А милиция разбираться не будет, кто свои граждане, гомо сапиенсы, а кто звероподобные гуманоиды. Им главное, с кого бы бабло поиметь. Ну что за рассказ? «Белая горячка», а не фантастика. В таком случае, его, анучинская, «горячка» никакая не «белая», а прямо чистая реальность? Вот сесть бы и записать. А лучше в стихах – баловался когда-то, в армии... Пахомычу отчего-то стало грустно, и почему-то из глубин школьной памяти выскочила строчка-перевертыш: «А роза упала на лапу Азора».

Отбюллетенив, Анучин пришёл на работу и первые два-три дня старался никому без особой нужды на глаза не попадаться: ни начальству, ни работягам (в цехе, разумеется, всё уже знали). Затем стал заглядывать в курилку. Мало-помалу вернулся к нему шустрый тон, и наконец однажды, немного увиливая от неприятных расспросов, стал рассказывать мужикам, что с ним приключилось:

– Ну, подпёрло мне загулять – прямо невоготу! А тут и отпуск. Правда, дали только две недели и кое-какие деньжонки – я их сейчас же в заначку, а Люське – ни гу-гу. Её тоже как раз турнули «без содержания», тоже на две недели. У них там, на фанерной фабрике, своя пертурбация, хрен голову сломит, начальство каждый день меняется, и ничего никому не платят; нам хоть гробами и табуретками, а им – одними обещалками. Она мне: «Я в деревню поеду, отдохну от этой долбаной жизни. Может, погода установится, хоть на сенокос схожу, природой подышу». Езжай, думаю, баба с воза – кобыле легче, гульну без тебя тут, без твоих причитаний. А она, мымра, точно мысли мои угадала. Смотри, говорит, не обейся здесь, скотина. А я уж и вправду загуливать потихоньку начал, Люська это приметила. И смотри, говорит, чтоб за огородом присматривал (это она про дачу – сдалась она мне!). Ладно, говорю, езжай, присмотрю. Ну, укатила. Заначку не нашла. Я утречком в магазин сходил – бутылочку взял, в обед – другую. Вечером думаю: чего шататься-то на дню по десять раз? Велосипед наладил, поехал, сразу ящик портвейна по ноль семь привёз... Подумал-подумал: пока в памяти, дай-ка ещё один прикуплю... Ну, и загудел на всю катушку! Первые-то дни выпью бутылёк, пойду во дворе на лавочке посижу, покурю с кем-нибудь, о политике поспорим. Раз-другой, помню, к соседу, к Ромке-«афганцу», заходил, с ним было наладились квасить: жена его Верка – в конторе, а сам он обычно в ночную смену на поливальной машине ездит. Но один раз ей зачем-то приспичило домой в обед прийти – ну и прихватила. «Чё ты сюда наладился? Он и без тебя не просыхает!» И в самом деле, как только его шофёром держат? Да понятное дело: ментам-гаишникам, когда сушь, по ночам на дачу воду возит. Короче, вытолкала меня взащей, сковородкой чуть кумпол не расколошматила. Та ещё лява! Не зря про неё говорят, что она Ромке рога наставляет.

А потом уж у меня и силов не стало из квартиры выходить. Кое-как бутылку раскупорю, вылакаю – и на диван. В голове всё перемешалось: ночь, день, какое число – ничего не соображаю! Когда Люська приехала, у меня уже шаром покати – ни вина, ни закуски, ни денег. И сам чуть живой. Она меня в ванну затащила и давай холодной водой вытрезвлять. Вот чумичка! Ну, правда, вроде малёк протрезвила. Зато меня всего в дрожь несусветную – зуб на зуб не попадает! Закутался в одеяло. Дай, кричу, похмельиться. На-ка, сволочь, такой-рассякой! – и дулю мне в харю. А я весь ходуном хожу. А то вдруг тошнота подступит – несусь в туалет, а рвать-то нечем, желчь одна. На диван вернусь – опять трясушка нападает, аж диван подпрыгивает, как при хорошей случке. А эта чумка ещё из кухни во весь голос подтравливает: «Так те и надо, паразиту! Чтоб черти на том свете тебя так за душу трясли!» Мало того,

заскочит, ведьма, с половником в руках да как замахнётся! – у меня аж сердце от страха так и закатится. Уйди, говорю, мне без тебя тошно, кранты же: если не черти, то язву точно опять схлопочу. «Да чтоб она тебя насквозь прозабодала!» Вот ведь змея какая! Но молчу в ответ, поскольку сил ошестиниться нет. Тут вдруг я возьми и вспомни, что мне на работу пора. «Какое число?» – спрашиваю. «Пятнадцатое», – отвечает. Сама из консервов суп варит. Ой, ё!.. Мне же и взаправду нынче на работу! Сходи, говорю, позвони мастеру, пусть во вторую смену меня поставит. «Ты уж совсем, что ли, рехнулся?» – кричит. И уж как бы примирительно: – Жрать-то будешь?» – «Какое там жрать! – еле курлычу. – Сходи принеси лучше бутылёчек». – «Щас!» Но смотрю, молча собралась и ушла. Наверное, звонить, мыслю. Жду – нет, жду – нет. Закутанный лежу на диване. Думаю: до вечера проспуюсь и пойду. Лежу, а сна ни в одном глазу. Эх, похмелиться бы!.. Но ведь знаю: ни копейки, мымра, не даст! Да и ушла-то, похоже, чтоб не донимал. Эх, чего душу травить?! До вечера решил потерпеть-помучиться, а на работу, думаю, пойду, в магазине в долг «бормотушку» возьму – меня же все продавцы как облуленного знаю.

Ну, дотерпел кое-как. И вроде есть захотелось. На кухню доковылял. Подумалось было супцу похлебать, а руки, как отбойные молотки, чечётку выплясывают. Ну, кое-как прямо из кастрюли попил-поглотал. Стал одеваться. А всё дрожит – ужас! Ногой в штанину попасть не в состоянии – мотает как сосиску; сандали хочу застегнуть – ну ни в какую: нагнусь – и кувырк на пол... Да что же это такое? Вроде и не пьяный уже... Ну, кое-как обулся-оделся. На улицу вышел – от встречных шарахаюсь, точно каждый меня зарезать готов – жуть прямо! Ой, лишь бы до магазина, лишь бы до магазина!.. Дошёл, а он, собака, как назло, закрыт! Теперь, думаю, скорей до работы, авось, у кого из мастеров заначка есть. А тут ещё живот вдруг закрутило. Это, думаю, с похлёбки: нарочно, поди, чего-нибудь подсыпала, мохнатка. Закрутило-завертело – я бегом. До проходной добежал. «Ты куда, Пахомыч? Чё с тобой?» – молодой охранник щерится. «Уйди, салага!» – рыкнул на него и до цеха в туалет галопом. Чуть унитаз не расколол. Потом пошёл по цеху бродить: у кого бы этак поправиться? Всё обошёл: и свой цех, и по другим цехам – никого нет! Да что ж это такое? Ни души! А то, что выходной, и в голову не приходит.

А дальше с Пахомычем и началось...

Вернулся он несолоно хлебавши к себе в цех – тишина мёртвая. Какая, к чёрту, работа! Да и ночного мастера почему-то нет. И никого, кажется, нет. А почему – невдомёк. Никогошеньки! Как на кладбище. И жутковато ему от этой безлюдницы. Ещё эти гробы, табуретки, скамейки кругом... Затхлый запах слежавшихся опилок... И этот тенётный полусумрак в цехе... Сел было покурить в своей богадельне – страх непомерный напоздаёт. Вдруг слышит: в дверь кто-то постукивает («Да не заперта же», – думает), а вслед и голос, резкий, отрывистый, вроде как позвал кто-то:

– Ануча, Ануча?

– Да кто там? – отвечает, а у самого душа от страха, точно ужик под пятой, извивается.

– Выйди-ка, на минуточку, Ануча... – Голос переменялся на притворно-ласковый.

Да кто это? Да что это такое? Вообще-то, Анучей на заводе его никто никогда не называл. В детдоме – было. Ну, так это вон когда! В деревне иногда Гусаком обзывали...

Пахомыч пересилил себя, дверь приоткрыл – вроде никого. Открыл пошире – точно никого. Вышел, огляделся – совсем никого. Наверное, померещилось. Сел на брошенный грузчиками-раздолбаями пустой ящик из-под лака. Дрожащими руками прикурил «беломорину». Ногу за ногу заложил, завернув винтом худую лодыжку за лодыжку. Ссутулился, озадаченный непонятной тишиной, полусветом и пустотой цеха. Тем не менее зыркком туда-сюда – нырк-нырк. А главное, прислушивается. Вечно у него уши закладывало, а тут слышимость появилась невероятная. Даже как будто морзьянку во всеобщем электричестве различает: *таки-таки тра-та-таки...* Но вот какое-то особое металлическое шуршание привлекло его внимание – шуршание с позвякиванием и постукиванием. Вслушался ещё пристальней, взгляделся ещё зорче туда, откуда звяки, стуки и шуршание... О-го!

Насупротив его богадельни, шагах в шести, по ту сторону узкоколейки, разделявшей цех вдоль надвое, по которой раньше завозили сюда необходимый для механической обработки материал, а теперь лишь бруски и доски для производства гробов и табуреток, по ту сторону на металлических козлах лежит горка шестиметровых труб из нержавеющей стали. Полуторадюймовые. «Да с какой стати они здесь?!» – удивился Пахомыч. Раньше, бывало, понятное дело, в цехе и резали, и гнули, и варили... А с тех пор, как переналадились на производство гробов и табуреток, ни одного завалящего обрезка трубы не сыщешь. Бывало, из этой нержавеющей стали – кому сушилку для ванной, кому глушитель для «Жигулей», кому качок на дачу, а то и самогонный аппарат... Может, надумали снова механический цех восстановить? Ах, хорошо бы!..

Во всяком случае, вид нержавеющей труб значительно обрадовал мастера-наладчика, уставшего видеть вокруг себя одни бруски, доски, стружки, опилки и горы – горы! – гробов, скамеек и табуреток. Ему даже захотелось ласково потрогать драгоценный металл – уж так манил и привораживал взор матовый отблеск его! И Анучин не выдержал, привстал с намерением пойти и так-таки потрогать... Но тут...

Тут смотрит: одна из труб на козлах стала тихонько подёргиваться, подрагивать... И вот как бы мелкая рябь побежала по ней, как бы что-то невидимое быстренько-быстренько поползло внутри, чуть-чуть раздувая её. И вот *это* невидимое теперь доползло до конца трубы, на секунду замерло – и вдруг выпрыгнуло-шлёпнулось на бетонный пол цеха. Ба! Что это? Сперва Пахомычу показалось, будто это... мышонок: хвостик, ушки, остренькая мордочка... Однако пригляделся... Ё-о-окарный гутбай!

– Не вижу гусака! – каким-то фальшивым пискляво-детским голосом вскрикнула мордочка, обернувшись к трубам, из коих только

что сама выпрыгнула. И тотчас по остальным побежала та же мелкая дрожь, и началось металлическое шуршание вперемежку с тонким цоканьем копыт. Из всех отверстий потянуло странным тухлым дымком, и вслед за тем с ускоренно-визгливыми вскриками: «Не вижу, не вижу гусака!» стали выпрыгивать и строиться в двукрылую шеренгу маленькие, не больше воробья... черти. Именно черти – рога, копытца, хвостики. Причём различительно мужского и женского пола: в левом крыле – козлоногие ребята с более острыми отростками на шишкастых головах и прилизанными назад шевелюшками; в правом – чертовки, меж комолых рожек у которых волосы вздыблены кудревато-рыжими клочками. И вот эти шалашовочки, поигрывая мохнатыми хвостиками, как вульгарные шансонетки страусовыми юбочками, в разноголосицу вдруг запели: «Надоело Бога славить. Захотелось пить и есть». «Небо лучше нам оставить, – так же им ответили слева, – на земле привольней жить!» «Ой, ля-ля, тру-ля-ля, на земле прикольной жить!» – дружной какофонией грянули оба крыла, притопнув копытцами, и все мгновенно подросли до размера средненьких козлят.

– Где он, гусь лапчатый? – выйдя несколько вперёд в середину, крикнул-спросил тем же гнусаво-мультишным голосом один из чертей, очевидно, наибольший, и, наподобие военного дирижёра, взмахнул жезлом в виде простого молоточка.

– Невидим, невидим! – разноголосым хором ответили ему справа и слева, при этом, однако, указывая обезьяньими ручонками в сторону Пахомыча, как будто всё же видя его. – Невидим и дивен!

У того от страха судорогой повело рот в сторону.

– Ну-ка, стрёмно, мал и старый, – речитативом скомандовал дирижёр, – грянем вместе!

– Баба Мара! – взвизгнула нечисть и повторила тоекратно: – Баба Мара, Баба Мара! – И все обернулись к стопке нержавеющей труб на ржавых козлах.

И тут самая верхняя труба стала подпрыгивать и неистово извиваться серебристо-матовой змейей, и внутри, неимоверно раздувая стенки, опять что-то гулко-дробно поползло. Поползло-поползло и застряло. Труба дико взвыла, изогнулась высоченной ведёрной ручкой, заржала, задрожала... А черти и чертовки тем временем, тыча лапами в сторону Анучина, ругательски переговаривались меж собой:

– Кой чёрт принёс его, Гусака, в выходной день!

– А ляд его знает, дуrolома!

– Сидит дожидается, воруя социалистической собственности!

– Хамло! – взвизгнула одна из чертовок, притопнув розовым копытцем.

– Чтoб ему околеть, паразиту-вруну-охламону!

– Дождётся чёртовой матери, лихоманщик-охмурыло!

И только было произнесено «чёртова мать», как изогнутая дугой труба подпрыгнула, со звоном распрямилась, точно порвалась невидимая тетива громадного лука, и с грохотом упала, подпрыгивая и ударяясь оземь то одним, то другим концом. А лишь успокоилась – тотчас выскочила из неё чудо-нежить в виде пузатой бабы-чертов-

ки с распущенными космами. Здоровенная, как бухгалтерша Тонька-Шестипудовка, которая на вопрос: «Когда зарплата?» – обыкновенно со злобой отрезала: «Нету денег, нету! Сама без копеечки живу». Да чтоб Тонька-Шестипудовка без копеечки? При её-то размерах и аппетитах? Да какой же чудило ей поверит?!

– Вот он, дошлый! – тоже с гундосым, однако низким голосом указала толстуха-анчутка в сторону токаря и вперила в него выпуклые мутные гляделки, пригвоздив на месте.

Но вспомнил в одно мгновенье Митька Анучин свои детдомовские ночи, как, страшая друг друга, рассказывали мальчишки за полночь всяческие жути про ведьм, чертей и разного рода бесов и какие против них существуют заговоры, вспомнил тотчас одно такое страшное заклятие:

– Плакун, плакун-трава! – начал он бормотать, не смея оторвать глаз от бесчинных гляделок шестипудовой бабы. – Плакала ты долго, а выплакала мало. Не катись твои слёзы.. – запнулся-осёкся, – не катись, слеза, по чистому полю, не разносись твой вой по синему морю.. – И опять язык споткнулся. – Будь ты страшен.. – с придыханием стал выговаривать заповедные слова Митька, – страшен бесам и старым ведьмам..

И вдруг понял, что ведьма-чертовка на его, Митькино заклятие читает-бормочет своё, очевидно, более страшное, и у Митьки на конце заговора память точно бритвой срезало – забыл, напрочь забыл!

– Хватай его, жмурики! – утробно возопила проклятая Баба.

И вся нечисть кинулась на Пахомыча. Но и он наконец-то опомнился. Рванул что есть духу из цеха вдоль узкоколейки! И понёсся, не чуя под собой нескладных ног сорок шестого размера! Летит, взмахивая ручищами, будто дикий гусь крыльями, выкидывает, не касаясь земли, далеко вперёд длиннющие, но какие-то неловкие, косолапые ноги – гусак, истинно гусак!.. И уже не пять, не десять минут мыкает беглец удачу, а конца-края узкоколейке всё нет и нет. Оглянулся, а за ним на дрезине вся кодла окаяшек гонится, не отстаёт, мчится, как на паровозе. И регент-дирижёр, точно боцман на гребном судне, взмахивая жезлом-молоточком, командует: «Раз-два! Раз-два!» И гулкой медью звенит под сенью гробового цеха всё та же дурацкая песня:

*Надоело Бога славить,
Захотелось пить и пить.
Небо лучше нам оставить –
На земле привольней жить!
Ой, ля-ля, тфу-ля-ля,
На земле прикольней жить!*

А всей этой паровозной сворой чёртова Баба Мара командует, стоя слева на переднем краю дрезины.

– Рази его в душу мать, Гусака старого! – взвизгнула она.

И регент-дирижёр, прицелившись, метнул жезл свой в спину ополумевшему от страха Анучину. Метнул, да, похоже, неточно: угодил его чёртов молот прямо в пятку Пахомычу.

Вскрикнул и споткнулся от боли и чуть было не упал беглец. Но тут видит: уже в трёх шагах от него заветные ворота, закрывающие широкий проход-проезд в механический цех (их обыкновенно под выходной снаружи на запор запирали). Так и есть – заперты! Лишь узенькая дверка справа настежь, точно ждёт не дождётся, чтобы спасти бедолагу. Пересиливая боль, ринулся Анучин в неё, а вся ватага на дрезине с размаху так и врезалась в запертые ворота, с визгом и воплями рассыпалась-разлетелась, как ком грязи о забор. И уж было вырвался Пахомыч наружу, да подскочил сзади сволочь дирижёр и вцепился зубами ему в ту же ушибленную ногу, в лодыжку – экий дьявол! Но с нечеловеческим усилием и болью высвободил злосчастный свою ножищу сорок шестого размера, одновременно с неимоверным напряжением рук прищемил железной дверью комолую бошку сунувшегося за ним бесятки и так поднажал, что, кажется, насмерть и удавил гада, потому как вывалился у того мёртвый длинный, в пол-локтя язык, с которого падала, разъедавая бетон, ядовитая пена-слюна, и зенки выкатились из орбит. Пахомыч чуть приотпустил дверь и здоровой ногой устало пнул нечистого обратно в цех. И замкнул калитку на висячий замок. И вознамерился передохнуть немного, привалившись спиной к воротам. Но, похоже, опомнились черти внутри цеха и явно пошли на штурм, пытаясь тараном выломать запертые ворота.

– Раз-два – взяли! – командовала ими чёртова Баба Мара. – Ещё раз – взяли!

– Эх, сама пойдёт, сама пойдёт – взяли! – на разные голоса взвизгивала-отзывалась нечисть.

«Бежать, бежать на проходную! – приказал себе Анучин. – Звонить в милицию!.. Молиться надо: отче наш... *живый* в помощи *вышня*го... *иже еси на небеси...*»

Но ни одной молитвы он нормально не помнил. Всё перемешалось у него в голове. Волоча израненную ногу, заторопился бедолага через заводской дворик к проходной.

А черти уже ломались за ним.

– Чё с тобой, Пахомыч?! – то ли с участием, то ли пытаясь задержать его, спросил в дверях всё тот же охранник.

– Уйди, салага!

Хотел было отшвырнуть его Анучин, однако в следующий миг решил уже по-доброму попросить, мол, скорее – как можно скорее! – сообщи в милицию!.. Однако – глядь на охранника! – а это не охранник, а оборотень в униформе.

– Держи его! – гаркнул оборотень, но Пахомыч уже был за проходной.

Забыв про уязвлённую пятую и прокушенную щиколотку, понёсся он серединой проезжей части, помчался, сам не зная куда, полетел на чёрных крыльях страха.

А на улице ночь. Тёмная, глухая ночь. Ни звезды, ни месяца. Так в летнюю пору и не бывает. Но ведь лето выдалось хмурое, дождливое, поганое, вот и нахлобучила ночь чёрную шапку, а пучеглазые фонари раскосматили её. Несётся Анучин. Жутко ему. Мелькну-

ло на тротуаре кособокое деревце-горбун – заколдованное. Что это за висельник висит вон там? Ах, это кран на заброшенной новостройке: похоже, какой-то груз с тросов забыли снять, вот и висит-болтается. А может, и не груз вовсе, может, и взаправду повесили кого? А не его ли, Анучина, повесить хотя? Вот догонят и вздёрут, как паршивого, бездомного пса. Да и чувствует бедняга: погоня где-то рядом, погоня по пятам. Оглянулся – какая-то машина сзади настигает. Прибавил ходу... Но тут что-то ёкнуло в груди спасительное. Опять невольно обернулся: ба! да это же «поливалка» Ромки-соседа, который шофёром в дорожном управлении работает. Похоже, заправляться едет. А вон, кажись, и сам Роман. Так и есть: поливальная машина чуток обогнала Анучина слева и поехала вровень с ним. Из окна высунулась вечно небритая рожа соседа, бывшего десантника.

– Пахомыч, ты куда это?

– Рома, дорогой, – взмолился горемыка, – нечистая сила за мной гонится. Черти, Рома, черти!

И огляделся так боязливо, что поливальная машина остановилась, несчастный беглец тоже. Машина раздумчиво урчала, Анучин тяжело дышал.

– Черти? – подозрительно спросил сосед.

– Черти, черти, – подтвердил Пахомыч.

– Это бывает, – щетинистое лицо шофёра сделалось озабоченно серьёзным. – Ну, давай тогда садись в кабину, – открыл дверцу.

И жалкий беглец тотчас оказался в машине.

– В милицию, Рома, – ласково попросил он.

– В милицию так в милицию, – согласился водила, но уточнил: – А может, в больницу?

– В какую больницу? – враз насторожился Анучин.

– Да хоть в какую, лишь бы приняли.

«Принять и в морг могут», – подумалось больному, и он тревожно сквозь поднятое стекло в дверце стал всматриваться в дома и улицы родного городка: куда это его сосед повёз? Да как торопится! Ах, да! За ними же черти гонятся!.. Ох, смертная погибель наша!.. Э, нет, что-то тут не так... Искося и, стараясь, незаметно Пахомыч раз и другой взглянул на сурового водителя. Что-то тут не так, что-то тут не эдак...

– Слышь-ка, Ромчик, – хитровато попросил болезный, – останови-ка на минутку, по нужде выйду.

– Да уж немного осталось, потерпи.

– Останови, говорю! – злобно потребовал Пахомыч, потому что...

– Да успокойся ты...

...Потому что Пахомыч догадался наконец, что это вовсе никакой не сосед, а сущий оборотень в его личине. Точно, точно! Вон и рога на бритой голове. Вот оно как! Да и везёт-то он его чёрт знает куда... Успокойся?! В покойницкую везёт, как пить дать в покойницкую!

На самом деле сосед Роман Веселов торопясь вёз соседа Анучина Дмитрия Пахомовича в больницу, что на окраине райцентра, на территории которой, знал он, находится отгороженное от всех корпусов здание наркологического диспансера. Но насторожило и взбудоражило больное воображение Анучина то, что неподалёку отсюда находил-

ся и морг, куда, как с ужасом подумалось ему, и вёз его на съедение мертвецам этот дьявол в образе его соседа.

– Пусти, говорю! – очумело заорал Анучин, потому как здоровяк Веселов, одной рукой вцепившись в баранку, другой крепко придавил головёнку Пахомыча к своей могучей афганской груди.

– Не брыкайся, Пахомыч, не то удавлю! – сквозь зубы твердил Роман. – Не брыкайся, сейчас всё ништяк будет, подъезжаем уже. Не кусайся, падла! – взвыл он, ибо Дмитрий Пахомыч, не имея сил вырваться из объятий дьявола-водителя, и в самом деле впился зубами ему в правый нагрудный мускул, как голодный щенок в титьку матери. – У-удавлю, собака!

Слава Богу, поливальная машина уже подкатила к лёгким решетчатым воротам наркологического диспансера, за которыми невдалеке виднелся подъезд с подсвечивающейся надписью: «Приёмное отделение», подкатила точно к блаженным вратам рая, чуть не высадила их, но водитель, терпя укус и не отпуская Пахомыча из могучих объятий, со всей силой вдарил по тормозам. Теперь, не дожидаясь, пока кровожадный сосед выест ему полгрудины, бывший вздэвэшник умело хватанул соседу освободившейся от руля левой рукой по правому уху. Боль оглушила несчастного, зато и бультерьерская хватка его ослабла. Водила отпихнул злыдня от себя и, усмиряя поглаживанием укус, со злостью выдавил кулаком длиннющий звуковой сигнал, заодно вспомнив, что он ехал всё это время без маячка, включил и маячок, пожалев, что на «поливалке» не ставят ещё и сирену.

Вспыхнули окна приёмного отделения, вышли на крыльцо рослая сестра и выбритый до синеватого лоска бугай медбрат, а вслед за ними, позёывая, появился дежурный доктор с бородёнкой мыском под заспанной губой. Выяснив, в чём дело, отомкнули ворота, «поливалка» подъехала к самому подъезду. Медработники с лентой взяли было за больного, пришедшего в себя после нокдауна, но никак не в нормальное сознание – куда там, Пахомыч вновь яростно засопровтивлялся, пришлось медбрату с помощью укушенного «афганца» скрутить его. И беднягу поволокли в больничные покои. А Анучинуто показалось – в мертвецкую!

– Караул! – ослабшим, каким-то петушиным голосом возопил он, но никакого воздействия сей глас ни на кого не возымел.

Дежурный врач, доктор Казиновский, тот самый, которому не столь давно несчастный пациент растачивал распредвал к «Опелю», разумеется, признал его и не без участия, но привычно профессионально расспросил водителя «поливалки», что и как, тот охотно рассказал и закончил прямодушной констатацией:

– Похоже, «белая лошадь» укупитила. – И, вспомнив про укус, добавил: – А может, с ума сошёл? Он же укусил меня, как бешеная собака! Ещё прививаться, блин, придётся... Вообще-то, доктор, он в загуле был, пил две недели. А когда пьют, с ума по-настоящему не сходят. Так ведь?

– Н-н-да... – то ли согласился, то ли нет доктор Казиновский с познанием водителя «поливалки» в области тайн человеческой психики. Завернув ослабшему пациенту око, посмотрел в один глаз,

потом в другой. Пощупал пульс, повёл носом... – Н-н-да... действительно делирий, – сделал заключение, пощипывая свою бородёнку.

– Это что? – не понял Роман.

– «Белая горячка», дружок, савсэм бэлая, – на кавказский манер с улыбкой сказал эскулап.

– А я уж напугался, – облегчённо вздохнул бывший десантник. – Думаю: ни хрена себе – сорок уколов придётся!.. Как собака вцепился! Хотя ведь от человека к человеку сумасшествие не передаётся? – сказал, поглаживая прокушенную грудь.

– Разве что в случае массовой истерии, голубчик.

– А! Ну, тогда я поехал?

– На всякий случай давайте обеззараживающий укольчик сделаем.

– Нет, не надо, – нетерпеливо отмахнулся шофёр, – я этих уколов не то чтобы боюсь, а противны они мне. Я и в школе редко давался, меня уж в армии в основном прививали. Там не хочешь – заставят, не умеешь – научат. – И водитель сдержанно рассмеялся.

– Ну, вольному воля, дружок, – зевнул на прощанье доктор.

А зря зевнул. С пациентами, напуганными бесами, нельзя расслабляться. Демоны же! Как ни ослаб в неравной борьбе с ними наш бедняга Дмитрий Пахомыч, а до жути не хотелось ему заживо быть погребённым и съеденным жмуриками-мертвецами (так мерещилось ему). Вот и теперь, когда один из бесов, прикидывавшийся его соседом Ромкой-«афганцем», куда-то исчез, а другие, положив его в открытый гроб, а гроб поставив на катафалк (на самом деле – сперва на кушетку, а затем на обыкновенную каталку), сначала торжественно, а потом всё быстрее и стремительней повлекли куда-то всё вниз и вниз, должно быть, и вправду в покойницкую или в преисподние глубины, бедный Анучин скорчился и зажмурился от ужаса. Но когда катафалк доставили в конечный пункт назначения и гроб водрузили на какой-то постамент, Пахомыч решил прикинуться настоящим жмуриком. Однако, приоткрыв щёлочкой глаза, внимательно стал наблюдать за присутствующими на погребении бесами.

– Сопор, – произнёс непонятное слово наибольший демон с козлиной бородкой, скрывающий рожки под белым колпаком. – Рассупоньте его.

«Ага, – в предсмертном ужасе обрадовался Анучин, – понятно: перед тем, как зарыть, мертвецу ноги и руки развязывают». Так и есть – развязывают. Пахомыч изготовился. И только ослабли путы-оковы, как проворно вскочил он из гроба и так заехал главному демону мосластым кулаком по козлиной физиономии, что тот скопытнулся на пол, и нарочитые очки вспорхнули с обезьяньей морды, как испуганная птица с куста...

Но тренированный не хуже Ромки-вэдэвэшника медбрат и мощная, грудастая сестра Алина (с которой после Дмитрий Пахомыч вполне подружится и пообещает посмотреть её «Жигули» последней модели) уже навалились на Анучина, а на помощь спешили и другие; опять связали, опять скрутили, и скоро горюн Пахомыч покорился силе успокоительного укола.

Утро он встретил в состоянии неимоверно разбитом. С трудом сообразил, где находится. Беднягу развязали, и доктор, с отметиной под глазом, взяв его осторожно за запястье, прощупал пульс, покачал головой:

– Экий пульсик-то, как у кролика!.. Ну-ка, давай, братец, температуру померяем... – Вставил градусник Анучину под мышку. – Как тебя, дорогой, зовут-то? – ласково стал пытаться его доктор, обращаясь как с малым дитём.

Пахомыч с трудом пролепетал своё имя-отчество. А помнит ли он, что с ним произошло? Сперва Анучин ничего не мог вообразить, но потихоньку стал припоминать. Даже поливальную машину вспомнил, но категорически отверг своё агрессивное поведение относительно соседа Романа. Да и вообще (мало-помалу стал он оживать и почему-то раздражаться, щурясь на медицинское освещение в кабине) никакому соседу он знать не знает, бесов помнит, а соседа нет. Доктор Казиновский намекнул ему на подбитый глаз – Пахомыч обидчиво заволновался ещё более и что-то забормотал несурзачное. Эскулап предусмотрительно увеличил дистанцию меж собой и пациентом, как опытный водитель на скользкой дороге. Медсестра ловко извлекла градусник из-под анучинской подмышки: тридцать девять и девять. И запах, запах – прямо как от нестираных детских пелёнок!..

– А-я-яй! – посетовал Казиновский. – М-да, допились, голубчик... И, кажется, повторная «белочка» скачет, – добавил настороженно, когда пациент, пытаясь встать с кровати, стал обращаться к нему: «Люсенька, Люська, курва ты такая-сякая!.. Да стряхни ты их с меня, стряхни, всю кровь же выпили, гады горбачёвские! – И стал стряхивать с одеяла, по-видимому, каких-то кровососущих. Похоже, стряхнул и, подняв взгорячённый взор на Алину, потребовал: – Дай ты мне новый станок, этот же раздолбанный весь, как старый диван от... – нецензурно выразился и погрозил ей пальцем: – погоди, я не погляжу, что ты директор цеха и его любовница, я тебя на чистую воду выведу, хапугу! Видал я вас всех в гробу в белых тапочках!»

– М-да... – вздохнул Казиновский, – это называется «приехали». – И продиктовал сестре рецепт медикаментозного лечения.

А пациент перешёл на какой-то неразборчивый шёпот и бормотание – так шепчут дети-шептуны перед тем, как уснуть.

Пришлось опять успокоить болящего. Но и успокоенному, всё снились ему летящие гробы, струганные и неструганные, на ножках и с ручками, обитые одни кумачом, другие чёрные, как головёшки после пожара; скакали табуретки, ржали, вставая на дыбы, садовые скамейки; и видел Дмитрий Пахомович сам себя маленьким, скрюченным, как неумело вбитый в доску гвоздок.

Лишь ещё через сутки, после крепких объятий Морфея, совсем пришёл он в себя – слабый, притихший, напрочь опустошённый и чертовски исхудавший...

Целый месяц лечили сердешного: прокапывали, пичкали таблетками, искололи уколами всю тощую задницу. Пахомыч сносил всё это терпеливо, а под конец даже со свойственным ему сдобным юмором. А уж когда почти совсем выздоровел и стал выходить на воз-

дух, медсестра Алина подогнала к диспансеру свою «тачку», и Пахомыч, по старой привычке немного побранившись, прослушал работу мотора «наложением рук», дал точное заключение и посоветовал отогнать машину в мастерскую туда-то и к тому-то, сделать то-то и то-то. Выписываясь, мастер неуверенно попросил доктора Казиновского продлить ему бюллетень ещё на недельку: стыдно на работу идти, а бюллетень всё равно не оплатят – по пьянке же в «психушку» угодил, да если и оплатят – нужны ему эти гробы, скамейки и табуретки? Доктор согласился с его аргументами.

– Но смотрите, Дмитрий Пахомыч, – сказал ему напоследок, – ещё раз до чёртиков допьётесь, в аккурат в ящик сыграете. Это дело такое. Либо сам бросай, либо давай я тебя закодирую.

Доктор Казиновский, как его рекламировали районные и даже областные газеты, был «одним из лучших учеников доктора Довженко» – основателя лечения алкоголиков и наркоманов методом стрессопсихотерапии и кодирования.

Кодироваться (или, по-народному, «колдоваться») Анучин решительно отказался: забоялся чего-то. И «вшиваться» тоже не согласился. Но пить после горячки решил бросить на какое-то время: жить захотелось, да и отвращение к алкоголю у него всегда было после загулов, а тут аж – «белый конь». Нет, не хотелось Дмитрию Пахомовичу раньше времени – вперёд ногами. Решил завязать.

Но выдержал только до конца лета. На работе – оплата всё тем же «натуральным продуктом»; дома – шаром покати, одна картошка с дачи да солёные огурцы с капустой, а у него язва; и супруге тоже ничего не платят, потому злая и брехливая, того и гляди укусит; у замужних дочерей в семьях вроде всё хорошо, но также вечные жалобы на нехватку денег. А чем он, Пахомыч, поможет им? И как тут не запить, в душу мать эту жизнь?! Правда, до нового загула не дошло, но горло полоскать Анучин стал регулярно. Да и все полоскали. Как не полоскать? На это дело деньги странным образом всегда находились. Откуда? Да как откуда! Это сперва Анучин «натуральный продукт» на горбе таскал, а потом наладилось: нагрузят табуреток и садовых скамеек полную машину – и на автотрассу, которая бежит, ущербная, мимо заштатного городка Черёмухово прямо от кольца очумелой Москвы до самых окраин вздорной Самары. Она бежит, а мы торгуем. Мы торгуем, а она бежит... Торговать же толком так и не научились – за бесценок сбывали. Но иногда всё же случалось половчее продать – и сейчас же загуляется скопом, а потом – кто в вытрезвителе очнётся, кто на помойке; из милиции – одна за другой «телеги» на работу. Дык, начальство на это и внимание перестало обращать: пушай уж лучше пьют-гуляют, а то ведь – митинги, пикеты, забастовки...

В тот, последний выезд на автотрассу, кроме табуреток и садовых скамеек, решили для пробы и забавы прихватить на продажу один гроб, который Анучин самолично аккуратно («Как для самого себя делаю», – ёрничал) обил красной материей и, как полагается, «окультурил» воланчиками.

На садовые скамейки, рядом расставленные вдоль обочины, ни один проезжий шофёр не позарился. И табуретки шли неохот-

но, невзирая на то, что к вечеру (дело было в выходной) цену снизили до смешного. Зато вдруг гроб выхватили за милую душу, причём «в комплекте» (выдумка того же Пахомыча), то есть вместе с двумя табуретками. Быстренько взнуздали старенький-престаренький, но на ходу, хомяковский «Запорожец» с прицепом, поскакали на заводской склад, привезли ещё два – и эти, даже «не окультуренные», улетели как на весёлых крыльях. «Эко мрёт русский народец!» – подвёл итог Анучин. «А куда же деваться?» – пересчитывая деньги, согласился заведующий складом Хомяков (он у них был за старшего), и вся бригада «торгашей» из четырёх человек, припомнив, что сегодня праздник, Успение, да и выручка хорошая, решила отдохнуть на лоне природы. Не соглашался, правда, жила Хомяков, но его так-таки уломали: выпить и он был не дурак. Тем более что отдыхать решили поехать на пруд, возле городских дач, где у Хомякова было целое подсобное хозяйство, требующее ежедневного ухода.

Набрали в придорожном магазинчике портвейна и поехали.

Пруд был в пяти километрах. Так и назывался – Дачный. Дачи же – самые разномастные, сляпанные из подручного материала ещё в советские времена, кто во что горазд. В числе их стояла тут и Пахомычева – из старой материной избы.

Пахомыч вообще-то не любил ковыряться в земле и бывал здесь редко, зато Людмила с весны до осени не слезила с грядок. «Я на земле отдыхаю», – говорила она дома, возвратившись на велосипеде «с огорода» (дачей не называла) усталая, но довольная. Пахомыча почему-то это раздражало, и он, как водится, парировал на её деревенское самодовольство какой-нибудь скабрёзностью. Жена, привыкшая, не обижалась.

Неподалёку от анучинского участка располагалось то самое хомяковское хозяйство с крольчатником, разбитым на возрастные клетки-отделения, и кормовым сарайчиком из струганого тёса явно с заводского склада. Взрослых кроликов было с дюжину, а крольчат видимо-невидимо. Хомяков зимой продавал их на базаре. А Пахомыч шутил: «Тебя, Хомяка, раскулачить надо: развёл колхоз грызунов!» Тот в ответ помалкивал, посмеиваясь про себя: доходец-то от этого «колхоза» хорошенький.

Заведующий складом отогнал «Запорожец» под навес на своё землевладение, задал корму кроликам, сорвал с куста пяток незрелых помидоров, собрал с грядки остатные крючковатые огурчики и прихватил с собой удочки, чтобы заодно порыбачить. С некоторых пор он стал заядлым рыбаком, а в Дачном пруду водилось видимо-невидимо всякой мелочи: ерши, караси, окунишки. Всё это Николай Платоныч умело солил, сушил, вялил и опять же имел с того небольшой доход.

Полянку накрыли в стороне от пляжа, на котором народу было полным-полно. После мерзкого лета погода вдруг смилостивилась, и весь сентябрь простоял чистый и жаркий, как в субтропиках, особенно последние его денёчки.

Вся компания – люди далеко не молодые, но, выпив, вдруг стали дурачиться, прямо как дети. Даже Хомяков забросил свои удочки и предавался всеобщему веселью в виде нырянья, плесканья, дого-

нялок на песчаной отмели. «Сбесились, что ли?» – заметил кто-то на пляже. А те хряпнут по стакану вина – и опять в воду. Правда, Хомякову стало надоедать, поскольку долговязый Пахомыч, войдя в раж, всё пытался затащить его, коротышку, как можно глубже и «утопить», при этом старался стащить с него трусы и ухватить за причинное место. Наконец завскладом вырвался из его объятий и устремился спасать жизнь и честь свою на берегу. Уставший, вслед за ним побрёл и Анучин. Однако, не дойдя до берега трёх шагов, вдруг схватился за грудь, весь как-то неестественно выпрямился и плашмя брякнулся в воду.

Сперва подумали: озорует мужик. Но прошло чуть ли ни минуты три-четыре, а Пахомыч и не думал вставать. Более того, как плюхнулся лицом вниз, так и всплыл на отмели, уткнувшись рылом в воду. Кинулись, вытащили – не дышит. Захлебнулся!.. Растерялись, но опомнились и приступили наперебой к процедурам оживления: и по щекам шлёпали, и на грудь давили, и в помертвевшие уста вдыхали – ничегошеньки не помогает. С пляжа прибежали любопытные. По случаю тут оказалась и медсестра Алина из диспансера, где Анучин лежал с «белой горячкой». Квалифицированное другое и она тщилась вернуть к жизни несчастного – хренушки, крышка Пахомычу!

– Надо вызывать «скорую» и милицию, – сдалась она.

– Дорезвились! – сказал кто-то и терпко выругался.

– А кто это растянулся-то? – спросил какой-то не очень опрятного вида мужичок средних лет с большущим грязным баулом, в котором позвякивала пустая посуда.

Нет, это был не «какой-то», а известный в городке Гена-дурачок. Дурачком его назвать вряд ли можно: Гена малость чудил-юродствовал, но умом, пожалуй, был нормальный. Занимался он сбором пустой посуды и картонной тары – на то и жил. С мешками, сумками и ручной коляской круглогодично можно было видеть его в городе то там, то сям. А по большим церковным праздникам с кружкой в руках он обретался у молитвенного дома, того самого, где некогда была школа-интернат для слабослышащих детей. Говорят, он, Гена, в этой школе и сам когда-то учился. Собранные от подаяния деньги он частью отдавал церковному старосте на строительство нового храма, а частью пропивал. Пил Гена практически ежедневно, но никогда не падал с ног. Был поджар, жилист и неутомим в своём бизнесе.

– Вот, всё, откопылится Пахомыч, – сказали ему.

– Люськи, что ль, Анучиной мужик? – осведомился Гена.

Жена Пахомыча в последние годы регулярно посещала богослужения в молитвенном доме, а в праздники непременно что-нибудь испечёт и раздаст бомзам у церковных дверей, с Геной же обязательно о чём-нибудь да поговорит.

– А чего с ним? – уточнил пляжный ассенизатор.

– Захлебнулся. Откачивали-откачивали – без толку.

– Ну-ка, дайте-ка я попробую...

Наклонился над мертвецом, с силой надавил на бездыханную грудь – и надо же: тело вздрогнуло, дёрнулось, точно лежало креп-

ко-накрепко связанное, и тут утопленника стало рвать. Сейчас же его повернули на бок...

Спустя несколько минут Анучин пришёл в себя. Дико заозирался.

– Ну, как ты, горюшко луковое? – ласково спросил его Гена-чудотворец. – Чё с тобой случилось-то?

– На том свете был!.. – ошарашенно сообщил Анучин, машинально поправляя сползшие до уда семейные трусы, и добавил: – Смерть там!..

– Какая? Курносенькая, что ли? – всё так же ласково и немного насмешливо спрашивал Гена. – И чертей, поди, видал?

Пахомыч тревожно кивнул, дескать, видал.

– А как же удрал-то от них?

Утопленник непонимающе смолчал.

– Ну, радуйся, душа грешная, наверно, это Божья Матерь в честь праздника тебя высвободила. Значит, заново жить будешь. С крещением тебя!

– Ты, Гена, бутылку с него проси! – весело подсказал кто-то.

– А то! – засмеялся Гена и пошёл дальше собирать пустую посуду.

Вот такая история. Хотите – верьте, хотите – нет.

С той поры Дмитрий Пахомович, говорят, круто переменялся. Совершенно прекратил пить и сквернословить. Никто от него больше не слышал ни единой скабрёзности. А главное, с женщинами – исключительно со всеми: молодыми, пожилыми, красавицами и дурнушками – стал ровен, спокоен и сдержанно вежлив. Про всё про это узнал доктор Казиновский: и что случилось на пляже (от Алины), и про психические метаморфозы бывшего алконавта (от пациентов).

– Никакой мистики здесь нет, если под мистикой понимать чудо в сугубо религиозном плане. Тоже мне: из Савла в Павлы! – однажды в частной беседе с автором этой повести заявил он.

Мы не близко, но дружили с Казиновским. Я изредка бывал в его квартире, увешанной репродукциями картин на античные и библейские темы в хороших, но штампованных рамах; тут и там стояли статуэтки под бронзу и фарфор; несколько коллекций курительных трубок, однако, привлекали внимание замысловатостью работы. Были и другие забавные штучки, типа: псевдокамин с электрической подсветкой, голова оленя на стене из искусственных материалов, двукрылый посох Эскулапа под золото. Словом, хозяин создавал впечатление человека, охочего до искусства. Застеклённые книжные шкафы вызывали интерес и уважение, портрет Фёдора Достоевского – благоговение, портрет Ницше создавал загадочность. Казиновский интересовался и литературой, писал недурные стихи с претензией на философичность, с интересом читал мои рассказы, отмечая удачные с точки зрения психолога места. Иногда он рассказывал забавные истории из больничной практики, одну из которых в качестве юморески я опубликовал в районной газете «Маяк». При случае он и сам любил пообщаться с представителями средств массовой информации на тему своей профессии, то есть алкоголизма и наркомании, тем самым рекламируя себя. И ему это потом пригодится: он откроет частную клинику для прерывания запоев и лечения алкоголизма, ста-

нет настолько известным, что выдвинет свою кандидатуру в районные и даже областные депутаты.

— После клинической смерти или, скажем, после комы, — пояснял он, сидя напротив меня в мягком кресле и покуривая трубку в виде подмигивающего сатира, — психика человека нередко кардинально меняется из-за нарушения работы тех или иных мозговых центров. Или, наоборот, те или иные центры, ранее по каким-то причинам недостаточно выполнявшие свои функции, начинают работать более интенсивно или даже сверхинтенсивно. — Обе бородки, сатира и Казиновского, синхронно вздёрнулись, облачко душистого дыма лёгким туманом рассеялось под потолком.

— А как же быть с так называемыми *видениями*, описанными в святоотеческой литературе? — осторожно спросил я, знакомый с трудами Игнатия Брянчанинова и других духовных писателей. — Это что — тоже сфера патологической психиатрии?

— Я бы не ставил так провокационно вопрос. — Казиновский несильно затаился и несколько отставил руку с трубкой так, что сатир повернулся в профиль и напустил на себя важность. — Так называемая святоотеческая литература — это не чисто описательный медицинский документ клинической картины того или иного психического расстройства, хотя профанам это и может показаться таковым. На мой же взгляд, — продолжал он, — это, прежде всего, феномен религиозной культуры, а всякая культура вырастает из борьбы образов и символов. Другое дело — каков источник их и какие силы участвуют в данном процессе. Но тут и без патологической психиатрии, без нас, есть кому уместно поразгуляться — философам, психологам, историкам культуры... Даже современным писателям, — добавил он снисходительно (сатир ухмыльнулся, пустив из-под витых рожков сизые кудельки). — Хотя и мы можем, да и имеем право сказать своё слово. Нам известно, что христианская литература полна примерами «выхода» души из тела, «видениями» ангелов, святых и так далее, о чём и речь. В медицине это называется *аутоскопией*, и подобные расстройства описаны у лиц, страдающих мигренями, при поражениях межвисочной извилины, задней роландовой извилины, нарушениях целостности волокон мозолистого тела. При кислородном голодании, например, у альпинистов, тоже наблюдаются подобные картины, то есть человек как бы чувствует присутствие двойника или кого-то другого, кто в связке с ним и кто якобы помогает ему и даже спасает, хотя никакого постороннего или «потустороннего» существа — ангела-хранителя или кого там — на самом деле рядом нет. — (Сатир хитро подмигнул). — Подобное случается, кстати, и у доморощенных йогов, практикующих занятия с дыхательными упражнениями с целью, видите ли, просветления и самопознания. — Казиновский неодобрительно нахмурился. — А вместо просветления у них зачастую наступает затемнение рассудка, как говорится, крыша едет. И все эти «видения» с приключениями «на том свете» лиц, временно умерших, а затем воскресших, чтобы повествовать о загробном мире, — чуть раздражённо пыхнул он рогато-бородатой трубкой, — всё это, полагаем, явления того же порядка — психопатологического.

В общем-то Казиновский говорил вещи для меня достаточно известные (литература на эту тему уже стала доступна), но мне хотелось добиться от него чего-то более интересного...

– Выходит, вы не верите ни в рай, ни в ад, ни в ангелов, ни в демонов? – прямо спросил я его. – Мол, всё это только болезненное, патологическое, галлюцинаторное воображение отцов-пустынников и вообще невежественных христиан? Тогда и создателей древних мифов, и основателей религиозных систем надо зачислить в тот же список?

– Ну почему же непременно болезненное воображение? – не без пафоса возразил Казиновский. – Во-первых, древний ум, создававший мифы, это младенческий ум народа. Но ведь не всякий младенец – умственный уродец. К тому же младенцу свойственно взрослеть, и при взрослении у иных случаются всяческие отклонения, а то и явные патологии. У одних народов это в меньшей степени, у других в большей. Все эти мифологические ужасики, все эти жертвоприношения, в том числе и человеческие – да, всё это своего рода болезнь. Болезнь культуры. Иное дело, светлые, солнечные боги эллинов – разве назовём их болезнью? – Сатир воскурил хвалу богам, и Казиновского понесло: – Напротив, это – здоровое, прекрасное, поэтическое воображение юного полнокровного народа! Тем не менее оно вынуждено сочетаться с уродливыми образами, выпрыгивающими из подсознания, как разбойник на лесной дороге, и воплощающими тёмные, разнuzданные, демонические страсти. Но так и рождается культура с её моралью, эстетикой и религиозными верованиями. Разумеется, процесс подкрепляется всяческими сподручными средствами: магическими и психоделическими, то есть в ход идут гипноз, галлюциногенные средства. Как видим, всё это используется и сейчас, более изощрённо или, наоборот, более грубо и откровенно. Издавна известна способность препаратов из растений, содержащих атропин, вызывать психические расстройства. Настоя красавки употребляли дельфийские пифии для прорицаний. Дурман, белена, та же красавка входили в состав «колдовских» мазей, применяющихся средневековыми «ведьмами». Серебряный век не чурался опия и хлорала. Сюрреалисты и рок-н-рольщики в двадцатом использовали наркотики как нечто обыденное для самовыражения, которое со стороны непосвящённых выглядело или как культурная раскрепощённость, или как прямо-таки своеобразная некультурность, какое-то беснование. А ведь, по большому счёту, что бы там ни возражали, все эти неистовства, все эти непотребства на сцене, этот ор и рёв под металлический визг электронных гитар и грохот барабанов, эта, казалось бы, какофония звуков – всё это восходит к оргиастическому культу Дионисия, разрушителя морали и эстетических норм. И недаром древняя сила эгейского божества успешно была использована для расшатывания государственных и культурных устоев в наше время, что, как видим, и привело к развалу Советского Союза, не прикрытого ни светлыми языческими богами, ни силою христианских образов, а ракеты и атомные бомбы против демонов бессильны, потому что боги и демоны первичны, а всё остальное вторично.

– Так вы признаёте первичность духовного мира?! – мне показалось, я «идеалистически» ухватил его за козлиную бородку.

– Я признаю психическую силу образов, разрушающих и созидających, – парировал Казиновский.

– Г-м... припахивает учением верблюда, ставшего львом.

– Ну, куда нам до великих сумасшедших!.. – Он благоговейно повёл рукой с притихшим Фавном в сторону моржеусого Ницше, мой взгляд непроизвольно потянулся следом.

Однако я очнулся.

– Кстати, ведь Ницше сошёл с ума, дерзнув сумасшедшим назвать Богочеловека Иисуса Христа. Что это – кара? расплата? – сделал я очередной выпад.

– Да он уже и был к тому времени сумасшедшим, – как-то непочтительно к кумиру отмахнулся Казиновский. – Болезнь в виде цепкой головной боли и рвоты со слизью подкрадывалась к нему с юности, как кошка к маленькому зверьку, и наконец крепко-накрепко закогтила. Но зверёк сопротивлялся до последнего вдоха...

– ...создавая разрушительные образы, – подхватил я, – не так ли?

Казиновский задумался. Потом сочувственно ответил:

– Да нет, Ницше не был разрушителем. Из него сделали монстра. А по большому счёту, он гениальный провокатор и инспириатор истины. И истина, возвеличив его за честность, его же и наказала – за дерзость. Потому христианство и считает гордыню, сиречь дерзость, наипервейшим грехом. Но кто не рискует, тот не упивается славой. Правда, не страдает и похмельными расстройствами в виде позднего раскаяния. Палка о двух концах.

И Казиновский как-то задумчиво поник. Вид его не воодушевлял меня на дальнейший спор, но я всё же надавил:

– Извините, а разве сами вы не дерзите, отрицая духовный мир христианства – божественный и демонический? «Если нет падших духов, – как сказал некий церковный писатель, – то вочеловечение Бога не имеет ни причины, ни цели».

Мне показалось, Казиновский не хочет развития темы.

– Кажется, мы по-разному понимаем, что такое духовность, – отчуждённо ответил он. – Что ж, пусть каждому воздастся по вере его. – Он явно дал понять, что тема прикрывается.

А я между тем раззадорился.

– Вот вы упомянули гипноз. И, насколько я понимаю, сами при кодировке используете его. Тогда скажите, почему в Библии гипнотизёров, сиречь... – я специально употребил и повторил слово из его лексики, – сиречь *обаятелей*, приговаривали к смерти?

– Ну, древние евреи, мягко говоря, были далеки от гуманности, – засмеялся чуть принуждённо Казиновский.

– А в чём суть гипноза? Приоткройте секрет. И можно ли ему научиться?

– Всё нам позволено, да не всё полезно, – нравоучительно ответил обаятель, встал и, подойдя к книжному шкафу, что-то поискал там.

Я тоже поднялся и стал заново рассматривать фотографии на стенах. На одной, очевидно, студенческой, в числе молодых людей

в белых халатах на заднем плане настырно выглядывало безбородое личико Казиновского.

Доктор выудил из шкафа тощую брошюрку. Сказал, что это автореферат его диссертации.

– Почитайте на досуге. Может, что-то и поймёте, – добавил, скрывая усмешку.

Сел опять в кресло, пыхнул весёлой трубкой – сатир-чертёнок вновь оскалил зубки.

(Забегая вперёд, скажу: брошюрка психиатра не открыла мне заветных тайн, но что-то... что-то я ухватил насчёт гипноза: бойтесь отдавать свою волю!)

После небольшой паузы я как бы задумчиво спросил:

– Скажите, а как вы относитесь к так называемой *православной психиатрии* при лечении алкоголизма?

Казиновский нехотя оживился:

– Вы имеете в виду модифицированный метод кодировки?

– Да, именно модифицированный. Скажем, церковное благословение врачей на лечение, присутствие священника на сеансе кодировки, сам сеанс в храме и так далее.

– Я смотрю, вы осведомлены в некоторых специфических вопросах, – настороженно усмехнулся он. – Хорошо, я отвечу прямо. Если все эти церковные костыли-подпорки помогают делу, то ради бога: хотите – кодируйтесь в кабинете психиатра, хотите – в православном или католическом храме. Человек пьёт и становится пьяницей в силу своей дефективности, и суть метода Довженко, учеником которого я был – и, хочется думать, не последним, – заключается в глобальности страха перед гибелью организма. И я честно этот метод использую без всякой религиозной подстройки. По своему мировоззрению я атеист, и помощь церкви мне не нужна.

Последнее было сказано более чем горделиво. Трубка была докурена.

Несколько позже этот разговор я положил в основу очеркового рассказа и предложил одной газете – редакция посчитала тему не своевременной на фоне «возрождающейся веры и духовности». Оно, может, и так. Во всяком случае, герой моей повести Дмитрий Пахомович Анучин всё равно бы не прочитал его: жена Люся почему-то стала фанатичной ненавистницей печатной и телевизионной продукции (газеты не читала, телевизор не смотрела), да и сам наш герой жил теперь в другом нравственно-духовном измерении. В каком? Да разве заглянешь в человеческую душу – можно только догадываться.

Что касается дальнейшей судьбы Дмитрия Пахомовича... Спустя какое-то время после случившегося с ним на Дачном пруду, он уволился с завода – по возрасту. Богадельню его всё-таки ликвидировали. Цех опять надумали перепрофилировать – на выпуск пластмассового ширпотреба: совки, тазы, вёдра. А гробы, скамейки и табуретки кое-как распродали, с горем пополам выплатили зарплату работникам, тем вроде и усмирили недовольство люда; престарелых отправили

на досрочную пенсию, молодых – в бессрочный отпуск, пообещав, что скоро всё наладится. Но ладу так и не видно.

Любопытно: вдруг полюбил Пахомыч свою старенькую дачу. Пронюлся в нём отцовский плотницкий талант. Всю-то он избёнку заново по брёвнышку аккуратно перебрал, новым шифером перекрыл, сосновой золотистой рейкой обшил (дали в счёт зарплаты при расчёте), изукрасил резными наличниками и карнизом, смастерил ажурную беседку. Жена Люся рада до смерти! Теперь, по её мнению, это, конечно, настоящая дача, а не просто огород на пяти сотках, где она вечно «пашет», но теперь можно и культурно, по её выражению, отдохнуть. Не так уж и много надо русскому человеку для счастья, верно? Скромный мы всё-таки народ.

Сказывают ещё, что стал Дмитрий Пахомович ходить вместе с женой в молитвенный дом и нередко в качестве простого рабочего бывает на строительстве нового храма, благо дом их неподалёку. Впрочем, руки у него позолоченные, богоугодное дело им всегда найдётся.

Говорят, дочерям его попались хорошие мужья. Оба занимаются небольшим бизнесом. И живут как будто безбедно. Во всяком случае, у каждого дом и по машине. Уже и внуков народили. Недавно всей гурьбой приезжали на погост в Чертозелье, нашли заросшие разнотравьем могилы Марьяны Ильиничны и Пахома Калиныча, которые лежат порознь, но неподалёку друг от друга. На обе могилы поставили низенькие недорогие ограды. Деревянные кресты лишь поправили, а менять не стали – крепкие ещё: один с «косыночкой» – Марьянин, другой с «укосинкой» – Пахома Калиныча.

Вот такая она, жизнь: пожили, порадовались, помаялись и ушли – была и нету. Что ж, живи, пока живётся, а там как Бог глянет. Больше и нечего сказать. Мир вам, здравствующие!

АВТОРСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Азимут – цель, путь, направление.

Алконавт (сленг) – алкоголик.

Анчутка – опасно-озорной персонаж русской (славянской) мифологии; здесь – в ругательном значении.

Бабло – деньги.

Блатота – блатари (жарг.), блатные, вору.

Венец – горизонтальный ряд брёвен сруба.

Вперёд ногами – образное выражение, подразумевающее вынос покойника вперёд ногами.

Вшиваться – простонародное название медикаментозного лечения алкоголизма вшиванием ампулы.

Довженко Александр Романович (1918–1995) – народный врач СССР.

Жмурик (жарг.) – покойник, мертвец.

Игнатий Брянчанинов (1807–1867) – епископ Русской Православной Церкви, богослов, проповедник, святитель.

Квитка-Основьяненко Григорий Фёдорович (1778–1843) – украинский писатель, драматург, публицист.

«Косынка» – образ – верхнюю оконечность креста и оконечности средней перекладины связываются планками в виде косынки; в некоторых местностях такие кресты ставились на могилах женщин.

Кранты (жарг.) – безвыходное положение, конец, крах, смерть.

«Наездник» (устар. сленг) – водитель, плохо разбирающийся в неполадках автомобиля.

Ништяк (жарг.) – хорошо, хороший.

Никудышное – плохое, дальше некуда.

Ноль семь – ёмкость, равная 0,7 литра.

«Поэтические воззрения славян на природу» – трёхтомное исследование мифологии славян А. Н. Афанасьева (1826–1871).

Прозабодала – грубая контаминация от слов *прободение* и *забодать*.

Размывка (устар.) – после окончания работы трапеза с выпивкой, которую устраивает хозяин наёмным рабочим.

«Рогачёвка» (сленг) – синоним ПТУ (профтехучилище).

Сварганить – сварить.

Смикитить – сообразить.

Сопор (мед. термин) – оцепенение, вялость, глубокое угнетение сознания.

«Три топора» – простонародно-образное название дешёвого вина «Портвейн – 777».

«Укосинка» – нижняя перекладина на восьмиконечном православном кресте, под углом, что символизирует восхождение души от земли к небу.

Фунфурики – простонародное название небольшой ёмкости, как правило, аптечных склянок для жидкости.

Хлорал – наркотическое и болеутоляющее средство, полученное в 19 веке воздействием сухого хлора на этиловый спирт.

Шмонать (жарг.) – обыскивать.



**Игорь
ПРЕСНЯКОВ**

В НЕБЕСАХ – НИ КОЛА НИ ДВОРА...

КОРАБЛИК

Я вновь словно пойман на краже
навевных детством примет –
встречаю кораблик бумажный,
что в строчки, как в снасти, одет.

Гордясь рукописным наследством
и кланяясь каждой волне,
намокшим посланьем из детства
пльви, мой кораблик, ко мне.

У прошлого сказочный абрис –
и прочих достоинств не счесть.
Как жаль, что бумажный кораблик
намок так, что букв не прочесть.

Бумаги на свете, уж точно,
ценней той исписанной нет...
Сейчас допишу эту строчку,
пойду и отправлю ответ.

ФУГА БАХА

Нет, никто ещё не знает
то, что знают эти руки,
просто душу возвышают
восхитительные звуки.

Ты как будто Бога славишь,
и прекрасные мгновенья
по небесной воле клавиш
ожидает повторенье.

-
- Игорь Иванович Пресняков родился и живёт в Саратове. Окончил СГУ им. Н.Г. Чернышевского. В 1971–1988 гг. работал инженером в НИИ. Стихи пишет с 1966 года. С 1971 года занимается альпинизмом и работает в жанре авторской песни. Участник I фестиваля авторской песни (Саратов, 1986). Участник поэтического клуба «Диалог» (Саратов). Автор книг «Пятое измерение» и «Прогулки с будущим».

Без предела и без срока –
не порыв, не спор, не битва...
Так, скорее одиноко
Повторяется молитва.

И ни зависти, ни страха
мир, прозрев, не ощущает,
потому что фугу Баха
эта девочка играет.

BREVI MANU*

То ли облако небо остудит,
не рискуя дождём пролиться,
то ли Ангел мой в Книге судеб
перелистывает страницы.

Это в небе легко птичьим стаям,
а словам в этой книге тесно,
и на землю слова слетают
наподобие птиц небесных.

И приходит к нам наша память,
и хранит нас, как мы и просим,
и несказанными словами
несказанное произносит...

Ах, мой ангел, имей терпенье,
не спеши мне прочесть, что будет,
потому что в момент Прочтения
заполняется Книга судеб.

НОЧНОЙ ЭТЮД

Этюд
разыгрывался в лицах.
Избыток яви. Морок сна.
И ночь вдруг начала струиться
по всей поверхности окна.
Как решетом,
черпал проулок
ладонями покатых крыш
пророчества ночных прогулок,
которые не объяснишь.
И, будто вышитый на пяльцах,
нетерпеливо
ждал восход,
пока пророчество сквозь пальцы

* без формальностей

труб водосточных протечёт.
Потом
менялся знак у галса,
всходило солнце,
а потом
в пыли воробушек купался
и зрела вишня под окном.
Мужала мысль. Рождались дети.
Преобладала благодать.
И никому на этом свете
не надо было умирать.

В небесах – ни кола ни двора,
только синий по золоту профиль...
Ты права, моя осень, права,
только так и чеканятся строфы.

Солнце тянет по небу между,
забывая, что было намедни,
и я вновь по России брожу,
как наследства лишённый наследник.

Время тает – листок за листком,
и расходится вечность кругами,
где кукушка в пространстве пустом –
как на стенке часы с попугаем.

Густеет сумерками лето,
где запах скошенной травы,
где песня жаворонка спета,
а мы лишь песнями правы.

Где не ответ – цена вопроса,
ведь не придёт никто на зов,
чтоб встретить время сенокоса
в пустыне солнечных часов.

Где я с блаженными на равных,
внимая только небесам,
хожу и собираю камни,
что разбросал когда-то сам.

Где наши зори так же босы,
где бредят радугой луга,
и ждут косцы, и точат косы,
а им лишь вечность дорога.

Где одинокая берёзка
застыла, выбежав на луг,
и неба алая полоска
у Бога выпала из рук.

В ДЕРЕВНЕ

Снег шёл всю ночь...
Потом весь день
мир причащался чистым снегом.
У постных с виду деревень
все трубы упирались в небо.
Хоть каждый знал, что пост пришёл,
год не толкал кого-то в спину.
И было что подать на стол,
и было чем кормить скотину.
И власти были далеко,
и под рукою были вилы,
и вновь, как в детстве, молоко
тугой струёй в подойник било.
Срасталась с горницей гармонь,
и с духом веников – предбанник,
и терпеливо пел огонь
о том, что нас разлукой ранит,
и, каждой ночью горяча,
душа опять мирилась с телом,
и пред иконою свеча,
как перед вечностью, горела.



**Алёна
БЕЛОУСЕНКО**

ДВА РАССКАЗА

ДОЧКИ-МАТЕРИ

Глухо стучит мамино сердце под сорочкой. Олеся при-
никла головой: «тук... тук... тук...»

У девочки Саши из параллельного класса умер папа. Учительница сказала, что остановилось сердце...

Олесе не было жалко Сашу, с которой она и раньше мало разговаривала и которую с тех пор стала совсем избегать. Она чувствовала только жуткое удивление. И если бы внутри Олеси были глаза, они бы там широко открывались и хлопали, когда она обычными глазами смотрела на Сашино лицо.

«Тук... тук...» – стучит ещё, но будто медленнее. А если остановится? От этой мысли Олеся приподняла голову и через мгновение плотнее зарылась под мамино «крылышко». Мама так называла свою руку и, когда Олеся плакала, приглашала «под крылышко», а потом ласково убирала с лица спутанные волосы... В голове всё сдавило от подступающих слёз. Мама молодая, даже бабушка у них ещё жива. Мысль, что бабушка жива, немного обрадовала Олесю, ведь мама не может умереть раньше неё.

Саша появилась в школе через две недели. Деньги, которые собрали её маме, она взяла. Олеся не знала, сколько было денег, но ей немного захотелось, чтобы у неё тоже умер папа. Ей бы этих денег на многое хватило. На летающую фею из рекламы. И ещё на что-нибудь.

-
- Алёна Анатольевна Белоусенко родилась в 1992 году в городе Удомля Тверской области. Окончила экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Студентка Литературного института им. А.М. Горького. Лауреат фестиваля-конкурса «Хрустальный родник» (2015). Шорт-лист Всероссийского конкурса малых литературных форм (2015). Лауреат ежегодной премии сайта «Российский писатель» в номинации «Новое имя» (2015). Публиковалась на сайте «Российский писатель», в журнале «МолОКО», сборнике «Новые писатели» (2015).

Олесин папа давно ушёл от них. От неё не скрывали, что он живёт с другой тётёй и покупает игрушки другим деткам. Олеся понимала: когда по телефону мама разговаривала именно с ним – тогда мама ругалась и говорила, что Олесю кормить нечем. Олеся от этих слов становилось до горечи обидно, и она сразу же начинала кричать из комнаты: «Ма-ма-а, не-эт!» Мама строго цыкала на неё, прислоняя трубку к груди: «Олеся, тихо ты!» Олеся тут же прибежала на кухню и, стуча кулаками по маминым бёдрам, отчаянно требовала: «Скажи, что я не голодная, мамочка, нет!» Мама ещё больше злилась на папу и вскоре бросала трубку...

«Олеся, перестань вертеться, завтра не встанешь», – вдруг пробурчала мама.

От строгого маминого голоса все страхи вмиг исчезли. Притихнув и закрыв глаза, Олеся заснула.

Мама проснулась в семь. Олеся слышала будильник, но знала, что её разбудят позже. На кухне загудел чайник, потом зашипело на сковороде масло. Эти звуки теплом растеклись по телу. Они были вестником самого важного: мама не умерла, не сейчас... И не хотелось ни засыпать, ни просыпаться, а только дремать с этой солнечной мыслью.

У соседей через стенку заиграла иностранная песня. Олеся смогла понять только «love» и «tu». Увлекаясь танцевальным ритмом, она забарабанила пальцами по матрасу, будто по клавишам фортепиано, но легче и небрежнее. Песня предвещала ещё не изведенное веселье и вела в будущее, была самым будущим – загадочным и счастливым.

Готовя на кухне, мама тоже услышала эту песню сквозь звуки шипящего масла и утреннего царапанья метлы об асфальт, доносившегося из окна. И ненадолго вспомнила школьное время, когда эта песня только вышла в эфир. «Почему сейчас всё не так, как я представляла?» – подумала она вскользь. Но попытка ответить на этот вопрос вызвала только прилив тоски, и мама в очередной раз сделала вывод: молодость просто обманула её.

Мама взяла из косметички зеркальце, чтобы успеть накраситься. К тридцати годам она выглядела старше своего возраста – её это огорчало. Разве только упругую и высокую грудь по-прежнему не покидали молодые силы. И внутри самой мамы до сих пор жила одна молодая искорка. Она разжигала огонь, когда мама нравилась мужчинам, когда ей дарили подарки и подвозили из клуба домой. Эта искорка родилась в девичестве и всё ещё не перегорела.

– Олесь, вставай, – поцеловала она дочку в лоб.

Олеся делала вид, что спит. Мама начала злиться.

– Если не проснёшься, оставлю тебя здесь! Всё.

Встала мама с кровати и, не колеблясь, направилась к двери.

Прикидываться спящей Олесе уже не хотелось, ведь в школу всё равно бы пришлось собираться или – ещё хуже – оставаться дома одной. Но и просто так встать она не могла. Олеся надеялась, что мама ещё раз ласково подойдёт к ней, погладит по лбу и вкрадчиво

и нежно попросит встать. Уже сожалея о своей игре, она будто чувствовала на себе мамину нежную руку и тёплый поцелуй.

– Ты портфель собрала? – крикнула мама из кухни.

Олеся нечаянно ответила «да» и обрадовалась, что нехотя обнаружила себя.

– Проснулась наконец! – Мама зашла в комнату. – Одевайся быстрее и – блины кушать.

На обеденном столе осталась лежать мамина косметика. Прозрачный мешочек, заляпанный кое-где фиолетовыми тенями и чёрточками туши. Силуэты волшебных тюбиков с английскими буквами приковали Олесин взгляд. Хорошо бы сегодня после школы попробовать всё это до маминого прихода. Когда-то давно Олеся уже пробовала накраситься помадой, но на ней она смотрелась совсем не так, как на маме. Сейчас же она почувствовала в себе больше умения и сноровки.

– Посмотрим сегодня, что у тебя по русскому будет за четверть, – сказала мама, будто по привычке, и вспомнила, что вечером нужно пораньше уйти с работы и отвезти ребёнка как бабушке. Ещё успеть собраться – в семь подъедет Паша.

У Олеси опустилось сердце, она знала, что у неё будет «три». Свёрнутый в трубочку блин стал каким-то чужим, словно это не её вовсе блин, а другой девочки, а она, Олеся, не имеет права макать его в сгущёнку и есть.

Закончился последний учебный день. По русскому поставили «три». Олеся на другое и не надеялась, разве только самую малость. Вернувшись домой и сбросив грузный портфель в коридор, она начала, торопясь, искать место, куда можно было бы спрятать дневник. Но в маленькой «однушке» не находилось ни одного шкафчика, который мама не могла бы случайно не открыть.

Взывая к летней неге и беспечности, сквозь оконное стекло проникли толстые весенние лучи. Олеся присела. На обеденном столе продолжала лежать мамина косметичка. На мгновение стало даже легко и весело, словно тройки и не было. Олеся давно хотела попробовать намазаться тушью. Взяв мамино зеркальце, она провела толстой чернявой кисточкой по ресницам, но тут же задела глаз и закрутила тушь обратно. Ещё рано. Настоящая жизнь ещё впереди. Когда она станет старшеклассницей, а мама начнёт покупать ей лифчики и туфли на каблуках, а в школу разрешит ходить с распущенными волосами.

В коридоре слышались шаги. Олеся быстро положила косметичку на место.

– Олень, сейчас кушать и – к бабушке, – сказала мама с порога.

У бабушки всегда полный вкусностей холодильник и свободный компьютер, на котором можно сколько угодно смотреть мультики. От радостной новости Олеся забыла про дневник.

Посмотрев на дочкины туфли, мама вспомнила, что забыла купить Олесе сандалии, чтобы надевать их с носками. Бабушка сейчас точно начнёт ворчать... Мама недовольно вздохнула.

Бабушке шёл уже седьмой десяток, и сказать, что она выглядела моложе своих лет, нельзя было. Она продолжала работать в вокзальной кассе, хоть и брала уже только половину смены. От долгого сидения поясница ныла так, что её потом невозможно было размять, да и пошатывало иногда от усталости по дороге до дома.

Когда пришли Олеся с мамой, бабушка хозяйничала на кухне.

– Это мы. – Мама зашла в квартиру.

– Ага, проходите, – сказала бабушка, переворачивая котлеты. – Надолго ли теперь? – спросила бессильным голосом.

– До завтра. Я пораньше найду, – ответила мама, торопясь уйти и уже целуя Олеся на прощание.

Бабушка слегка покачала головой, мол, знаю я, как ты пораньше найдёшь, прогуляешь до утра, проспишь до обеда и придёшь к вечеру, если не на следующий день... Ребёнок каждые выходные у бабки, матери не видит и домой идти не хочет. Да разве такое возможно, чтобы ребёнок к матери родной не хотел домой идти?

– Покормила хоть?

– Она ничего не съела почти, пару ложек супа только.

Олеся, нахмурившись, замычала: «не-е», но больше для вида, так как кушать уже хотелось.

– Пошла я.

– Давай, давай, – уже в закрытую дверь сказала бабушка. – А мы с тобой обедать будем, – обратилась она к внучке.

Олеся долго стояла в ванной и намыливала руки новым, только развёрнутым бабушкой хозяйственным мылом, смотря на себя в не заляпанное, как у них, засохшими каплями зеркало.

Бабушка намазала на котлету сметану. То ли от голода, то ли от того, что сметана действительно делала мясо вкуснее, но Олеся подумала, что теперь будет просить маму готовить именно так.

– Как в школе дела?

У Олеся всё опустилось. У неё же тройка по русскому! Где она оставила дневник?! Она же его не успела спрятать... Он остался на столе – мама его найдёт.

– Нормально, – попыталась непринуждённо ответить Олеся.

«Несчастный ребёнок, – подумала бабушка, – с утра встаёт, учится. Так ещё дома мать не кормит и по мужикам чужим бегаёт. Неужто мы так раньше жили, дед? – переведя взгляд на портрет умершего мужа, стоявший рядом с иконами, думала бабушка. – За что мне одной на Настькины несчастья смотреть?»

Олеся привыкла, что бабушка часто молча разговаривала с портретом деда, и в такие моменты старалась не смотреть в её сторону, как будто бабушка делала это тайком от неё.

«Подрастёт немного Олеска, и мне к тебе уж можно будет на покой», – обдумав ещё что-то, прошептала бабушка.

Мама едва успела собраться. Приготовила мясо, приняла душ, ещё раз накрасилась и сменила постельное бельё. Обвела взглядом давно не мытый пол – «много чести будет» – и не стала убирать. На столе в прихожей лежал Олесин дневник.

«Ну-ка, ну-ка, неужели ей четвёрку всё-таки поставили, раз она на виду его оставила?» – подумала мама, открывая его. Но там стояла тройка.

«Значит, оставила, чтобы я узнала без её присутствия. Но так, может, даже умнее. Я в детстве обычно прятала». В этот момент мама ясно вспомнила один вечер. Хотя и не могла точно сказать, связан ли он был с тем, что она прятала дневник или нет. Сколько ей было? Может, шесть, а может, восемь. Было холодно, вечер, вокруг – ни души, только она и бабушка возвращались откуда-то домой. Мама была обиженная и поэтому плелась сзади. Бабушка не оборачивалась, и, уязвлённая её твёрдостью, мама вдруг остановилась. Бабушка продолжала идти, завернула за пятиэтажку – и скрылась из вида. Испуганная мама, уже забывшая обиду, побежала за ней вслед. Она хотела закричать на всю улицу: «Мама» – но, завернув за тот же дом, узнала впереди её силуэт. Бабушка продолжала идти в том же темпе. Мама тихим, но быстрым шагом, чтобы бабушка не заметила её отставания, приблизилась, не доходя, как и прежде, пары шагов. А затем и совсем поравнялась. Так они и дошли до дома, не обмолвившись ни единым словом.

И только сейчас мама вдруг так ясно осознала, что, сворачивая за дом, бабушка знала, что она не идёт за ней.

Паша приехал с пустыми руками. Мама встретила его с едва скрываемым недоумением. Он это заметил, но сам продолжал широко улыбаться.

– Привет, сладкая, – притянул он её за талию.

«Да ты, я смотрю, уверен в себе», – подумала мама, слегка отстраняясь.

Возле порога лежали тапки, оставшиеся от мужа. Она специально достала их для Паши, но сейчас обувь не предложила и прошла в комнату. Сев в кресло, она начала рассматривать себя в зеркале, висевшем на стене напротив. Мама была в однотонном синем платье без лишних деталей, которое, несмотря на это, очень выигрышно облегалo фигуру, а капроновые колготки хорошо утягивали ляжки. Закинув ногу на ногу, она присела на стул так, чтобы побольше оголить ногу из-под платья.

«Посмотрим, что ты будешь делать», – злорадно подумала она.

– Девчонка-то не придёт? – разуваясь, спросил Паша.

Мама сначала не поняла, про какую «девчонку» он говорит. Но, заметив, что он смотрит на Олесин портфель, оставленный в коридоре, догадалась. Она и так чувствовала себя униженной из-за того, что постаралась, приготовила мясо, купила дорогой торт, а он пришёл с ней переспать, даже не удостоившись купить цветы или бутылку. А теперь ещё позволяет себе её дочь называть девчонкой.

– Мою дочку зовут Олеся. Это её дом, когда захочет, тогда и придёт.

– Как бы «в тот момент-то» не пришла, – сказал Паша, смеясь совсем простодушно и без злобы. – Я в туалет зайду?

– Вон там, – показала мама.

Да что же он возомнил о себе такое! Неужели он считает, что, раз у меня ребёнок, я кинусь на любого, лишь бы взял?

Выйдя из туалета, Паша не знал, что говорить, и продолжал искренне улыбаться.

– Суп будешь?

Паша помялся.

– Может, что-нибудь выпьем? – спросил он, подсмеиваясь.

– А ты «что-нибудь» принёс? – ликуя про себя, ответила мама.

– Не-эт, но я могу сбегать, – сказал он, оставаясь довольным собой.

– Давай беги!

Мама поспешно выпроводила его. Защёлкнулась дверь, и она поняла, что ни за что не впустит его больше. В углу коридора лежал Олеся портфель.

«Возвращайся к себе домой», – написала «смс». Паша несколько раз позвонил – она не взяла трубку.

Зайдя на кухню, мама первым делом достала сковородку с мясом и, не перекладывая в тарелку, начала есть.

Ну, а что делать, «первый сорт» уже давно разобран. Но на хороших она раньше не смотрела, да и сейчас бы, положила руку на сердце, не взглянула, как бы здравый рассудок ни подсказывал. Так, в школе она послала «страшного», на её взгляд, одноклассника. А он единственный, кто ей за всю жизнь подарил украшение, не считая мужниного обручального кольца. Серебряный кулон сердечком... Так, как он, никто не ухаживал и так долго не добивался. Не побоялся на выпускном признаться, стихи рассказал даже. Наверно, сам сочинил. А сейчас в Москве, хорошо зарабатывает. И симпатичным стал.

Обычно воспоминания об «упущенных» мужчинах не вызывали большого сожаления, но не сейчас.

За просмотром очередной серии мелодрамы по кухонному телевизору бабушка не торопясь состряпала ещё одну сковородку котлет. Олеся бегала то в зал за компьютер, то к бабушке на кухню.

– Баб, а ты во сколько лет замуж вышла? – спросила вдруг Олеся.

– За деда-то? – переспросила бабушка, будто вспоминая. – За деда, Царствие ему небесное, я вышла, когда мне двадцать семь было, – облокотившись на подоконник, с нежностью начала рассказывать она. – Засиделась я тогда в девках... Мать моя, покойница, Царствие ей небесное, не хотела меня отдавать, не молод ведь был он уже, да еще разведённый. В то время это ого-го! – погрозила бабушка пальцем, подумав, что сказала лишнего. – Не то что сейчас: творят, что хотят.

– Ты его любила, баб? – заинтересовалась Олеся.

– Любила не любила, дом уже свой хотелось, очаг, – строго сказала бабушка, думая, что рано Олеся ещё про любовь-то спрашивать. – А он, конечно, ухаживал хорошо, ни на шаг не отходил. Я тогда девка добротная больно была, круглолицая, и не думала, что глаз на меня кто положит. А он положил, в душу смотрел... Не на внешность смотреть надо, вот так вот!

– Жили-жили, не тужили, – вздохнула бабушка после недолгого молчания, – и прибрал его Бог, сердечко слабенькое было. Упокой душу раба Божьего, – бабушка перекрестилась и поклонилась иконе Божией Матери, стоявшей на подоконнике.

– Жизнь-то – она штука тяжёлая, хоть и простая проще некуда, Олесенька. Господа почитай да мать свою люби и слушайся. – Бабушка погладила её по голове.

Надеясь ещё что-нибудь интересное услышать, Олеся не торопилась идти в зал. Но казалось, заговорив о Боге, бабушка уже не вернётся к прежнему разговору, не расскажет, как же именно дед её любил. Неужели больше ничего не расскажет? Олеся хотела ещё спросить, как же слушаться мать, если бабушкина мать не хотела её выдавать замуж, но было неудобно – бабушка уже занялась вдруг обнаружившейся пылью на иконе.

Стукнула входная дверь.

– Это я! – торопливо и громко назвала себя мама.

– Ма-а-ма-а! – подбежала к ней Олеся.

– Ух ты как рано! Даже не позвонила! Нагулялась уже? – вышла из кухни радостная бабушка.

– Собирайся, Олеся! – мягко скомандовала мама.

– Да посиди немного-то, поешь, котлет ещё нажарила. А то только бегаешь туда-сюда.

– Мама, да, давай посидим! – Олеся подумала о том, что не досмотрела мультик, и побежала в зал за компьютер.

Мама с бабушкой сели ужинать.

Накладывая котлеты, бабушка предложила добавить сметаны, но мама торопливо отказалась.

– Со сметаной-то вкуснее, – пыталась уговорить.

– Нет уж, спасибо, – усмехнулась мама.

Бабушка с болью, как о чём-то непоправимом, подумала, что слишком поздно уже что-то говорить: дочь её больше не слышит. Но ощущение кровной и никем не отменяемой власти матерей над своими детьми было сильнее всяких мыслей.

– Нормального тебе мужика надо... У Надьки Топтыревой сын ведь давно уж развёлся. Работящий, здоровый мужик, матери слова лишнего не скажет...

– Ма-ма-а-а... – басом протянула мама.

– Ну это по её вине развёлся-то, она шалавила от него. А что «мама»? Ребёнку отец нужен, а не твои ушёл-пришёл.

– Уж лучше ушёл-пришёл, чем как вы с папой жили! – отрезала мама.

Бабушка молча взяла со стола соль и не торопясь насыпала себе в тарелку. Мама искоса наблюдала за ней. Бабушка принялась за свою котлету. Прошло несколько минут. Дожевав последний кусочек, она прервала молчание:

– А кто сказал, что жизнь лёгкая-то будет? Всякое было, что уж греха таить. И гулял дед, и пил. Но терпеть ведь вместе надо, а не к другим мужикам в отместку убегать.

– Терпеть? – удивилась мама. – А ребёнка тебе своего не жалко было? Когда папа меня ремнём хлестал? Когда он ко мне в школу пьяный ввалился? Нет, тебе не было меня жалко, ты и не спрашивала, как я себя чувствую!

Бабушка осторожно прикрыла дверь из кухни. Так у двери и осталась, не садясь.

– Только его жалела и около него бегала: Коленька, Коленька... – уже тише закончила мама.

Мама замолчала, остановив взгляд на старых часах с кукушкой, чтобы на чём-нибудь его остановить. Из распахнутых глаз катились слёзы. Позади стояла бабушка.

– Всех было жалко. Такова судьба у нас, значит. И ведь вытащили деда-то... – бабушка положила руки на мамины плечи.

Мама нервными глотками стала пить чай.

– Как оттикают, так и умру я. Остановятся... значит, зовёт меня к себе матушка моя. А ты же на кого с Олесенькой останешься? Что же я деду-то нашему горемычному скажу? Не сберегла, не пристроила? – спокойно и равномерно приговаривала бабушка.

Мама знала, что эти старые часы давным-давно были подарены бабушке как приданое. Но никогда раньше бабушка не говорила о них так: с полной верой в свои глупые и страшные мысли.

– Хоть какой, да один должен быть, постоянный, – как точку поставила бабушка.

Мама, ничего не ответив, продолжала смотреть на часы: стрелка слабо отмечала: «тик... тик... тик...»

На кухню стала стучать Олеся.

– Ты чего прибежала-то? – не давая пройти к маме, нависла над ней бабушка.

Олеся сказала, что досмотрела мультик, а заметив заплаканную маму, остолбенела:

– Мам, ты чего?

Мама, услышав про мультики, вдруг вспомнила про оставленный на столе дневник.

– Уроки лучше бы учила! Мультики она смотрит... – сказала она и на последних словах, сама не ожидая того, рассмеялась.

Бабушка тоже начала улыбаться.

– Тройку схлопотала, да? – стараясь быть серьёзной, спросила мама.

Олеся опустила голову – вот он, настал этот момент. Но настал он совсем не так, как она того ожидала. И мама говорила совсем не так. Олеся даже почувствовала, что она вовсе ни в чём и не виновата.

– Ладно, иди. В следующем году шкуру с тебя сдеру, только попробуй у меня тройки получать, поняла?

Олеся, кивнув, убежала в комнату. Впервые она почувствовала такое облегчение, вдруг явившееся после стольких переживаний. Но отчего же плакала мама?.. Этот вопрос зародил в ней новый страх.

– Ишь, троечница! А я же спрашивала, как в школе. Нормально, говорит... – продолжала ласково смеяться бабушка.

Они смеялись, смотря друг другу в глаза.

Бабушка провожала маму и Олесю взглядом, стоя у окна. Вот уже подошли к автобусной остановке – и в ту же минуту затерялись в толпе ожидающих людей.

«Видимо, опять автобус сломался», – подумала бабушка.

Она вспомнила, как с утра садилась на этой остановке, чтобы до рынка доехать. И тоже полным-полно людей в автобусе было. Кто сидел, кто стоял. Место уступил молодой совсем паренёк. И как-то робко так, даже стыдливо предложил: «Бабушка, садитесь». Что он, интересно, думает, когда старых видит? Наверно, уже как на мёртвых смотрит. А все-то мы и живы, и мертвы одинаково. Все в шажочке друг от друга. Как в этом автобусе – все вместе по жизни и едем. Этот паренёк ещё не видит, а я всех вижу, каждого чувствую, каждый внутри меня есть. Потому как каждый из нас ребёночек чей-то. И у старух, и у мужиков больших мать есть.

Бабушка вспомнила свою матушку и как сейчас увидела её. Заходят они с Колей в дом, а матушка сидит на полу, чернику перебирает. Коля-то сразу: «Собирай, matka, приданое». А матушка как встала, так и стоит, смотрит на них, будто ребёнок испуганный. То на одного посмотрит, то на другого. «Людка-а, – заголосила матушка, – дура ты, девка...» И захохла, хватаясь руками за голову. А сама двумя ногами-то на чернике стоит, придавила яголки и не замечает.

«И все-то мы детки малые и детками останемся», – прошептала бабушка.

СТАКАН МОЛОКА

Однажды мне представилось, что будет, если я умру. Вокруг меня точно появятся бесы. Самое ужасное, что они никуда и не уходили, а всегда присутствовали рядом и нападали на наши души: в новогоднее застолье, в компании друзей, в транспорте и на улицах. Их невидимая армия, выстроенная плечом к плечу, с начала веков выступает из-под земли своими бесплотными тенями, хватает волосатыми лапами людей и тянет их под мокрую землю. И идут люди, а души их наполовину под землёй. Ложатся спать, а присосавшиеся бесы пробуют бессмертность на вкус своими клыками. Как об камень точат, как глину отрезают, как песок зачерпывают. А душа под землёй задыхается, и швыряют её, бездыханную, в раскалённое ядро Земли. Погибла, пропала душа.

Пока что я жив, здоров и примеряю красную рубашку, выглаженную женой к Новому году. Мне тридцать два года, а я раз в десять хуже себя самого в детстве. Засыпал вчера и не мог понять, почему я так обмельчал. Разве с такой же тяжестью я ложился спать мальчиком, когда мать мне читала сказки про Ивана-дурака или когда под одеялом подписывал любовную открытку однокласснице? Смотрю на остальных: есть люди и хуже, и очень много таких же. А я думал, что вырасту, как они: сильными, умными, загадочными царями этой

земли. А их надо было уличать. Они не послушали бы друг друга, а ребёнка послушали бы. Но ребёнок по своей наивности уверен, что все знают что-то, чего не знает он. Поэтому он не уличит, а если и уличит, будет чувствовать себя виноватым. Дети всегда и во всём чувствуют себя виноватыми.

Помню, мне было столько же, сколько сейчас Юле, моей дочке, то есть около пяти лет. К нам приехала погостить бабушка – папина мать. Мы остались дома вдвоём, так как я болел, а родители были на работе. Она поднесла к моей кровати стакан молока. Я встал, протянул руку, и в то же мгновение горячий стакан выскользнул из рук и серой лужей разлился на ковре. Бабушка выругалась и молча, с хмурым видом начала убираться. Мне было стыдно, я никак не мог заговорить с ней в тот день, да и она ко мне не ласкалась. Но я не подумал о том, что она вообще никогда ко мне не ласкалась. И искал причину только в себе. Даже после того, как пришли родители, я ни разу за вечер не привстал с дивана пошалить или поиграть с новой игрушкой – человеком-пауком, хотя и чувствовал себя уже здоровым. И всё думал, что, если позволю себе расслабиться, бабушка в ответ на моё незаслуженное веселье нашепчет маме про мою рассеянность, и та придёт меня ругать.

Сейчас я знаю, отчего она была постоянно хмурая. Моя мать всю жизнь злилась на неё, а та отвечала ей тем же. Когда я ещё не родился, папина сестра заставила бабушку переписать квартиру на себя. Она напирала на то, что живёт вместе с мужем и детьми в «двушке», что им мало места, к тому же приврала, что беременна третьим – так мать моя говорила. А бабушку отправили в захолустную деревню. Для своих детей вроде бы тётка постаралась, а разве детям это нужно? Квартиры нужны взрослым. Детям нужны родители в небесных коронах.

Мать же с отцом всегда отличались острым чувством справедливости. Только у отца это означало: «Главное, чтобы я вам ничего не должен был, а если вы должны, Бог вас рассудит», а у матери: «Все, что по справедливости мне и моей семье положено, я заберу». И потому мать моя, одной ногой уже в гробу, до сих пор в душе своей вынашивает камень, бабке причитающийся, а камень этот вниз её тянет. А бабушки и в живых-то уже нет.

Но отец мой тоже не святой. Однажды мать нашла в его куртке помаду. Они долго ругались, и он начал собирать вещи, а в один чемодан всё не помещалось. Для того чтобы в доме «ни одной тряпки его не осталось», мать пошла в магазин за пакетами. От злости она принесла целую коробку пакетов. А когда я начал плакать, велела мне закрыться в комнате и не выходить. На улице была зима. Я открыл балкон, чтобы успеть окликнуть отца, когда он выйдет из подъезда. Я не знал, что буду говорить. Вероятно, я бы просто пропищал: «Папа» – и захлебнулся рыданиями. Но когда он сложил вещи в пакеты, мать порезала их ножницами вместе с одеждой. Отец остался дома.

И сложно, и больно ребёнку представить, что в его семье друг друга не любят, что его семья не царская, а бесовская. И берёт ребенок-царь все грехи на себя...

Когда настал тот момент, что я перестал винить себя и начал винить всех? Когда вышел из детства. Просто попал в ситуацию, в которую попадают все люди на земле. Вырос и женился. И жена тоже попала в такую же – вышла за меня замуж. И с тещей, которая живёт с нами, у нас плохие отношения, а у жены со свекровью... Они тоже просто попали в такую ситуацию. А душу свою так просто не расширишь, и ситуация её заглотит, как заглатывала моих родителей, моих бабок и дедов, и прадедов.

Катя докрашивает ресницы, с важным видом открывая рот. Юлю уже одели, и ей жарко – мы вдвоём спускаемся на улицу. Она меня за руку держит, еле передвигает ножками в болоньевых штанах и спрашивает: «Папа, а ты маму любишь»? Я даже не успел подумать и говорю: «Люблю, все родители друг друга любят». А она поднимает ко мне голову: «Когда любят, дают цветы. А ты не далишь». Не знаю, о чём там, в садике, дети разговаривают, видимо, вчера кто-то хвастался, а моей нечего было рассказать. Только Катя у меня цветы терпеть не может, говорит, не хочу потрудиться, чтобы придумать что-нибудь оригинальное, и покупаю для «галочки» и «с довольной миной».

Я любил жену, точнее, я любил девушку, невесту. Но не прошло и полгода, как она начала на меня ворчать, брюзжать, пилить и прочее. Мы давно уже не разговариваем, а перекрикиваемся и обмениваемся колкостями. Нас это устраивает, так как семейная жизнь – это определённая ситуация, и никто не в силах эту ситуацию переопределить. Есть наверняка люди, которые стараются, но я не встречал тех, у кого бы это получилось.

С тещей мы не ругаемся, а только молчим. Помню, в первую неделю нашего знакомства она рассказывала, как в девяностые её муж открыл офис в соседнем городе и через наёмного работника продавал акции «МММ». Заработал себе процент, которого в то время хватило на иномарку. Потом этого самого работника зарезал в подворотне обманутый вкладчик, а мужа её так никто и не вычислил. Тёща рассказывала об этом мягко и будто виновато, но с нескрываемой гордостью, при этом показывая своё кольцо из чешского серебра с рубинами – подарок мужа. Ни один праздник, как я помню, без рубинов на её шее не прошёл.

Потоп, или засуха, или война... Те, кто продавал акции «МММ» и чудесные средства для похудения, первыми побегут и затопчут тех, кто стоял и робко оглядывался. Уже сейчас, в комфортных условиях, они в цепких лапах бесовской армии, и души их уже дышат смрадом. Если сейчас эти люди отвечают: «А как ещё выжить в этом мире? Кушать-то надо...», убедительно кивая головой, выходя из салона своего авто, то с какой убедительностью они будут грабить квартиры людей во время дефолта и резать на пропитание соседей во время засухи? До бездны у них останется только один шаг, и они сделают его и упадут...

И я его сделаю. Моя жизнь ничто, игра, в которую меня с рождения поселили, и я вроде бы знал правила – мне давали Библию, показывали церковь, но я не то чтобы проиграл, а даже не дошло до меня,

что душа моя проигрывается без борьбы. И миллионы людей, живущих на Земле, виновны в том, что засыпали сладким сном, когда мою душу забирали без их сопротивления. А я виноват в том, что не кричал, не говорил, не шептал, а засыпал, закрывая тяжёлыми ладонями два миллиона глаз.

Что во мне главным образом плохого? А то, что главным образом ничего хорошего и нет. Я никогда не изменял своей жене. Но уверен, что при возможности сделаю это. Искать в сетях каких-то женщин или заказывать проституток я, конечно, не буду. Но я готов к случайности, хоть и не жажду её с нетерпением, так как знаю, что буду всю жизнь ходить с этим камнем на совести. Моя профессия недалеко ушла от продажи акций «МММ», я риелтор – ненужный посредник и паразит экономической системы, не в поте лица своего зашибающий деньги. Помимо этого у меня в достатке других бесят и бесов. По списку смертных грехов я попадаю по каждому. Все они не в делах, а в мыслях и словах, но тем оно и страшнее.

Хотя и мало кто верит в возмездие так, как верю в него я. Я боюсь темноты, и бывают дни, когда даже с включённым светом я засыпаю только к пяти утра. Нападает страх. Сегодня была именно такая ночь. Жена с дочкой спали в детской. Мы уже давно спим отдельно – Юля капризничает и тоже чего-то боится. Провертелся всю ночь с одного бока на другой – всё какие-то тени мерещились за спиной. Я знаю, что нужно молиться. Я верю в бесов, а бесы во мне знают, что Бог есть. Но мысль, что ты не достоин прийти к Богу, что уже поздно, отводит меня от молитв.

Новый год – пьянка перед Рождеством. А ведь пост, хоть и не Великий, а на улицах дебош, разврат и чертова гулянка. И кресты на шеях. Если мужчины о них забывают, то женщины помнят. Помнят, что вместе с бусами крест на цепочке не смотрится, и сменяют его. Сменяют крест на бусы.

И на нашей улице праздник: мать, отец, тёща, мы с женой и Юля у моих родителей в квартире.

«Дзинь-дон». Открыла тёща, улыбается. Вышла из дома пораньше, чтобы помочь моим родителям со столом. В молодёжном платье и с толстым колье. Не к годам ей. Как вдове – тем более.

На длинном столе накрыта белая скатерть с напечатанными еловыми веточками и красными бубенчиками. Вилки и ножи слева от тарелки, ложки – справа. Соки, шампанское, вино и сельдь под фиолетовой шубой. И стакан молока для Юли, который так нелепо смотрится за этим столом. Мать поспешно бежит из кухни в зал и обратно – переносит оставшуюся еду. Отец сутуло сидит на диване, смотрит советский фильм.

Катя уже отчитывает Юлю за жёлтое пятно на платье, и ей, видно, неловко перед свекровью, что дочь у неё такая шabutная. Юля же под мамины упрёки бежит к сваленным в кучу подаркам под ёлку: «Бабуля, угадай, что мы с мамой тебе подарим? Это вкусно пахнет, и ты на волосы это делаешь» – и показывает, как бабуля духами прыскает на волосы. Моя мать угадала, но тут же нахмури-

лась, так как на прошлый Новый год Катя подарила ей набор дешёвых кухонных полотенец.

Марина Станиславовна разливает сок, кажется, что вот-вот её тонкая рука не выдержит, и тяжёлая коробка ударится об стол.

– Петь, а как с квартирами-то, подорожают ли с Нового года? – спрашивает она, улыбаясь мне.

Денег у неё ни на какие квартиры нет, спрашивает, чтобы перед моей матерью выказать уважение к моему риелторскому профессионализму. И дёрнуло меня сказать:

– А вы-таки собрались переезжать от нас, мама?

Подбородок у неё задрожал, она резким движением встала и вышла из зала. Катя сверкнула на меня:

– Ты что, больной?

Мать уткнулась взглядом в дверной проход, будто увидела привидение. Отец выпрямился и нахмурился. Юля тут же выбежала из комнаты, прокричав:

– Бабушка плачет!

Я хотел пойти за ней, сказать, что я молод и жесток, а главное, не могу соперничать ей, оказавшейся в ситуации, мне незнакомой. Но бесы, уже давно вцепившиеся калёной челюстью, потянули меня вниз – я не смог сделать ни шагу. Раздирали своими когтями мне рот – я не смог ничего сказать. Они помчали мою душу в коридор, пока она ещё не успела опомниться. Волосатыми пальцами застегнули пальто и уже ухватились за дверную ручку.

– Папочка, не уходи! – обняла мои ноги прибежавшая вдруг от Марины Станиславовны Юля.

Я гладил Юлины волосы, не зная, что делать дальше. Катя со страхом смотрела на нас. Я удивился её взгляду. «Не уйдёт», – мягко поцеловала меня в губы и начала расстёгивать пальто. Её завитые волосы спадали мне на плечи. Тогда, в первый раз, у неё были точно такие же волосы.

Мы познакомились семь лет назад. Как ни странно, это было чудом, единственным чудом за всю мою жизнь. Чудом в буквальном смысле этого слова, означающим любовь. Мы случайно с ней встретились ровно три раза, как в сказках про Ивана. Сначала я увидел её в вагоне метро. Было утро. Кудрявые волосы, лежащие на меховом воротнике, и чёрные сапоги – все в коричневых пятнах от слякоти. И запомнил её из-за сапог этих почему-то. Возвращался домой я уже под вечер. Подхожу к платформе и вижу девушку с такими же грязными до колен сапогами, стоящую рядом с милиционером, который вытаскивает длинным железным крюком её сумку. Потом я узнал, что в суматохе её толкнул какой-то пацан. Волосы у девушки уже все выпрямились и сосульками лежали на воротнике. Мне отчего-то стало весело, и я подошёл к ней в вагоне. Она ещё сильнее прижала к себе сумку. Я спросил, всё ли нормально, ничего не пропало? «Нормально, спасибо», – испуганно пролепетала она. «Хорошо», – сказал я и пошёл к выходу, встав спиной к ней, хотя мне не нужно было выходить на этой остановке. И вдруг ужасно удивился: зачем подошёл? Было и смешно, и стыдно. Я стоял, наверно, красный как рак

в позе солдатики и почему-то боялся пошевелиться. Наконец, третий раз мы столкнулись на улице. Она спросила, где Бабушкинская, дом 17. Я только начал отвечать, как она хихикнула, узнав меня. Волосы у неё уже были прибраны в хвост, и те же самые сапоги в пятнах.

Марина Станиславовна нам после рассказывала, что она в том месяце ходила в церковь и молилась, чтобы Катя нашла мужа, так как Кате было тогда уже двадцать шесть, и сидела она в девках без надежд и просветов. И мы поженились. Через несколько месяцев после знакомства, сразу после того, как Катя забеременела, ни в чём не сомневаясь и ничего не просчитывая.

И теперь, опять как в первый раз, я стоял в коридоре в позе солдатики и не мог пошевелиться...

Мы снова сели за стол. Марина Станиславовна пытается накормить Юлю. В углу у окна стоит свежая ель, а на ней старые игрушки, ещё с моего детства. Гирлянда моргает мягко, как Катя у порога поцеловала. У отца зазвонил телефон.

– Да, ага, и вас, и вас, и племяшек тоже поздравь от меня, ага, давайте.

Это была тётя. Каждый Новый год звонит ему и поздравляет, будто истории с квартирой и не было. Я взглянул на мать – она медленно поднялась, отошла куда-то и принесла шерстяной жакет отцу – врачи прописали носить для больной поясницы.

– Сестра? – Встряхнула жакет, будто от пыли.

– Ага, – вздохнул он и мягко улыбнулся.

– Надевай давай!

Я уткнулся в фотоаппарат. На дисплее отец совсем стар, а я и не замечал. Когда у него усы успели поседеть? Худой совсем стал, опять сидит сутуло на диване, улыбается только, на всех смотрит. А до скул слезинка дошла. Раньше только в мороз у него такое бывало, а теперь даже в тепле, дома.

Поднялись с бокалами шампанского.

– Выпьем за то, чтобы всё плохое осталось в прошлом году... – начал я и хотел сказать что-то важное и больное.

Но Марина Станиславовна торжественно воскликнула: «Да!» – и поторопилась первой чокнуться со мной.

Юля, поведив вилкой по салату и так ничего, кроме конфет, за целый час не съев, запросилась на руки, посмотреть «бабины катинки». Новогодние картинки, которые моя мать приклеила на стёкла. На левой стороне окна баран с пачками долларов, перевязанных красной лентой на горбе, а на правой – снегири в заснеженных еловых ветках.

Я вожу пальцем по нарисованным деньгам:

– Одну пачку – тебе на конфеты, другую – нам с мамой, и третью – деду с бабушками, чтобы каждому по пачке было в следующем году. Тебе кто больше нравится – барашек или снегири?

– Птички, – сказала Юля.

Птичками этими она и спасётся. А я чем? А я разбитым стаканом молока.



**Василий
РЕСНЯНСКИЙ**

ПОСЛЕДНЯЯ ЛАСТОЧКА

У осени хороший вкус на краски,
В её картинах – тонкий колорит.
Как будто декорация из сказки,
Весь лес в оттенках золота горит.

А это небо чистой синью светит,
Заглядывает в душу мне оно...
Какое счастье – жить на белом свете,
Что всё вокруг увидеть мне дано!

Зацокал дождь серебряным копытцем,
Слезам капли стынут на стекле...
Неужто снова это повторится,
Когда меня не будет на земле?

ЗВЁЗДНАЯ ПЕРЕПРАВА

Когда ночная тишина звенит в ушах
И звёздный купол высится нетленный,
То кажется: всего лишь сделай шаг –
И растворишься в Вечности Вселенной.

От бесконечности кружится голова.
Манят к себе чужих миров пространства.
Таинственных галактик кружева
Льют свет незыблемого постоянства.

Они зовут! До них – рукой подать.
Лишь пожелай, ступи за грань порога –
И до луны через речную гладь
Из серебра проложена дорога.

-
- Василий Григорьевич Реснянский родился в 1951 году в селе Песчанка Самойловского района Саратовской области. Автор четырнадцати поэтических и прозаических книг. Публиковался в журналах «Волга–XXI век», «Страна Озарение», «Другой берег» и др. Член Российского межрегионального союза писателей. Живёт в Энгельсе.

В зенит высокой полночи взгляни:
Разверзлась бездна неба! Слева, справа
Мигают звёзд сигнальные огни,
И Млечный Путь повис как переправа.

ПОСЛЕДНЯЯ ЛАСТОЧКА

Скворцов пролётных воронёных стая
Нанизана на нитки проводов,
Тяжёлым ожерельем нависает
В преддверии осенних холодов.

Рябины спелой загорелись ветки.
В бору примерил шляпу белый груздь.
А сердце бьётся, словно птица в клетке,
И с ласточкой последней делит грусть.

Её полёт волнует и тревожит,
И сердцу хочется заплакать и запеть –
Не потому, что улететь не может,
А потому, что некуда лететь!

Чернеет свежей тушью пашня,
Суглинка запахи неся,
Под плугом, словно день вчерашний,
Перелопаченная вся.

Тоскует жёлтая солома
О лете, съёжившись в скирдах.
Воробушки под крышей дома
Рядком сидят на проводах.

Дождишко реденький не всуе
Через лесок пробрался вброд,
И чертит линию косую
Размытый дымкой небосвод.

А даль тревогою одета,
Томится, чувства серебря,
Как будто ждём мы поезд где-то
На полустанке сентября.

УПЛЫВАЕТ ЛЕТА КАРАВЕЛЛА...

Пух летит белёсый и кудлатый –
Осень паутину размотала.
Видно, оборвались те канаты,
Что держали лето у причала.

Прыснул иней бриллантов пылью
На макушки рыжего бурьяна.
Смешан запах леса с терпкой гнилью
В молоке вечернего тумана.

А на сердце – грустная истома,
Словно друга нынче провожаешь,
Выйдешь на дорогу ты из дома,
Только слов прощания не знаешь.

Уплывает лета каравелла,
А куда, зачем – оно не скажет.
С палубы, пропахшей дыней спелой,
Мне любовь, прощаясь, веткой машет.

Когда метель накатится, пыля,
И сеть сплетёт из грусти и печали,
Я в парк пойду, где мы рассвет встречали,
Где стынут сторожами тополя.

Зимы и памяти волшебная игра...
И я её законам подчиняюсь –
На миг как будто снова возвращаюсь
Назад, туда, в далёкое вчера.

В свистках синиц мне слышится твой смех,
А где в сугробах вьётся тропка-змейка,
Ещё стоит та старая скамейка,
И с неба падает, как прежде, белый снег.

То дождь, то снег идут наперебой,
Качает ветки вяза ветер стылый,
И неба зонт, когда-то голубой,
Теперь окрашен в серый цвет унылый.

Природу ждут морозы и снега,
Исхлёстан непогодой профиль зданий,
У грязных луж размыты берега
Неповторимых, сложных очертаний.

Но прелесть тут имеется одна:
В холодный день, в осеннее ненастье
Сидеть с блокнотом около окна
И рифму подбирать для слова «счастье».



ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО СЬЮЗЕН ГЛАСПЕЛЛ



Есть писатели, которые, подобно Джону Китсу или Францу Кафке, не добились признания при жизни. Кто-то – достаточно вспомнить Германа Мелвилла – так и не узнал, что его книги стали классикой. Но есть и счастливики – они при жизни купаются в лучах славы, получают премии, видят свои произведения на сцене и в списках бестселлеров. И это не обязательно авторы-однодневки. Многие литераторы писали по-настоящему талантливые работы, которые были бы интересны и последующим поколениям, но по какой-то неведомой причине эти писатели были забыты. Они сошли с литературного Олимпа. Одной из таких фигур была замечательная писательница Сюзен Гласпелл (1876–1948) – обладательница Пулицеровской премии, женщина, которая открыла миру Юджина О’Нила, и первая американ-

ская писательница-феминистка.

Сюзен Китинг Гласпелл родилась 1 июля 1876 года в городе Давенпорт, штат Айова. Её отец был фермером, а мать – учительницей. Детство девочки прошло на бескрайних полях Айовы. Маленькая Сьюзи была серьёзным ребенком, она любила слушать предания об индейских вождях, спасала птиц и зверушек, ходила в местную школу, где считалась одной из лучших учениц. С восемнадцати лет девушка подрабатывала журналистом в местной газете, а уже через два года вела собственную колонку, посвящённую светским новостям. В двадцать один год Сюзен поступила в университет Дрейка, несмотря на то, что в те времена считалось, что университет не место для девушек: после него они непригодны для семейной жизни.

Мисс Гласпелл специализировалась на философии, была блестящей студенткой и наравне с мужчинами принимала участие в университетских дебатах. А на следующий день после вручения диплома Гласпелл получила полноценную работу в газете. Более того, она писала статьи о законах штата и даже освещала дела об убийствах (впоследствии они станут материалом для её произведений, например, для пьесы «Детали», на основе которой был написан рассказ «Так решили женщины» – в них представительницы слабого пола разгадывают преступление, которое не смогли распутать их мужья-детективы, а затем выносят свой вердикт).

В 1901 году Гласпелл вернулась в Давенпорт, где посвятила себя творчеству. Её рассказы появлялись на страницах лучших журналов



Америки. В 1909 году вышел её первый роман «Триумф побеждённых», который сразу же попал в списки бестселлеров и получил хвалебные отзывы; за ним последовал роман «Воображение» (1911), который понравился читателям и привёл в восторг критиков. В 1913 году Гласпелл вышла замуж за Джорджа Кука.

Но Сьюзен Гласпелл известна не только как писательница. Её жизнь и творчество были неразрывно связаны с театром: в 1916 году она с мужем основала театральную труппу в курортном городке Провинстаун. Гласпелл начала писать

пьесы и сама играла на сцене, так как театр был любительский. Современники высоко отзывались об актёрских способностях Сьюзен.

Вскоре труппа переехала в Нью-Йорк, и Сьюзен с мужем поселилась в районе Гринвич-Виллидж, где у них в гостях бывали многие выдающиеся деятели и литераторы того времени – Джон Рид, Эптон Синклер, Теодор Драйзер, Юджин О’Нил. В этот период Сьюзен написала несколько талантливых пьес («Грань», «Наследники»).

Гласпелл стала известным драматургом не только в Штатах – её пьесы имели успех в Великобритании, где писательницу сравнивали с Ибсеном. Но она продолжала писать и рассказы. В 1922 году Гласпелл и Кук расстались с театральной труппой и уехали в Грецию, где поселились недалеко от Дельф – Гласпелл всегда интересовало античное наследие.

После смерти мужа Сьюзен Гласпелл вернулась на родину. Она написала ещё несколько блестящих произведений. «Возвращение изгнанницы» (1929) уступило приз за главный роман года лишь книге Хемингуэя «Прощай, оружие!». А в 1931 году пьеса «Дом Элисон» принесла Гласпелл Пулитцеровскую премию «За лучшую драму».

В своих произведениях Гласпелл часто рисовала образы сильных женщин, писала о месте представительниц слабого пола в обществе, в котором главенствуют мужчины. Однако в 40-х годах стало модным изображать женщин как типично домашних созданий, которые стоят заведомо ниже мужчин. Книги Гласпелл стали забываться. Сама писательница не была публичным человеком. Она всегда преуменьшала свои заслуги, а не рекламировала их. Постепенно интерес к её книгам угас, но в 70-е годы к её наследию обратились вновь.

Творчество первой леди американской драматургии стало обширным полем для изучения. В нашей стране имя Сьюзен Гласпелл почти не известно читателям, её произведения не переводились. Будем надеяться, что читатели по достоинству оценят рассказ «Где-то далеко» (1912), впервые представленный на русском языке.

Ксения Кириченко

**Сьюзен
Гласпелл**

ГДЕ-ТО ДАЛЕКО

Перевод с английского Ксении Кириченко*

Старик держал перед собой картину и смотрел на неё восхищённо, но в то же время с сожалением.

– Здешней публике такая картина не по карману, – ворчал он. – Висеть ей тут до второго пришествия.

И действительно картина не вписывалась в скромную обстановку магазинчика. Старик купил её у одного напористого юнца, который уверял, что вынужден отдать полотно почти за бесценок в связи с закрытием магазина. Лавка старика располагалась не на бойком месте, и основной доход приносило оформление картин. Старик огляделся: вокруг висели городские панорамы, кошечки и собачки, шикарные девицы и яркие пейзажи.

– Разве такой картине тут место? Это всё равно что я буду сидеть в Конгрессе, – бормотал он.

Но всё же он втайне радовался своей покупке: теперь он уже не был мелким торговцем, а вознёсся до уровня покровителя искусств. Шаркающей походкой ходил он по магазину, выбирая подходящее место для картины, а между тем в его хмуром взгляде сквозила скрытая гордость.

Разве можно описать ту картину словами? Они лишь приравнивают её к литографии. На ней был изображён сосновый лес, через который весело бежал чистый горный ручей. Цветные литографии и настоящие произведения искусства могут запечатлеть сходные предметы. Но единственное различие между ними связано с нашим восприятием. «Дело не в том, что ты видишь, а в том, что ты чувствуешь, – размышлял старик, стирая с картины пыль. – Вот в этой раме не больше трёх футов в длину, но кажется, что лес простирается ещё на сотни миль. Думаю, он лежит на склоне горы – оттуда так и веет прохладой. Вот бы сейчас там оказаться! Уж в таком-то местечке совсем другая

* Ксения Евгеньевна Кириченко родилась в Воронеже. Окончила факультет романо-германской филологии Воронежского государственного университета. Продолжает обучение в магистратуре. Публиковалась в журналах «Смена», «Подъём».

жизнь, не то что в нашем Чикаго. Похоже, где-то далеко есть край, в котором человек может быть свободным».

Старик принялся вынимать из витрины картины с видами на Линкольн-парк и полотна с тучными купидонами, чтобы освободить место для нового шедевра; потом он вышел на улицу и, внимательно посмотрев на результат, потряс головой и заспешил обратно. Он убрал изображения пылких парочек, рисунки с фруктами, цветами и рыбой, которые, как вначале полагал старик, могли бы «удачно оттенить» красоту новой картины. Но было очевидно, что той не нужна подобная мишура. «И к тому же, – сказал он, словно оправдываясь за то, что вверяет всё своё материальное благополучие единственной картине, – их можно разве что выбросить – настолько убогими они кажутся рядом с новым полотном. Так их точно никто не захочет взять». И старик снова возвратился к созерцанию горного пейзажа со спокойствием человека, отстаивающего прекрасное.

Его маленькие часы отбили уже без четверти шесть, когда он наконец вышел из лавочки. Пришло время закрываться на ночь, но он задержался на ступеньках, смотря на поток служащих, которых выплеснул деловой квартал. Люди двигались по направлению к западным улицам, где располагались дома с меблированными комнатами. Они проходили мимо него парами или небольшими группами; шумливые и измотанные, весёлые и грустные. Праздность и усталость, людской протест и смирение.

– Будто кто-то из них смог бы её купить, – сурово произнёс старик. – Или хотя бы просто захотел, – прибавил он задумчиво.

По улице одиноко брела девушка. «Бедняжка совсем выбилась из сил», – подумал старик. Девушка пересекла дорогу и теперь шла по его стороне. В её наряде не было ничего примечательного, но между тем она выглядела иначе, чем её сверстницы – точно так его новая картина отличалась от цветной литографии. Девушка равнодушно скользнула взглядом по витрине его лавочки, но вдруг остановилась, замерла, и весь её облик преобразился. «Она будто бы увидела давно пропавшего друга и теперь, чтобы не разрушить волшебный миг, боится произнести даже слово», – размышлял потом старик.

Казалось, девушка действительно боится сказать что-либо, боится поверить. Она стояла прямо посреди тротуара, не отрывая глаз от полотна. Затем шагнула ближе, словно картина притягивала её. Могло показаться, что она готова сорваться с места и убежать, но она подошла ещё ближе – так близко, как могла – и всё смотрела и смотрела на картину. Но потом смесь страха и благоговения уступила место самозабвенному восторгу. Девушка посмотрела по сторонам – точно так же человек трёт глаза, чтобы убедиться, что увиденное им – правда. И после этого на неё нахлынула такая радость, что её бледное личико озарилось, а старик смог только сказать, что он раньше никогда такого не видел. «Пробеги по нашей улице пожарная бригада, она бы и не заметила!» – торжественно заявил он. И тут девушка сделала глубокий вдох. «Вот видите? – радостно засмеялся он. – Она чувствует её аромат». Девушка посмотрела на дверь магазина, но потом покачала головой. «Знает, что не сможет её приоб-

рести», – догадался старик. Девушка отступила на шаг и внимательно посмотрела на номер над дверью. «Придёт снова, – решил старик. – Боится забыть это место». А девушка ещё долго стояла перед картиной; она была на удивление тиха и спокойна – старик даже не знал, как это истолковать. «И вот как прикажете это понимать? – в замешательстве спрашивал он. – И почему эта картина так подействовала на неё?» Но всё же в глубине души старик знал ответ, ведь он смотрел на девичью фигурку сквозь пелену слёз.

Закрывая магазинчик на ночь, старик был взволнован взглядом, который она бросила на картину, прежде чем уйти, и ему уже не приходило в голову, что его маленькая ценительница прекрасного не сможет её купить.

Весь следующий день он не переставал думать о той девушке и незадолго до шести занял своё место за витриной. «Я старый идиот, – с досадой говорил он, а сам с нетерпением ждал её. – Какая разница, придёт она или нет! У неё всё равно нет денег, чтобы купить полотно. И она-то не лучше меня. Что толку любить, если не можешь обладать? Ну и глупец же я! Забочусь о том, что она думает». Но в этот момент девушка показалась позади стайки девочек. Она торопливо перешла улицу и почти побежала к его лавке – радостная и взволнованная. «Переживает, как бы её не купили, – сказал старик и добавил угрюмо: – Уж об этом нечего тревожиться».

Она приблизилась к картине с таким благоговением, словно заходила в церковь. Однако восторг, написанный на её лице, был далёк от религиозной сдержанности. «Я бы сказал, что она похожа на человека, который долго блуждал по пустыне и вдруг нашёл источник, – сказал старик, проникнув в самую глубину её сердца. – Её мучает жажда. Она жадно впитывает каждую каплю, но всё не может остановиться. Ведь для неё это... напиток жизни!» Но тут старик дёрнул плечами, устыдившись своих поэтических и сентиментальных рассуждений, неподобающих мужчине его возраста.

Он подошёл к двери и стал смотреть, как она уходит прочь. «Какая же она тоненькая! – воскликнул он. – Порыв ветра может унести её». Девушка шла, слегка наклонив голову и сдвинув плечи; прежде чем она исчезла из виду, он услышал её кашель.

«Она наверняка жила в тех краях, и сейчас ей так хочется там оказаться. Благодаря картине она «дышит» родным воздухом и меньше скучает по дому», – решил старик, гордясь своими дедуктивными навыками.

Стоял июль, и каждый вечер старик ждал маленькую и хрупкую девушку, которой так нравилась картина с сосновым лесом. Она всегда торопливо пересекала улицу и подходила к картине с той же мучительной страстью, близкой к лихорадочному состоянию. Но она успокаивалась, глядя на картину, и её напряжение ослабевало. «Уходя, она выглядит ещё более слабой, чем когда приходит, – замечал старик. – Клянусь, она словно правда там бывает, – говорил он, но добавлял: – Ох, Боже, и вот как тут понять, что к чему!»

Полотно он называл не иначе как «Её картина». Однажды, за десять минут до шести, он вынул холст из витрины. «Возмож-

но, я поступаю плохо, – признавал старик, – но я просто хочу узнать, насколько дорога ей эта картина».

Но когда старик увидел, что из этого вышло, то решил, что он самый жестокий человек на земле.

Девушка, как обычно, торопливо и с волнением шла к картине. Но когда она увидела пустую витрину, то старику на мгновение показалось, что она рухнет прямо на тротуар. Весь её облик потускнел, как будто у неё отняли источник внутренних сил. Свет, разлитый у неё по лицу, погас, осталось лишь осознание горькой правды. «Разрази меня гром!» – с яростью бормотал старик, сам готовый заплакать. Девушка оглядела грязную, раскалённую и шумную улицу, а потом снова посмотрела на пустую витрину. Она постояла минуту – какое же мучительное это было время! – и потом, смирившись, поплелась прочь. Она шла, как обычно ходят сильно измученные люди или те, кого разочарования подстерегают слишком часто.

Дрожащими руками старик поспешно вернул картину на прежнее место. Он осыпал себя упрёками, говорил, что поступил хуже, чем кошка, играющая с мышкой; человек, отнявший кость у пса, поступает не так низко; его нельзя сравнить даже с подлецом, который разрушил у детей кукольный домик, а только с преступником, который выхватил кружку воды у умирающего. Старик подумал, что она может вернуться, и задержался до семи, сделав вид, что ему надо перевесить шторы. Весь следующий день он не находил себе места. И, словно чтобы загладить вину за свой презренный поступок, он целый час украшал тканью витрину. «Она решит, – говорил он себе, – что картины вчера потому-то и не было. И не будет волноваться. Это будет знаком, что «Её картина» останется здесь».

В тот вечер он стал ждать с половины шестого. Прошло пятнадцать минут, и он подумал, что она слишком расстроена, чтобы идти домой по его улице. Он был так уверен в этом мрачном предположении, что, когда увидел её вдалеке, почувствовал безмерное ликование. Она бесцельно брела по другой стороне улицы – без былой горячности, перед которой отступала даже усталость. Девушка приблизилась к месту, где всегда раньше переходила дорогу, помедлила несколько секунд и продолжила идти, ещё медленнее и совсем поникнув. Она не верит! Она не придёт!

Но она пришла. После нескольких шагов девушка снова остановилась и на этот раз перешла дорогу. «Правильно! – радовался старик. – Так просто не сдавайся!»

Девушка шла мимо лавочки, стараясь не смотреть на витрину, но всё же повернула голову и увидела свою картину. Сначала она застыла, а затем – тут старик не мог сказать точно, что произошло – задрожала от сдерживаемых рыданий, метнулась к витрине, и на её бледном, усталом лице заблестели слёзы.

«Не тревожься, – пробормотал старик, растроганный её слезами, – она больше никуда не исчезнет».

Однако уже на следующей неделе его решение подверглось испытанию. В его магазинчик зашла дама и попросила показать ей картину с витрины. Такие великолепные покупательницы нечасто появлялись

в их квартале. Старик с подозрением оглядел её, нахмурился и неуклюже замешкался. «Её картина!» Что подумает та девушка? Что с ней будет? Но тут хитрая улыбка тронула его губы; он пошёл и вытащил холст.

– Эта картина, – надменно произнёс он, – стоит сорок долларов, мадам.

«Это её отпугнёт», – добавил он про себя.

Дама молча рассматривала картину.

– Я беру её, – спокойно сказала она.

Старик в изумлении уставился на неё. Сорок долларов! Значит, тот парень не знал её истинную ценность.

– Заверните её, пожалуйста, – попросила дама. – Я возьму её сразу.

Старик повернулся и пошёл в комнатку позади прилавка. «Сорок долларов!» – повторял он как в тумане. А ему как раз повысили арендную плату, и в газетах пишут, что уголь этой зимой подорожает. Ему бы пригодились эти сорок долларов! Эта мысль неотступно преследовала его. От такой суммы трудно отказаться! Старик хмуро отрезал обёрточную бумагу и с тяжёлым сердцем принялся заворачивать картину. Но что-то шло не так. Бумага не ложилась ровно. Он три раза разворачивал её и каждый раз не мог не взглянуть на сосны. А лес уходил всё дальше и дальше, становился таким высоким, что заслонял даже сорок долларов. Казалось, лес знает то, что важнее платы за аренду и за уголь. И вдруг случилось нечто необычное: сосновый бор растворился в туманных далях, и старик увидел шумную, запруженную людьми улицу под раскалённым солнцем, по которой спешила хрупкая девушка с мечтой в глазах. Воздушная фея, которой не место в жарком гудящем городе; она приближается к картине, её усталые глаза вспыхивают, на измученном лице появляется улыбка, и она словно чувствует освежающий ветерок соснового леса. Старик внезапно разозлился на себя и на свою покупательницу: «Разрази меня гром – ведь это Её картина!»

Он вернулся к прилавку.

– Я только сейчас вспомнил, – резко произнёс он, – эта картина принадлежит другому человеку.

– Я не понимаю... – Дама посмотрела на него с удивлением.

– А нечего тут понимать! – почти закричал он. – Эта картина принадлежит другому человеку.

Дама повернулась и пошла к выходу, но потом обернулась.

– Я дам за неё пятьдесят долларов, – так же спокойно сказала она.

– Мадам, – загремел старик, – предложите мне хоть пять тысяч, я всё равно скажу вам, что эта картина не продаётся! Понимаете?

– Да, конечно, – ответила она и ушла.

Он долго не мог успокоиться. «Я вот что скажу, – шумел он, обращаясь к озеру Мичиган, которое вставлял в раму, – это Её картина... и только её... Я скажу это любому, кто полезет с такими глупыми предложениями».

После этого старик часто задумывался, не выйти ли ему из лавочки и заговорить с ней. Но, возможно, он был просто сдержанным человеком по своей натуре. Он хотел подойти к ней однажды и ска-

зять, что картина теперь её. Но ему казалось, что глупо говорить такое: она и так наверняка это знает. Старик беспокоился о её кашле, который, похоже, усиливался; он уже всё обдумал и решил, что с наступлением холодов пригласит её заходить в магазинчик и любоваться полотном в тепле. Старик чувствовал, что знаком с ней тысячу лет. И хотя он не знал даже её имени, ни разу не слышал её голоса, ему казалось, что эта девушка для него самый близкий человек на свете.

Но если бы старик узнал её истинную историю, он вряд ли бы понял. Он был бы удивлён и разочарован, если бы ему сказали, что та девушка никогда не видела ни соснового бора, ни гор. Более того, часть её жизни осталась бы загадкой не только для него, но и для всех остальных.

Основные факты её жизни были простыми и неинтересными. Её история мало чем отличалась от историй тысяч других девушек в этом городе. Если бы вы навели справки, то узнали, что она работает машинисткой в крупной земельной компании, что во всём Чикаго у неё нет ни одной родной души или знакомых и что она живёт в меблированных комнатах в большом доме. Там бы вам сказали, что она милая девушка, тихая, словно мышка, и жаль, что ей приходится так много работать – у бедняжки очень хрупкое здоровье. Здесь заканчиваются сухие факты, которые не расскажут доподлинную историю.

Контора, где трудилась наша девушка, являлась филиалом большой северо-западной земельной компании, в которой работали с участками в Айдахо, Монтане, Орегоне и Вашингтоне. Девушка сидела за печатной машинкой и набирала тексты о красотах этих прекрасных земель: о бескрайних лесах, холмах и долинах, о горных вершинах и быстрых речках. В рекламных проспектах говорилось, что в тех краях есть возможности для каждого человека, а огромные плодородные земли сулили урожай. День за днём она печатала тексты о том, как в тех местах большие излечивались, бедные становились богатыми и что эту восхитительную страну не в силах изобразить скромное перо.

И вот девушка, чью жизнь нельзя назвать лёгкой, стала думать, что где-то далеко есть край, где всё правильно и хорошо. В той стране не знали, что такое усталость и одиночество, там по утрам люди не просыпались измученными и неотдохнувшими, а по вечерам не страдали от бессонницы из-за переутомления. Она рисовала в своём воображении место, где трамваи не звонили так громко, не было эстакадной надземки, а у мальчишек-газетчиков были сплошь приятные голоса. Где-то далеко лежала земля, которая не знала ни смога, ни грязи, где тишина проникала в самое сердце, а соседи не буянили по ночам в унылых домах, которые жались друг к другу. Там не было узких улочек, запруженных толпой; даже лошади – и те не выбивались там из сил. Именно там сбывались мечты; в той красивой стране никто не питался одним черносливом, подливка никогда не была жирной, а картофель не подгорал на плите. Где-то далеко простиралась страна цветов, птиц и ласковых людей – край благосостояния, здоровых сил и улыбок.

Всё это было создано её воображением. Она слышала истории о том, как человек осваивал пустынные районы Айдахо, рассказы об огромных богатствах, которыми располагает этот почти неизведанный штат. Её увлекала поэзия превращения сухих земель в насыщенные влагой угодья. Часто в зной, когда она сильно уставала и вокруг всё было пыльно и грязно, её фантазия устремлялась к маленькому горному ручейку, который берёт своё начало в облачных вершинах. Её воображение летело вместе с торопливым потоком через лес, наполненный ароматами, устремлялось с обрывов, пока наконец не достигало пустыни – там мудрые и знающие люди орошали сухую землю, а та одаривала их злаками и цветами. Эта картина была ярче, чем какая-либо история, прочитанная в книге. И ей всегда становилось легче дышать, если она думала о сосновых лесах Орегона. В этих грёзах было что-то освобождающее; нечто такое, что раздвигало рамки обыденности. Мысли об этом крае освежали её, и воображение не знало границ. В этих мечтах отражалась бесконечность, они олицетворяли красоту и простор. В той стране люди даже лучше понимали мир.

И ещё она любила представлять шум Тихого океана: его волны когда-то пенились в неизведанных морских широтах, а теперь набегают на дикое побережье Орегона или плещутся в гаванях штата Вашингтон. Девушке нравилось отправлять письма в Портленд, Сиэтл, Спокан и Такому, ведь это были яркие, цветущие города в краю возможностей и красоты. Она любила рисовать себе Сиэтл – город, построенный на холмах (что само по себе удивительно, если вспомнить Чикаго, в котором нет ни единой возвышенности). Она закрывала глаза, мысленно восхищаясь горным пиком вдаль – такой величественный вид, должно быть, открывался жителям Портленда. Иногда она была такой усталой, что не понимала, что делает – и тогда она шептала молитвы горной вершине. Дальние дали действительно были местом, где ни одна просьба не оставалась без ответа.

В то лето Запад был переполнен туристами, которые ворчали по каждому поводу, а маленькая девушка сидела в раскалённом Чикаго и, невзирая на расстояние, впитывала дух далёких земель. Тысячи людей путешествовали по железной дороге вдоль берегов реки Колумбии, смотрели из окон, но не любовались природой, а она сидела за пишущей машинкой в тесной, шумной конторе и слышала освежающий звон ручейка и шёпот сосен. Когда она забывала о реальности, то становилась хозяйкой тех земель; душные дни лишали её и без того скудных сил, она склонялась всё ниже и ниже над клавишами машинки, но с горячим упорством продолжала печатать о бесконечной красоте и порядке в Далёкой стране. И край прохладных ветерков и свежего воздуха в свою очередь был так добр к ней – он не отворачивался от неё, а лишь простирался всё дальше и становился невероятно прекрасным.

И вот в один знаменательный для неё вечер она увидела картину – живое воплощение и доказательство её мечты. Конечно, у них в конторе были проспекты с броскими картинками. Но это были лишь выдуманные виды, а полотно подтверждало, доказывало её право-

ту, и в этом знании была радость. Она обожала картину и хваталась за неё, как любой держался бы за воплощение своей мечты.

Сосновый лес стал её убежищем. Когда она слишком уставала, чтобы строить воздушные замки, она просто представляла, как сидит в прохладной тени сосен, а рядом пробегает маленькая речушка, неся студёную воду далёких снегов. Это было отдыхом и отрадой.

Иногда она улыбалась при мысли о том, что в их конторе никто не знает о её мечтаниях, и задумывалась, что они сказали, если бы узнали. Некоторые сотрудники как-то странно посматривали на неё – это слегка смущало её.

Однажды мистер Осборн попросил её зайти к нему в кабинет. Она присела на стул рядом с его столом. Он повёл себя необычно: повернулся в своём вращающемся кресле, затем поднялся и подошёл к окну.

Старшая стенографистка пожаловалась на её кашель: она считала, что нашей девушке нельзя работать в коллективе. Стенографистке было неприятно говорить такое, но и молчать она больше не могла. Этот разговор случился ещё неделю назад, но мистер Осборн ничего не предпринимал, откладывая предстоящее обсуждение. Однако мешкать было нельзя. Главная стенографистка – ценный работник, и, кроме того, она была права.

Мистер Осборн сказал девушке, что они задумали некоторые перестановки в конторе, поэтому на какое-то время придётся освободить место, убрав несколько столов (это было всё, что он смог в тот момент придумать). Не могла бы она выполнять свою работу дома, если он пришлёт ей туда печатную машинку? Её работу можно делать и дома.

Девушка почувствовала разочарование – она не была уверена, что в её комнатке найдётся место для печатной машинки, и там словно не хватало воздуха. Она привыкла к конторе со всеми её картами, картинками, рекламными проспектами и посетителями, которые только что приехали из дальних краёв. Контора была мостиком между мечтой и реальностью. Но ей ничего не оставалось, как согласиться.

Она поднялась и собиралась было уходить, как мистер Осборн обратился к ней:

– Вы совсем одна на свете? – спросил он.

– Я... да.

Это было слишком для него.

– А как бы вы отнеслись, – начал он быстро, – к переводу на Запад?

Девушка опустила на стул. Она побледнела, её взгляд блуждал.

– Вы ведь не хотите сказать... – задыхаясь, произнесла она. – Вы думаете...

– Так вы не хотите туда ехать?

– Я хочу сказать... – зашептала она. – Это было бы просто замечательно...

– Значит, вы согласны?

Она только кивнула, её губы приоткрылись, глаза сияли. Мистер Осборн с удивлением спросил себя, почему он раньше не замечал, какая у неё необычная красота и что она совсем не похожа на других.

– Я вижу, вы простудились, – сказал он. – Климат тех мест подойдёт вам больше. Я узнаю, смогу ли я организовать ваш перевод, свяжусь с нашими людьми в городах, которые придутся вам по душе.

Она откинулась в кресле и улыбалась. Увидев выражение её лица, мистер Осборн коротко добавил: «Это всё, можете идти, я пришлю к вам посыльного с пишущей машинкой».

Наша девушка шла по улицам, словно уже была в дальних краях. Некоторые прохожие даже оборачивались ей вслед. Наконец она добралась до своей комнатки; пододвинула свой единственный стул к окну и села смотреть через проулок на кирпичную стену напротив. Но девушка не замечала ни проулок, ни высокую стену – перед ней проносились реки, возвышались горы и леса. Она откинулась назад (что было непозволительной роскошью – стул был маленький и с низкой спинкой) и попыталась заглянуть за кирпичную стену, чтобы увидеть снежные вершины. Но усталость и невероятное предложение выбили её из привычной колеи. Она легла на кровать – истомлённая, но вся озарённая счастьем. Вскоре послышался шум воды – кто-то набирал ванну, потом это звук превратился в пение ручейка в лесу, и девушка уже не лежала на старенькой кровати, а тонула под сводом леса – прохладного, спокойного и наполненного ароматами. Но вдруг случилось что-то ужасное: лес загорелся, она задыхалась в дыму и жаре...

Она проснулась. Дым из соседнего здания просачивался в её комнату, вокруг жужжали мухи, её лицо и руки пылали.

...В последующие дни она работала мало. Печатная машинка не умещалась на стуле, комнату постоянно наполнял дым. Она не могла сосредоточиться, ведь впереди её ждало событие, которое изменит жизнь к лучшему. Странно, но её дальние дали, казалось, стали таять, её охватила апатия. Иногда она не могла их даже представить и решила, что это потому, что она действительно туда едет.

В конце недели девушка пошла в контору со своей работой. Устроил ли мистер Осборн её перевод? Скажет ли он дату её переезда?

Однако ей не удалось увидеться с мистером Осборном. Секретарь сказал, что начальника нет на месте. Девушка хотела было узнать, не оставил ли мистер Осборн для неё записку, но молодой человек, с которым она разговаривала, уже беспечно отвернулся. Её старое место было занято, и, похоже, никаких перестановок не намечалось. Все в конторе, казалось, были погружены в работу. У неё задрожал подбородок, и она отвернулась.

Девушка вышла из конторы, и её охватило странное чувство: земля словно дрожала под ногами, ей мучительно захотелось схватить кого-нибудь за руку и сказать, что нужно действовать сейчас же; она испугалась, что закричит, что не может ждать дольше.

Она перешла улицу и увидела впереди маленький магазин, в котором продавали предметы искусства – там висела её прекрасная карти-

на. Она-то и доказывала, что все её мечты – правда. Девушка по привычке ускорила шаг. А раз всё воображаемое ею правда, то верно и то, что мистер Осборн устроит ей перевод. Картина укажет, что всё в порядке.

Но её ждало жестокое разочарование: волшебство картины обмануло её. По-прежнему прекрасная картина казалась теперь очень далёкой и недостижимой. Девушка больше не могла оказаться по ту сторону рамы. Теперь это было лишь полотно, изображающее сосновый лес, и он был далёким и чуждым.

Сквозь витрину она увидела старичка, хозяина магазина, – тот стоял к ней спиной. Она хотела было зайти и попроситься посидеть, но подумала, что тот скажет ей что-нибудь грубое (ведь это был очень чудной старик), а она расплатится. Девушка не знала, что он видел её каждый вечер, что он отчаянно пытался разыскать её и что он был бы рад и добр. Она не знала всего этого, поэтому побрела домой, ещё более одинокая, чем раньше.

В понедельник она поняла, что не может больше ждать. Медлить нельзя. Она хотела идти к мистеру Осборну, но сборы отняли у неё много сил, и она присела отдохнуть. Она устремила взгляд на высокую стену напротив, но ничего не смогла разглядеть за ней. Девушка пересчитала кварталы, размышляя, сколько улиц ей придётся пересечь. Тут пришла мысль, что мистеру Осборну можно позвонить. Ей сказали, что мистер Осборн уехал, его не будет две недели. Никто в конторе не слышал о её переводе.

Когда она снова поднялась к себе в комнату, то тихо заползла на кровать и потом лежала там неподвижно.

Она пролежала так целый день, и перед ней были лишь узкий проулок да высокая кирпичная стена. Она утратила свои горы и леса, реки и озёра. Девушка старалась вновь их представить, но чувствовала себя запертой. Горные вершины заслоняла стена. Она попыталась заговорить с пиком, который видят жители Портленда, но слова разбивались о стену.

Вечером она почувствовала себя в ловушке, стала задыхаться в неволе. Она должна сейчас же пойти к картине и увидеть свою страну, иначе та исчезнет навеки. Девушка поднялась и пошла к ней. Это был долгий, очень долгий путь, полный препятствий: на узких петляющих улицах на неё постоянно натыкались прохожие, её чуть не задавила упряжка лошадей. Но она упорно шла вперёд. Она должна была это сделать, ведь воздушные замки и мечты, которыми она жила, ускользали от неё, тонули, а она оставалась в одиночестве.

Она продолжала идти, не зная, удастся ли ей сделать следующий шаг, боясь, что люди затопчут её. Улицы то спускались, то поднимались в гору, здания нависали над ней; она подходила к магазинчику, цепляясь за карнизы, а каждый шаг был переходом через пропасть.

Наконец она добралась до магазина. Девушка стояла, пошатываясь, перед витриной, за стеклом виднелось тёмное расплывчатое пятно. Она попыталась вспомнить, зачем она пришла сюда. Что же это было?.. Она чувствовала, что проваливается в пустоту.

Дальнейшие обстоятельства этой истории таковы: у неё открылось кровотечение, старик вышел и нашёл её, он заботливо отнёс её в свою лавочку, в которой ей уже следовало быть очень-очень давно...

Доктор сказал, что слишком поздно, и это было действительно так. Но глубоко под этими сухими сведениями лежит истинная правда: у этой истории, пожалуй, самый счастливый конец. То, что некоторые назовут потоком воздуха от электрического вентилятора, на самом деле было прохладным дыханием сосен. А когда медицинская сестра сказала: «Она уходит», то это было правдой: она уходила, отправлялась в огромную страну добрых ветров, прохлады и звонких рек. Ведь случилась удивительная вещь: она стала звать гору, и та услышала её голос и, будучи такой вечной и могучей, унесла её к себе сквозь высокие кирпичные стены, мимо миллионов спешащих, шумных людей. И гора сказала: «Я дарю тебе всю эту землю. Этот край твой, ты же так любишь его. Холмы, долины, речки, леса, озёра – все это теперь твоё!» Да, она уходила, чтобы погрузиться в долгий, сладкий сон под прохладными деревьями, рядом с чистым ручьём, который бежит с высоких снежных вершин – она действительно уходила в Дальнюю страну.



**Анастасия
УСТИНОВА**

Я С ЖИЗНЬЮ ИГРАЮ ВА-БАНК...

Ты уже не заложница тела,
Ты проснулась, и ты ожила.
Ты восстала, как феникс из пепла,
И не будешь такой, как была.

Рассчитаешься щедро с врагами.
Мечь черна и взлелеяна сердцем.
Эта мечь в тебе зрела веками...
Но закончилось дерзкое детство!

А пока наблюдай безучастно
За агонией взрослого мира...
И да будет твой взгляд беспристрастным –
Не твори себе в жизни кумира!

Мой друг, ты сегодня уйдёшь навсегда, наверно.
Вот полночь пройдёт, и закончится наша игра.
И станет совсем не опасна житейская скверна.
Когда настаёт, как расплата, печальных прозрений пора.
И пусть я тебя ненавижу, отныне не скрою:
Поверь, о потере своей я сейчас сожалею.
Ты был виртуальной эпохи типичным героем,
Хоть дружба нас делает хлипче, слезливей, глупее.
Порой не спасает от дружбы проклятый обычай:
Не быть, но казаться елейно-сусальным.
Так терпкая ненависть с чистой любовью граничит –

-
- Анастасия Валентиновна Устинова родилась в 1995 году в Оренбурге. Автор двух книг стихов и прозы – «Я иду по солнечному лугу» и «Стерва, или Эпоха по имени Люська». Публиковалась в журналах «Гостиный двор», «Русское эхо», «Молодёжная волна», «Арина», «Новый Енисейский литератор», в «Независимой газете» и др. Лауреат литературных премий «Чаша Бытия», «Роза ветров». Студентка факультета документоведения Самарского государственного института культуры и искусства. Руководитель народного литобъединения «Отчий Дом» Самарского отделения Союза писателей России. Живёт в г. Новокуйбышевске Самарской области.

Немыслимо, странно, причудливо, парадоксально.
Напрасно ты, словно убийце, доверился другу.
Убийца тебя пожалел бы, а друг улыбнётся,
Ступив, как палач, за периметр вещего круга,
Где ненависть страстной любовью порою зовётся.

Я с жизнью играю ва-банк.
Ведь я осознала не вдруг,
Что каждый завистливый – враг,
А враг – это лучше, чем друг.

Любимый ступил на порог
И стал испытанием меня.
Зато научить меня смог
Быть льдиной в объятьях огня.

Мой друг, ты меня насмешил
И сам себе нынче не рад..
Ты стать мне врагом поспешил,
Быть другом страшнее в сто крат.

Азарт закипает в жилах.
Звон стали гудит в тебе.
Я больше уже не в силах
Твоей угождать судьбе.

Твоя не нужна мне милость!..
Я, как никогда, сильна.
Когда б пред тобой склонилась –
Кому б я была нужна?

Один из нас должен выжить.
Но я же тебе не враг:
Тебе позволяю вырвать
Победу, ныряя во мрак.

Ты вряд ли меня забудешь.
Себя победивший, живи!
Но вряд ли ты счастлив будешь,
Попавший в прицел любви.



**Нелли
КРЕМЕНСКАЯ**

НАЧАЛО

ПЕРИКЛ

Во рту было сухо. Язык не ворочался. Я сглотнула ежа, застрявшего в горле, и после длительной паузы, запинаясь, тонкой фистулой просипела:

– Перикл... Перикл был домосед.

Она улыбнулась:

– Наверное, это не самое главное его качество.

– Да-да, разумеется, – с готовностью согласилась я.

И опять замолчала. Ну не дочитала я учебник по античной литературе. А что проглотила сегодня ночью, убей не помню. Впрочем, до Перикла я всё-таки дошла. Надо собрать себя в узел, сосредоточиться, глядишь и порадую преподавательницу хоть какими-то знаниями. Что-то у Перикла там с демократией... Вот об этом и надо говорить... Только что?..

Я внутренне подобралась, глубоко вздохнула и неожиданно для себя выпалила:

– Перикл был домосед.

Откуда я взяла, что он был домосед? Из учебника, наверное, отпечталось. Не сама же придумала. Вот заразы, засоряют книги ненужными словами и сведениями, а ты расплачивайся!

Глаза Розалии Павловны устало и безнадежно метнулись в небо. Кажется, ей начало надоедать скучное однообразие моего ответа. Она вскинула брови, но... вскипевшее раздражение сдержала. Необычайной деликатности она была. И волнение студента понимала. И всё ещё надеялась заполучить хоть какие-то крохи моих познаний.

– Пожалуйста-пожалуйста, говорите всё, что знаете. – Она снова ободряюще улыбнулась.

Я сознавала позор своего идиотизма. Ярким пламенем он полыхнул на щеках, потным бисером выступил на лбу.

Это был мой первый в жизни экзамен в университете (не считая вступительных, конечно), и я понимала, что неотвратимо и с треском проваливаюсь в тартарары. В голове закрутилось торнадо. Что-то срочно надо вспомнить...

Во! Точно! Парфенон – храм Афины! Это же Перикл построил!

Я опять слотнула ежа (и откуда только они берутся?!) и пропойным басом прохрипела:

– Перикл был домосед.

Сказала и тут же поняла, что положила голову на плаху. В ожидании удара топора взглянула в лицо палачу. Розалия Павловна чудовищными усилиями сдерживала смех, но он бурлил в ней, клокотал и неудержимо рвался наружу. Я чувствовала, что топор угрожающе повис над мной, но всё же беззлобный смех её растопил стальной каркас в моём теле. Я расслабилась и тоже засмеялась.

Ах, первый экзамен! От него могут зависеть дальнейшая учёба и даже судьба. Тогда я ещё не понимала этого. Зато понимала, что, несмотря на веселье, Розалия Павловна сейчас без колебаний укажет мне на дверь.

Розалия Павловна была старой девой. Кроме античной литературы, у неё в жизни ничего не было. Среди студентов и преподавателей ходило множество анекдотов о её беззаветной любви к древним грекам и римлянам. Но за эту же любовь и природную, какую-то аристократическую деликатность и сочувствие каждому человеку её бесконечно и безусловно уважали даже самые беспощадные насмешники и охальники. Именно это сочувствие и подвигло её дать мне ещё один шанс, хотя, судя по всему, безнадежный.

– Ну, бог с ним, с Периклом. Что вы знаете о Вергилии?

Но фейерверк снова не захотел взрываться и цвести в тёмном небе моего скованного сознания. Хотя я знала, о чём говорить. Слова, простые русские слова я помнила, а связать их не могла.

– Вергилий... Значит так... Вергилий... «Буколики»... По-моему, и «Георгики»... Да! «Энеида». Конечно-конечно, «Энеида». Его главный труд... Он написал... Уже не грек – римлянин... Поэт... Значит...

– Очень хорошо.

В голове мелькнуло: издевается.

– Скажите, какие тексты вы читали из рекомендованного списка?

– Все.

Готовясь к экзаменам, учебник прочитать я не успела, зато всю художественную античную литературу утюжила и утюжила, вчитываясь в незнакомые имена и события, запоминая приключения богов и героев.

Она не поверила. Слишком предсказуемы эти студенты – врут часто.

– Что вы можете сказать об античном театре?

Она хитрила: бурное развитие искусств в Афинах (театра, живописи, скульптуры, архитектуры) тоже было связано с Периклом. И я внезапно вспомнила об этом.

И тут во мне что-то произошло. Я забыла, что сдаю экзамен. Какой-то клапан открылся, и слова полились водопадом. Шипя и брыз-

гая разноцветными искрами, петарда взметнулась в небо и озарила его. Я начала просвещать Розалию Павловну: говорила о творениях Эсхила, Софокла, Еврипида, Аристофана. Я советовала ей не забывать о них, ибо не спроста две с половиной тысячи лет человечество вновь и вновь обращается к ним. Кстати, сообщила, что Софокл был другом Перикла, как и величайший скульптор Древней Греции Фидий.

Я говорила и говорила. Не разбирая дороги, взмыленный конь бежал и бежал по цветущему полю. Вилась грива от ветра, играли мышцы, чёткий ритм отбивали подковы. И должно, должно было оказаться на пути препятствие, которое если и не остановит, то замедлит ход коня!

Я вырвала у бедной Розалии Павловны карандаш и в такт своим словам так громыхала им по столу, что, опасаясь прервать меня (чтоб снова не заклинило), от греха подальше она откинулась на спинку стула. Но от меня не уйдёшь! Я придвинулась к ней, взмахнула рукой и... опрокинула вазу с цветами. Извинилась, торопливо нагнулась и стала складывать мокрые осколки и цветы ей на колени.

– Нет-нет, пожалуйста, вот сюда, на стол. А лучше всего оставьте это. Не обращайтесь внимания.

Я очнулась. Увидела разбитую вазу и взглянула на себя со стороны. И поняла: в собственных глазах и в глазах этой милейшей женщины я навсегда останусь пациенткой психоневрологического диспансера.

Так и есть. И без того донкихотское лицо её стало ещё длиннее. Она глядела на меня с испугом и удивлением.

– Вы что, читали великих античных трагиков?

Я махнула головой.

– Всех?

– А как же!

И чего спрашивает?! Велено было прочитать. Я прочитала.

Похоже, она вошла в азарт.

– А поэмы Гомера? Читали их?

– Еще бы! – Я презрительно взглянула на неё: опять вопросы какие-то задаёт... странные...

Она опять не поверила.

– Откуда взялось выражение «Ахиллесова пята»?

– Чтобы сделать будущего царя Ахилла неуязвимым, мать при рождении окунула его в воды подземной реки Стикс. И только пятка Ахилла, за которую она держала, осталась незащищённой. В неё-то и пустил стрелу... по-моему, Парис.

– А что такое – «гомерический хохот»?

– Однажды Зевс в ярости швырнул с Олимпа бога огня и вулканов кузнеца Гефеста. Тот летел весь день и упал, повредив ногу. – Я хихикнула: «Всего-то!» – Вновь вернувшись на Олимп, Гефест в кубки наливал богам нектар. А они хохотали над его хромотой. Всё это описал Гомер. Отсюда и выражение. Какие-то боги... бессердечные. Пьют, хулиганят, изменяют друг другу, предают. Не пристало им пакостные человеческие качества иметь. Боги всё-таки...

Меня уже было не остановить. Конь перемахнул препятствие и вновь мчался к горизонту. Я убеждала Розалию Павловну, что,

несмотря на склочность, мстительность и непомерную любвеобильность богов, эпические поэмы Гомера – это диво дивное, это – одно из семи чудес света, это – зародыш красоты мысли, из которого роскошным пышным цветком выросла дальнейшая человеческая культура. Словесный потоп залил Розалию Павловну по самую макушку. Она с трудом пыталась выбраться из него, но я долго не слышала криков о помощи.

– Стоп... Стоп! Стоп! Достаточно.

Я остановилась. Внезапно. Словно по лбу треснули.

Вот зря она так! Вобла тощая! Сказать не даёт! Всё время прерывает... На пересдачу теперь отправит...

Она взирала на меня с любопытством. И, пока я кипела (дала бы высказаться, может, на трояк натянула бы!), она взяла мою зачётку и что-то написала. Не глядя, я обречённо забрала её, вышла из аудитории и только в раздевалке открыла зачётку, чтоб полюбоваться на «неуд», сыпануть соль на рану и ещё больше почувствовать себя несчастной... И ахнула...

Я вышла на улицу. Только что прошёл снег. Над городом ещё бродили тяжёлые тучи, но уже полыхнуло солнце. Я подошла к молодой, согнувшейся под тяжестью снега берёзе и сильно толкнула её. Миллионы сверкающих снежинок обрушились на плечи, на голову. Я раскинула руки и во всю мощь лёгких ликующе заорала в небо:

– Ура! Отлично ведь!

ДАРЫ НЕВЕДОМОГО МИРА

...Мне четырнадцать лет. Передо мной – раскрытый учебник. Но я смотрю поверх него. Пахнет масляными красками и растворителями: рядом срисовывает какую-то картинку папа. Мольбертом ему служит стул, к спинке которого он прислонил загрунтованное полотно, туго натянутое на подрамник. Забывшись, как испорченная пластинка, он напевает один и тот же отрывок из песни: «Плывёт луна-а, любви помощница...» Продолжения он не знает и потому через минуту начинает снова: «Плывёт луна-а, любви помощница...»

Рисует папа давно. Мне скучно. Я тоже давно сижу над учебником и считаю, сколько раз он пропоёт этот мотив. Уже сорок один. Я понимаю увлечённость папы и бездонность счёта. Но больше не выдерживаю и потому ядовито сообщаю ему зафиксированную мною цифру.

– Неужели? – Папа поражён. – А я и не заметил.

– С середины ещё начала считать, – склочничаю я.

– Чем глупостями заниматься, помогла бы мне. Садись. Продолжай. Он кладёт кисть и с трудом разминает затёкшие ноги.

– Вдруг испорчу? – Я в нерешительности.

– Попробуй. Потом поговорим.

На полный мах он включает радио, и комнату в коммуналке заполняет серебряный голос Робертино Лоретти. Нежно и грустно, так, что плакать хочется, какое-то время плавает в воздухе удивительная

мелодия в исполнении гениального мальчишки. И «аромат» половой тряпки и горелого масла, варёной картошки и постных щей – словом, запах бедности большой семьи, душный воздух тесного коммунального жилья растворяется в синем небе средиземноморья, пенная волна обрушивается на песчаный берег, и на ослепительный солнечный шар, расправив крылья, летит чайка, вестник далёких райских стран, сказочных путешествий и забавных приключений.

Растопил он душу мою, размягчил. Куда делось подростковое критиканство, исчез страх перед новым и неведомым для меня делом.

Отгородившись от всех, я рисую несколько часов. До изнеможения. Не помню, что пою и пою ли что-нибудь. Не знаю, хорошо делаю или плохо. Но оторваться не могу. Конечно, в раннем детстве и я рисовала, но тот острый интерес к творчеству, который испытала сейчас, та увлечённость, которая вспыхнула при работе с масляными красками, меня захватили впервые.

А Робертино поёт и поёт. И чайка всё машет крылами. И ревущая зелёная волна, отступая, оставляет на песчаном берегу дары неведомого мира.

– Вот это здорово! Я бы так не смог!

Вздрагиваю от папиного восклицания.

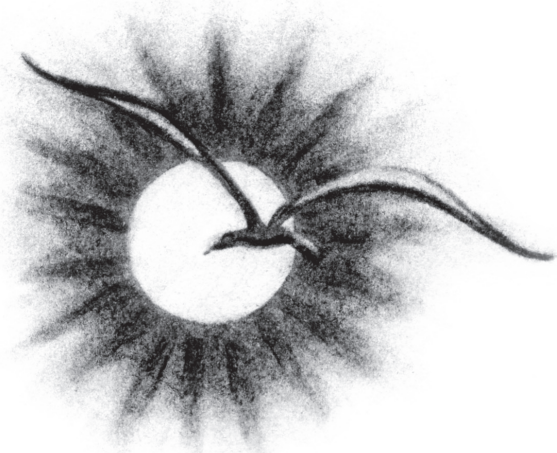
Слова эти вдохнули веру в меня и в какой-то степени определили дальнейшую жизнь.

Этот первый, ещё детский опыт творчества был так увлекателен, так сладок, так мощно потянул в свой дурманный омут, что, раз ступив в него, я уже и не пыталась выбраться. И омут этот раскрыл передо мной причудливую жизнь, раскрасил её, увёл в свои извивы, показал те её стороны, которые навсегда могли быть скрыты от меня. Я попала в волшебное царство красоты, пыталась вить собственные узоры.

Прошли годы. Но интерес к изобразительному творчеству не угас. Так сложилось, что художественного образования я не получила. Но раза четыре-пять в год ездила в какой-либо город на выставку. Часто на выходные отправлялась в Москву и Ленинград. Живопись признавала только в оригиналах.

Поклониться гению Чюрлениса я уже не раз ездила в Литву. А в один из летних отпусков занесло меня в каунасский музей чертей. Видимо, дух этого музейного чёрта и подтолкнул меня заняться резьбой по дереву. Не успела вернуться домой, как тупым перочинным ножом стала вырезать маску.

Боже! Как трудно мне дался этот Мефистофель! От тупого ножа с лезвием, которое просто невозможно было заточить, руки моментально заныли от кровавых мозолей. От волнения и усердия пот





заливал очки, капал с подбородка, а во рту было словно в центре Аравийской пустыни в разгар самума – ни капли влаги. Но, как лосось, преодолевая течения, пороги и буреломы, сломя голову я неслась вперёд, и было всё равно, отрежу себе палец или голову, с силой воткну нож в дерево или в ногу, главное – сотворить то, что нарисовало воображение.

Как строгать, что получится, если копнуть в том или ином месте – понятия не имела. Наверное, такое же чувство боязни, недоумения и растерянности испытывает человек, оставленный посреди дремучего леса. Ты волен пойти в любую сторону, но вопрос – доберёшься ли до нужного тебе места. И ты медленно и осторожно пойдёшь в одну сторону, потом повернёшь в другую, в третью... Только в резьбе почти невозможно вернуться на прежнее место.

После Мефистофеля я запоем стала кромсать дерево. Друзья и знакомые ломали заборы и притаскивали мне материал для резьбы, предлагали стволы фруктовых деревьев, спиленных в садах. Шустрые бабульки во дворе с удивлением узнавали, что грузовик с брёвнами (ни много ни мало как прекрасная чистая липа) разгружается для квартиры № 10. Мы уже в кооперативной норе жили. Отдельной. Трёхкомнатной. Хотя о мастерской можно было только мечтать. Все мои жилые комнаты в девятиэтажном доме были завалены брёвнами, досками, стволами, палками.

...И вот однажды прозвучал настойчивый телефонный звонок. В трубке – голос моей давнишней подружки Марины, научного сотрудника областного художественного музея.

– Наталья, у нас в музее объявлен третий тур смотра-конкурса самодеятельных художников. Даём объявления в газеты, на радио и телевидение.

– А я тут при чём?

– Как при чём? Кому же и участвовать в этом конкурсе, как не тебе?

– Да что ты! Я дилетант. К тому же – третий тур. А первые два пролетели мимо.

– Ну и что?

– Не возьмут на третий.

– Возьмут-возьмут. Главное – качество. Чем рискуешь? Я видела некоторые уже собранные работы мастеров. Ей-богу, твои не хуже! Если мне не веришь, представь свои работы нашим организаторам. Авось не съедят...

Может, и правда не съедят? Но страшно боюсь суда людского. До сих пор деревянными изделиями восхищались родные и друзья.

Я понимала, что они слишком снисходительны ко мне и сознательно подкидывают хвалебные поленья, чтобы огонь желания что-то мастерить в зародыше не погас. И я им безмерно благодарна за это. Но тут, на областной выставке, церемониться со мной не станут, и от любого косога взгляда или пренебрежительного суждения о скульптурах я пропаду, испарюсь, провалюсь, самоуничтожусь. Да и до выставки дело не дойдёт. Марина, что, – она свой человек, доброжелательный. Просто подружка. И никогда её мнение я не связывала с её профессией. А вот чужие специалисты взглянут на мои резные деревяшки, хмыкнут и, даже не удостоив ответом, повернутся ко мне спиной. Бр-р. Не переживу!..

Лишила меня покоя... Металась. Ночь не спала. Пришибленная, раздражённая, пришла на работу. Я тогда социологом работала. Огляделась.

Нино Бараташвили с Возгеном склонились над бумагами, что-то обсуждают. Никита Дьяков пшикает себе в рот из какого-то пузырька: у него астма, видно, неважно себя чувствует. Лёшка Круглов, не обращая внимания на присутствие начальника, похоже, сочиняет стихи. Задумался над толстой тетрадью и грызёт карандаш. О чём-то шепчутся две женщины средних лет, сидящие за одним столом. Пиджак Володи Крылова на месте, но самого, конечно, нет.

– Друзья! Прошу внимания! – Костяшками пальцев постучала по столу.

Возген и Нино обернулись. Никита спрятал в карман пузырёк. Женщины перестали шептаться и подняли головы. И только торчащие, давно немывтые волосы Круглова не дрогнули.

Рассказала социологам о смотре-конкурсе.

– Показывать мне свои работы или нет? Как скажете, так и сделаю.

Ну не могу решить сама. Пинок нужен. И я его получила. Первым со своего места неожиданно заорал сидящий ко мне спиной Круглов:

– Показывать!

Потом заговорили остальные:

– Гарантирую, к стенке не поставят. Не бойсь!

– Вылезай из своей норы!

– Пора-пора выходить на простор морской волны.

И вот с огромным кожаным портфелем сижу на лавочке в сквере художественного музея. Передо мной – высокая изящная женщина с довольно редкими взбитыми кудряшками и миндалевидными голубыми глазами во всё лицо. Она нетерпеливо переминается с ноги на ногу и кидает скучающий, равнодушный взор на мой портфель.

– Ну показывайте, что у вас там.

С недоумением перевожу взгляд на портфель и вдруг спохватываюсь:

– А нет! Мои изделия в портфель не спрячешь.

Оказалось, живём мы рядом, на одной улице. Завтра она забежит ко мне и, если работы того заслуживают, отберёт их на выставку.

Опять ночь кувыркком. Опять я в волнении.

Глазастая искусствоведка отобрала шесть работ. Счастью моему не было предела.

Выставка проходила в знаменитом на всю страну областном художественном музее. В трёх больших залах экспонировались живопись, чеканка, резьба по дереву, вышивка, вязание. Да чего там только не было! Даже художественные изделия из стекла! Даже гобелены! Даже... Ну много всего!

Из шести отобранных моих работ представлены были четыре. Зато деревянный портрет Дон Кихота стоял на подиуме в центре зала, на самом видном месте. Это была первая в моей жизни скульптура.

И всё же на вернисаже я пряталась за спины мастеров и многочисленных посетителей. Какая-то непонятная робость охватывала. Но всё прошло благополучно: меня не привязали к позорному столбу, не изжарили на костре и даже не закидали тухлыми яйцами.

На закрытие выставки, где подводились её итоги, меня почему-то не пригласили. И понятия не имела, когда оно состоится. Только однажды вечером проходила я мимо художественного музея. До конца рабочего дня оставалось несколько минут. «Взгляну-ка на свои работы. Как они выглядят на фоне других?»

С трудом открыла тяжёлую дубовую дверь. Яркий свет полоснул по глазам. Множество народу толпилось в вестибюле. Суетились телевизионщики, вспыхивали фотоаппараты. В зал, где проходила выставка, было не пробиться. Едва протиснулась в него, как слышу: «Звание лауреата... присуждается... за резные работы по дереву...» Мать честная! Мою фамилию называют! Ноги вросли в паркет. От волнения уши словно заложено ватой. И только звон в голове. Перед глазами всё качается и плывёт. Улыбающиеся лица выпихивают меня из толпы. Кто-то что-то вручает, кто-то пожимает руки, кто-то говорит хорошие слова, которых я в жизни своей ещё не слышала.



Это было столь неожиданно, столь приятно, что несколько дней не могла стереть со своей физиономии блаженную улыбку.

С тех пор на протяжении всей моей жизни творчество поднимало меня на орлиную высоту, где и воздух чище, и панорама шире, и низвергало в сырые и тёмные ущелья, где острые камни беспощадно рвали душу.

С тех пор изобразительное искусство да ещё литература оказались для меня теми вёслами, которые помогали преодолевать встречные течения, пороги и воронки на жизненной реке.



**Владимир
ВАРДУГИН**

ВЕДУЩИЙ ЗА РУКУ В МИР ПРЕКРАСНОГО

Более 70 лет назад, в весенние каникулы 1943 года, по инициативе нашего земляка – писателя Льва Абрамовича Кассиля в Москве устроили «Неделю детской книги», и эта «Книжнина неделя» (по словам Кассиля) с тех пор стала традиционной и проводится по всей стране. Сегодня наш рассказ – о человеке, всю жизнь прослужившем детям и детской книге.

Шура Белоглазова научилась читать раньше, чем пошла в школу. Поначалу она просто с лёта запоминала всё, что читала ей мама, Екатерина Григорьевна, водя пальчиком по строчкам, повторяя наизусть слышанное, – и прослыла книгочейкой. Обман обнаружил дядя Никита, мамин брат, зашедший как-то вечером к ним на огонёк. Однако смеяться над племянницей не стал, а пока готовился ужин, показал, как складывать буквы в слова. Сметливая девочка вскоре и в самом деле стала бойко читать и теперь уже не просила об этом маму, а усаживала её на скамейку и сама ей читала. Благо, выручали Шурины двоюродные сёстры (а их в селе Крутец Салтыковского района, ныне

-
- Владимир Ильич Вардугин родился в 1955 году в г. Энгельс Саратовской области. Окончил редакторско-издательский факультет Московского полиграфического института. С 1973 года работает в саратовской прессе. В 1985–1991 гг. – редактор отдела прозы, затем отдела публицистики республиканского литературного журнала «Волга». В 1990-х годах работал ответственным секретарём краеведческого журнала «Гонец», затем – главным редактором Приволжского книжного издательства (1997–2005), издательства «Надежда» (1992–1998). С 2004 года и по настоящее время (с перерывом в 2007 году) возглавляет отдел публицистики журнала «Волга–XXI век». Автор многих публицистических книг. В настоящее время работает редактором основанной им ежесемейной газеты Саратовского общества трезвости и здоровья «Вопреки». Ведущий корреспондент газеты «Русская речь» (Саратовская региональная общественная организация «Русская Община»), ответственный секретарь. Член Союза писателей России.

Ртищевского, обитало много: Маша, Валя, Рая, Лида, ещё одна Лида) и многочисленные подруги. Когда детвора собиралась в доме Белоглазовых, комната превращалась в... школу: Шура рассаживала детей «по партам», а сама изображала учительницу. А то ещё придумала игру в библиотеку, конечно же, взяв на себя роль библиотекаря. Большая табуретка служила столом выдачи книг, расставленных на полке, которую соорудил для детских книг отец, потомственный кузнец.

Увы, счастливое детство кончилось рано. В 1939 году, когда умер Борис Макарович, Сашин отец, ей исполнилось только пять лет. А через два года началась война. И так неизбалованные, сызмальства привыкшие к труду сельские ребятишки стали работать наравне со взрослыми. Им, как и колхозникам, давали план: прополоть грядки, собрать на свекольной плантации за день пол-литровую бутылку долгоносиков. Спрашивали без снисхождения к малолетству. Как-то раз, отдыхая в лесочке от изнурительного труда, Сашина двоюродная сестра Валя накидала в бутылку с долгоносиками камешков, чтобы поскорее наполнить ёмкость вредителями. «Что ты, заругаю!» – отговаривала пятилетнюю сестрёнку от плутовства Саша, но та не слушалась. Конечно же, и влетело ей за обман от колхозного учётика! В обязанность малышей входила доставка воды в поле: принесть в трёхлитровом бидончике водицы маме, прижмётся к ней – и так радостно на душе: и я помогаю!

В 1944 году и в дом Белоглазовых пришло горе: брат Екатерины Григорьевны – генерал-лейтенант Ефим Григорьевич Пушкин погиб смертью храбрых 11 марта в Николаевской области и похоронен в городе Днепропетровске – в том городе, за оборону которого в августе 1941 года командиру 8-й танковой дивизии Ефиму Пушкину присвоено звание Героя Советского Союза. Вообще-то, его фамилия с рождения была Чушкин. Род Чушкиных испокон века славился разведением скота, отсюда и фамилия, но невеста Ефима сказала: «Ни за что не стану Чушкиной!», и красноармеец, прошедший всю гражданскую войну, сдался: пошёл в паспортный стол и переправил первую букву в фамилии. В Крутце ныне главная улица, на которой жили и Белоглазовы, и Чушкины, названа именем Пушкина – не поэта, а героя-односельчанина.

И всё же, несмотря на войну, главным для детей оставалась учёба. В Крутце окончила Саша Белоглазова семилетку, а уже после войны ходила за пять вёрст в Салтыковку, училась в старших классах, за уроки нужно было платить сто пятьдесят рублей. Не раз встречал её на пороге школы классный руководитель Александр Герасимович Фляжников и тут же провожал: «Белоглазова, опять за тебя не заплатили». Выручали старшие сёстры, Женя и Мария, жившие уже своими семьями (обе – учительницы), да сама Екатерина Григорьевна, бывало, продавала тыквенные семечки, овощи с огорода, зарабатывала и шитьём (в колхозе-то платили только палочками-трудоднями, на которые выдавали продукты). От неё и Саша научилась шить, обшивала сама себя, полагая, что она мастерица, пока не встретила (это когда уже в Саратове стала жить) Екатерину Петровну

Куракину, маму своей подруги, – вот та действительно была рукодельницей! У неё потом Саша два десятилетия заказывала себе обновки.

Саша Белоглазова хотела учиться и дальше, в институте, но понимала, что должна сама заработать себе на учёбу. Прасковья Михайловна Слепова, единственная её знакомая в Саратове (она родом из соседнего села Елань), попросила свою подругу-односельчанку Марию Васильевну Лукашину, инспектора в областном управлении культуры, похлопотать за Сашу. И та буквально за руку привела Белоглазову к Александру Григорьевичу Смирнову, директору областной библиотеки (располагалась она там же, где и сейчас: на улице Горького, 40), который в тот момент, летом 1952 года, как раз набирал группу учеников. При библиотеке открыли курсы, чтобы занять жён тех партийцев, которых прислали учиться из районов области в Высшей партийной школе.

С утра ученицы осваивали азы библиотечного дела, а после обеда были практические занятия. Александру определили в библиографический отдел помогать заведующей Анне Дмитриевне Ведищевой и старшему библиотекарю Раисе Петровне Батуриной. Подшивала газеты, училась составлять списки книг, различные справки. Однажды обе её наставницы разболелись, и Александра самостоятельно справилась с составлением каталога книг по истории революции 1905 года. Ретивую ученицу штатные библиотекари даже осаждали: «Ты за день двести карточек вместо ста успеваешь написать, так и нам норму повысят. Лучше книгу почитай: положи её на колени, а если войдёт начальство, не пугайся, а не спеша положи книгу на стол, будто ты за ней в стол полезла».

Однако читать украдкой молодой специалист не стала: ещё столько непознанного в профессии! Присматривалась к старшим коллегам, охотно вникала во всё, помогая всем, кто попросит подсобить. Окончила курсы, получила «корочки», о которых её старшие товарищи отозвались как о недостаточном для профессионала документе: «Курсы – хорошо, только надо тебе в институт поступать». И она в 1954 году выдержала вступительные экзамены в Государственный библиотечный институт, на заочное отделение. Два раза в год ездила на сессию на подмосковную станцию Левобережье (возле Химок, там располагался библиотечный вуз).

Чему учили в институте? Многому. Это на первый взгляд кажется, что быть библиотекарем просто – выдавай себе книги, да и всё. Изучали и Древнюю литературу, и новейшую, все курсы истории – от античности до наших дней (как шутили студенты, от Адама до Потсдама; Потсдам – город, в котором прошла конференция по обсуждению послевоенного устройства мира).

С изучением новейшей истории вышла у Белоглазовой своя курьёзная история. В январе 1956 года отправила она на проверку курсовую «Роль И. В. Сталина в Великой Отечественной войне», преподаватель замешкался и не проверил её сразу, и, когда Белоглазова приехала на сессию, её не допустили до экзаменов: «У вас курсовая не зачтена». Стала разбираться, и оказалось, что поскольку в феврале XX съезд партии осудил культ личности Сталина, то и курсовая её

«устарела», нужно было бы поменять тему на «Роль партии...»). Добилась встречи с тем профессором, настояла на своей правоте: «Я же в январе писала, если бы вы сразу проверили, то пятёрку бы поставили!» Под её напором администрация сдалась, к экзаменам её допустили.

Кроме общих предметов – истории, литературы, русского языка – изучали, конечно же, и специальные: библиография, каталоги, систематизация книг, работа с читателями, художественное чтение. Писали курсовые, например, на тему «Твоя любимая книга». Белоглазова рассказывала о «Двух капитанах» Вениамина Каверина. На экзамене требовали выразительно прочитать наизусть стихи. А как же иначе: библиотекарь должен подавать пример детям, как нужно декламировать стихи, должен уметь прививать ребятишкам любовь к изящному слову.

Почему именно детям? Потому что Александра Борисовна с марта 1955 года перешла на работу в областную детскую библиотеку имени А. С. Пушкина, одновременно переведясь с библиографического на детский факультет. Однажды попала она в Пушкинскую библиотеку (из областной послали за альбомами) и как увидела полки с Ж. Верном, М. Ридом и другими чародеями приключенческой литературы, так и забожилась перейти сюда. В конце 1954 года как раз расширяли штат детской библиотеки, и Александра Борисовна подала заявление. И хотя для неё поначалу не хватило места (зачислили более опытных претенденток), всё же исполнились слова Раисы Петровны Батуриной: «Если хочешь там работать – будешь работать!» Когда Александра Борисовна в очередной раз наведася узнать, берут ли её в «Пушкинку», ей сказали: «Что-то библиотекарь с «Корпуса» не выходит на работу, узнай, может, она откажется от перехода к нам». Как на крыльях возвращалась с завода: та действительно передумала менять место работы. Так 9 марта 1955 года Александра Борисовна Белоглазова впервые переступила порог областной детской библиотеки в качестве библиотекаря. И более шести десятилетий прожила здесь в окружении книг и ребят, отдавая всю себя любимому делу.

За эти годы трудилась во всех отделах, кроме хранилища (абсолютная тишь библиотек, без общения с детьми, её не привлекает). Начинала библиотекарем в отделе для младшего школьного возраста. Освоилась, подружилась с малышами, устраивала им утренники, с практики «срисовывая» теоретические выкладки для курсовой по теме «Работа с учащимися младшего возраста с литературой по временам года», используя сказку Самуила Маршака, с которым познакомилась в Московском Доме книги – в институте устраивали для студентов встречи с классиками детской литературы: Корнеем Чуковским, Агнией Барто, Сергеем Михалковым.

Помогать малышам ориентироваться в море книг ей очень нравилось. Но тут её повысили – назначили старшим библиотекарем, переводя, однако, в другой отдел и прибавив зарплату. А она... расплакалась: как я буду без своих ребят? Но ребята же её и успокоили. Граница между младшим и средним возрастом – пятый класс. И когда в сентябре Белоглазова всё же стала выдавать книги пятиклассни-

кам, к ней пришли... её любимые читатели, которые за лето выросли и перешли из четвёртого класса в пятый. А через год и бывшие некогда третьеклассниками попали «в зону её внимания».

И снова – перемены. Теперь, когда Александру Борисовну назначили в методический отдел, которым руководил Марат Исаакович Стольниц (потом он два десятилетия, с 1965 года по 1985-й, возглавлял «Пушкинку»), «в зону её внимания» попали уже не дети, а взрослые: по долгу службы (именно по долгу, так как заведомо наставлял методистов: «Вы как солдаты: готовы всегда выехать») методистам приходилось выезжать в райцентры для оказания методической помощи тамошним служителям книги. Энгельс, Пугачёв, Ртищево – её подшефные города. И если Энгельс – под боком, то в дальних городах приходилось жить дней по десять, передавая свой опыт коллегам, выезжая во все сёла района, где располагались библиотеки.

Полтора года разъездов окончились переводом в отдел комплектования и обработки. Она первой стала знакомиться с новинками в библиоколлекторе и распределять их по сельским библиотекам, благо, теперь имела представление о специфике деревенских библиотек. Помнится командировка в Сосновую Мазу и в соседнюю с ней Болтуновку: описывали книги, помогали скомплектовать фонд, чтобы ребятишки отдалённого от центра Хвалынского района имели возможность читать те же книги, что и их сверстники в городах.

Вернулась снова к малышам, проработав семнадцать лет заведующей отделом младшего школьного возраста. Столько судеб начиналось на её глазах! «Запомнился мне Серёжа Далечин, – вспоминает Александра Борисовна. – У нас организовали кружок «Юный натуралист», и я предложила ребятам подготовить сообщения о рыбах. Серёжа принёс в литровой банке парочку гурами и подробно, очень интересно рассказал об этих рыбках. Таня Пилюгина каждый день ходила в читальный зал, книги стали её профессией: она и у нас работала, а сейчас заведует школьной библиотекой. Братья Мустафины – Дима и Саша. Когда мама привела записываться в библиотеку старшего, Сашу, четырёхлетний Дима расплакался, пришлось и его записать, и он охотно посещал библиотеку, научился читать. Дима стал учёным-химиком, живёт в Москве, его брат Саша тоже химик, но преподаёт у нас в СГУ. Борю Эздрин мама со скандалом привела к нам, он не хотел записываться. Я выяснила: он обиделся на маму – она не разрешила взять щенка домой. Пришлось пообещать ему, что будем давать ему книги только о собаках, а потом мама купит ему щенка. Он перечитал всё, что у нас есть по теме: книги Михаила Пришвина, Джека Лондона... Не знаю, чем сейчас занимается Боря, но благодарные читатели узнают меня на улице, и мы вспоминаем те дни, «когда деревья были большими», разные случаи из жизни, в том числе и курьёзные. Как-то студент университета привёл двух племянников, второклассника и третьеклассника. Записываю старшего, а младший всё время выскакивает с ответами. На вопрос, кем работает их мама, старший думает, как ответить, а младший выпаливает: «А моя мама – кассир в шарашкиной конторе». Студент (фамилию

не называю) страшно смутился, пояснив: его сестра работает кассиром в фотоателье».

Пришло время – и Белоглазова поднялась на предпоследнюю ступеньку в административной иерархии: главный библиотекарь. К административным обязанностям добавились и педагогические. Долгие годы Александра Борисовна преподавала и в книготорговом техникуме, и в третьем профтехучилище, вела и курс краеведения в Самарском институте культуры (у саратовцев-заочников). «Двадцать семь лет дополнительного стажа», – подводит итог своего педагогического труда Белоглазова. Но это если считать официально, документально. По сути, вся её жизнь посвящена воспитанию детей. Не счастье утренников, вечеров, уроков, других занятий с детьми, проведённых более чем за полвека. И о чём бы Александра Борисовна ни говорила с детьми, обязательно упоминает факты из истории нашего края. Краеведение – её конёк, любимое чтение и любимая тема. Сотни статей в местных газетах и журналах за подписью «А. Б. Белоглазова, главный библиотекарь отдела краеведения» (должность, которую с 1992 года, с момента образования отдела краеведения, первого среди библиотек Саратова, занимала ветеран библиотечного труда до своего ухода из библиотеки в январе 2016 года) познакомили земляков с замечательными писателями, учёными, космонавтами, прославившими землю саратовскую. За увлекательно написанные исследования краеведа приняли в Ассоциацию Саратовских Писателей, наградив медалью имени С. Я. Маршака.

«Космическое» краеведение – разговор особый, оно давно привлекает Александру Борисовну. Наверное, ещё с тех пор, когда и в космос не летали. Ведь приехала в Саратов почти одновременно с Гагариным. «Быть может, и встречались с ним на улицах», – предполагаю я, когда она уверяет: «С Гагариным я не встречалась». Хотя могла с ним и познакомиться. Её подруга Аня Шатилова дружила с Юрой, но так как была выше его ростом, то решила познакомить своего товарища с невысокой Сашей Белоглазовой. Уговорила Юру пойти в библиотеку, но не судьба: Белоглазова в тот день взяла отгулы и уехала в Крутец к маме.

Предположил, что книги по космонавтике она собирает, наверное, с того памятного апрельского дня, на что Александра Борисовна уточняет: с запуска первого спутника: «Помните, как по радио передавали его сигналы: «бип-бип-бип...»?» Смеюсь: «Нет, не помню, мне тогда и двух лет не исполнилось. А вот книжку под названием «Бип-бип» мне вручили на ёлке в первом классе, так что она моя первая книжка после букваря». – «Автора не помните?» – «Нет, только название». «Лена, посмотри!» – обратилась к Елене Анатольевне Королёвой, своей помощнице по отделу краеведения, и та, постучав по клавишам компьютера, обрадовала меня: «Есть! Сейчас принесу из хранилища». И через пару минут хозяйки книжных сокровищ подарили мне встречу с детством. Автором оказался наш земляк Фёдор Петрович Русецкий (1905–1966), он же и проиллюстрировал книгу, выпущенную Саратовским книжным издательством, в котором художник работал в 1950 по 1965 год, иллюстрируя свои же расска-

зы «Всякий Еремей своё дело разумеи» (1957), «Галочка-смекалочка» (1959), «Бип-бип» (1963), «Борин день» (1964), «Тим и Дим» (1967).

Тысячи книг в фонде «Пушкинки», лоцманами в этом море выступают библиотекари. И пусть сегодня малыши больше читают с экранов компьютеров, старая добрая книга не уйдёт из жизни, по-прежнему герои сказок и рассказов, пьес и романов будут манить воображение юных читателей. А главное – библиотека не столько хранилище книг, сколько «клуб по интересам», где можно встретиться со сверстниками, обсудить прочитанную повесть, сравнить своё восприятие героев повествования с тем, как увидели их твои товарищи. В случае спора – обратиться к незыблемому авторитету – библиотекарю, который и объяснит, и подскажет, и направит. А ещё – похвалит, когда на утреннике малыш впервые на публике прочитает наизусть стихотворение, а если сойдёт, запнётся в глаголах – подбодрит.

Не одно поколение читателей приучила к общению с книгой Александра Борисовна Белоглазова, продолжала сопровождать в мир книги уже и тех, кто родился в XXI веке. Некогда скучать, да и ребята не дадут закинуть, а потому нужно всегда быть в тонусе, успевать за временем, вести за собой детей, оправдывая звание педагога – с греческого это слово так и переводится: «ведущий за руку».



*А. Б. Белоглазова
с Юрием Николаевичем Вавиловым,
сыном великого генетика,
на «Вавиловских чтениях»
в Пушкинской библиотеке.
26 ноября 2009 года*



*А. Б. Белоглазова и Е. А. Королёва
с книгой Ф. П. Русецкого «Бип-бип».
8 февраля 2013 года*



**Валентина
ТАРХОВА**

«РАСТВОРЁННЫЕ В ТРОПИКАХ»

ЗАРИСОВКИ О ЖИЗНИ РУССКИХ В ВЕНЕСУЭЛЕ

(Главы из книги)

*Тем десяткам миллионов сограждан,
превращённых в изгоев,
которых лишили возможности жить
на своей земле и трудиться
на благо своего народа.*

ВСТУПЛЕНИЕ

Эти «Зарисовки» написаны в разные годы. Их целью было отобразить жизнь нескольких русских в Венесуэле, вернее, отдельные моменты их жизней. Как можно точнее, хотя ошибки и неточности не исключены, т. к. писались по памяти, иногда с чужих слов. Последнее явно грозило превратиться в «испорченный телефон». Но не проводилось тщательного расследования, а других средств не имелось.

Содержание бытовое, будничное. Но отображает и условия бытия, и характеры людей, и разные подходы к решению встречавшихся проблем. Читатели могут усмотреть в записках уроки для будущего, увидеть опасности,

-
- Валентина Михайловна Тархова родилась в 1942 году в Харькове. Ребёнком вместе с родителями была угнана в Германию. В 1947 году отец эмигрировал в Венесуэлу. Окончила Калифорнийский университет. В 1960–1970 годах вместе с отцом издавала в Каракасе литературно-художественный журнал «Русский уголок». Автор нескольких книг сказок, изданных в России. Живёт в столице Венесуэлы Каракасе.

к которым стоит подготовиться, наши изъяны, которые необходимо исправить. Искать способы преодоления. Или ничего не делать и падать «кажинный раз на этом самом месте».

Тарховы – жители приволжских краёв. Деда послали работать в Саратов, где в 1913 году родился мой отец, Михаил Владимирович. Во время гражданской войны, спасаясь от голода и тифа, семья приехала на Кавказ, к Тереку, там хоть как-то можно было существовать. Позже деда направили в Харьков. Отец там окончил институт, стал работать инженером-электриком. Моя мать, Елена Яковлевна Евпатченко, дочь мелитопольского казака. Окончила химический техникум, тоже работала. Поженились. В 1941 году началась война и родилась я. Отступая, наша армия сожгла все припасы. А это голод. Город несколько раз переходил из рук в руки. Повсюду смерть и разруха. Мать уже не могла сама ходить, я опухла от голода. Через две-три недели нас бы не стало.

В Германии попали в остовский лагерь работать. Всё время – бомбёжки. По тревоге бежали в бомбоубежища. Не все успевали... Вскоре завод и лагерь разбомбили и несколько семей послали в деревню, каждой дали комнату. Приходилось работать где попало, проявлять инициативу. Отец на дому делал домино, свечки, пробовал изготавливать матерчатые брошки (невыгодно), самогон, доставал и продавал воск (для натирания деревянных полов), кожи, собирал вишню для 73-летней хозяйки (и нас не забывал), ездил на велосипеде по горам и долам с большими мешками яблок для продажи или обмена, держал кур и кроликов, крал дрова. Давали карточки – но на них не разжиреешь. Одну зиму мы сидели на диете из яблок и хлеба. Редкая удача – кило сала – оно улетучилось за несколько дней. Но всё-таки мы с голоду не умерли. Больной, уставший, издёрганный, измочаленный, отец всегда что-то доставал.

Венесуэла, имевшая тогда 15 процентов мировых запасов нефти, искала трудоспособных людей для своего развития. Открыла двери европейской иммиграции. С большим трудом, с «приключениями», удалось получить визу. Сесть в самолёт.

Прилетели в Маикетию (аэропорт у моря) в июле 1948 года. Сразу поток новых необычных впечатлений. Послали нас на три недели в карантинный лагерь Эль Тромпильо. В тропическом лесу, со страшными «драконами» – игуанами (большие, около метра, ящерицы, вполне безобидные, для местных – съедобные). Дали десять долларов на нос. Тогда за доллар давали 3,30 боливара. Начиная жить как хочешь и как можешь. В тяжёлом, непривычном климате, с подорванным здоровьем, большинство без знания языка, без знакомств, многие без профессии – в войну учиться было сложно.

Через год-другой большинство хоть кое-как, но устроились. Через два-три года стали обзаводиться автомобилями, не новыми, в основном подержанными. Стали снимать квартиры получше, покупать землю, строить домики из ящиков, досок, блоков. Затем превращать их в качественные дома. Даже покупать готовые дома в рассрочку, на шесть-десять лет. Выучили язык, приспособились к местным условиям, еде.

Появилась тяга к общению. Начались церковные службы. Церкви – из ящиков, а потом нормальные – из блоков, оштукатуренные. Создали Русский дом, организовали театральный кружок. Детей учили музыке, гимнастике, балету. Проводили выступления, концерты, готовили доклады. Стали выпускать журнальчики, отпечатанные на машинке (тогда ручные, не электрические), размножать на стеклографе (сто штук с одной матрицы), раскладывать, скреплять, распределять, продавать. И читать. Обсуждать. Ругаться. Книги – клад. Их везли из России, Югославии, Франции, Германии, Чехии под обстрелами, прятали от бомб, перевозили через океан. Такие же «приключения» выпали на долю пластинок, тогда на 78 оборотов, тяжёлых. Стали выписывать и новые – из Нью-Йорка, Вашингтона.

К сожалению, разногласия между «первой», послереволюционной, эмиграцией и «второй», послевоенной, привели к развалу колонии в 1964–1965 годах. Отец был последним её председателем. Несмотря на его усилия, не удалось сохранить ни помещение, ни организацию. Потом были только разрозненные мероприятия, издания. Но о том, что в 1983 году были созданы две большие театральные постановки, с богатыми костюмами, «Царь Салтан» и «Царевна-лягушка», я узнала, только когда стала собирать данные о колонии, уже в 2000-х, когда мне передали фотографии. Также узнала о том, что «кадеты» (бывшие ученики кадетских корпусов в Югославии) издавали свой «Бюллетень».

Отец проработал тридцать лет в частной компании, снабжавшей электричеством столицу. Проектировал тепловые электростанции на берегу, подстанции в городе, линии передач от побережья до Санта-Тереса-дель-Туй, для подключения к государственной сети, идущей от гидростанции Гури на реке Карони. Мать занималась домом, шила платья себе и мне. Я окончила школу, университет. Второй диплом получила в Лос-Анджелесе. Защитила диссертацию. Проработала сорок лет в МИДе и двадцать пять лет преподавала в Центральном университете Венесуэлы. Написала несколько работ «для повышения» на своём факультете (их издали в сборниках Католического университета Андреса Бельо) и издала сборники документов для МИДа. В Россию стала ездить с 1993 года, знакомиться с Родиной, с родными, набираться новых впечатлений и мыслей.

ТАРУНТАЕВЫ. ИЗ КРЕПОСТНЫХ ВЕНЕСУЭЛЬЦЕВ

ДОЛГИЙ ПУТЬ

Деваться некуда, всё надоело, поэтому для разнообразия поехали к Светлане Тарунтаевой, в её дом в Лос Гераниос (Los Geranios – «герани»). Вместе покатались мимо старого посёлка Эл Атильо (El Hatillo, фермочка), разросшегося по холмам вверх и вниз; посмотрели на роскошные виллы в Лагунита Каунтри Клуб (Озерцо, Lagunita Country Club), ходили по тротуарам – благо были целые; подышали воздухом. Вернулись, поужинали хлебом, ветчиной, сыром и чаем.

Присоединились муж Светланы и их сыновья; с ними разговаривали по-испански. Потом они стали смотреть телевизор, а мы расположились на мягких креслах в просторной гостиной. Светлана взяла своё вязание, начали болтать, вспоминать.

Голос у Светланы немного тягучий, немного насмешливый, немного небрежный. Она часто делала ошибки или сбивалась на испанский, но мы её понимали, привыкли.

– Зачем вы вяжете, ведь тут же жарко?! Проще же купить, – удивилась я.

– Утром прохладно, Серёжа просил свитер. Да и потом занятие, а то тоскливо. Читать не хочется: на работе целый день читаю. А так я отдыхаю и вспоминаю. Я вот вам не рассказывала про нашу жизнь?

– Нет, только немножко, про дедушку, – припомнила мать.

– Он был очень неглупым человеком. Тринадцатилетним мальчишкой пошёл работать на сталелитейный завод в Юзовке, на английской концессии – так это называется? *Concesion*? Ну, и дали ему деревянную лопату – подбрасывать уголь в *vagonetas*. *Chicas*... Девочки, как это по-русски?

– Вагонетки, – уточнила я.

– Вот это самое. Мальчишка он был смышлёный, стал продвигаться, ну, его послали учиться на инженера; в двадцать два года назначили управляющим отделом. И пришло ему время жениться. Пошёл он, значит, к знакомым просить совета. Те ему и говорят, что у каких-то крестьян дочь на выданье. Их познакомили, они друг другу понравились. Тогда её родители разрешили ему приходить каждое воскресенье на двадцать минут. *Se imaginan eso!* Представляете себе такие обычаи?! Целый год ходил!

– Времена меняются. Теперь, конечно, такое и не представишь, – констатировала мать.

– Невесте тогда исполнилось семнадцать лет. Очень интересный человек, как-то естественно заставляла себя уважать. Совсем неграмотная. Но несколько лет прожила у своей тётки в городе и там выучилась вышивать, накрывать на стол, вести хозяйство, смотреть за домом, принимать гостей и всё в таком духе.

– Я так до сих пор не умею, пень пнём, – призналась я.

– Поженились. Дедушка каждый месяц приносил мешочек золотых монет – это им так давали жалование. Так что зажили они по-барски. Купили дом, завели кухарку, няньку, прачку, кучера, дворника – человек шесть-семь прислуги. Приобрели дом на пляже, другой в Харькове. К революции имели семь домов! *Lo pueden creer?* Можете поверить?

– Ого, неплохо! – ахнула я.

– Устраивали приёмы для английских и своих инженеров и в грязь лицом не ударяли, никто из управляющих не догадывался, что она неграмотная. Видали? Чуть не каждый год рождалось по ребёнку – пятерых родила. Один, правда, умер. Мой папа был младший.

– Тогда большие семьи были нормой, – подтвердила мать.

– Ну так вот, понимаете, как это случается... Сергею Петровичу стало скучно, и он начал бабушку обижать – он-то с норовом был, хотел всё по-своему. Раз увидел на базаре цыганку и помешал-

ся. Предлагал её отцу деньги за её «ласки», а старый цыган отказался размениваться по мелочам. «Купи, – говорит, – тогда будет твоя».

– Ничего себе! Хорош дядя! – отметила я.

– *Que les pargese? Каково?* Стал мой почтенный дедушка копить деньги, золотые; писать пламенные письма цыганке, жаловаться ей, что жена ему надоела. Письма и деньги он прятал под подушкой кресла. Раз бабушка случайно запустила руку под подушку и всё это обнаружила! Ух, умная она была: промолчала, проглотила обиду, письма положила обратно, а деньги спрятала.

– Хитрая! – вставила я.

– Когда муж обнаружил пропажу, стал искать, спрашивать её же. А она спокойно отвечает: «Какие деньги? Я ничего не видела. А украсть мало ли кто может: у нас в доме семь человек прислуги живёт, как ты узнаешь, кто из них украл или посторонний какой?»

Так и остался Сергей Петрович без цыганки, со своей женой.

– Молодец бабка! – похвалила мать.

– Ну, а потом, сами знаете, *la eterna historia*. Вечная история. Пришла революция, дома у деда отобрали, прислуга разъехалась по деревням. Потом за то, что честно работал, дедушку посадили. И осталась бабушка с маленькими детьми в голодном краю. Тут она вытащила рубли, предназначавшиеся на цыганку, и несколько лет содержала на них всю семью. *У lo creen?* И поверите: бывшая прислуга помогала своим «эксплуататорам», в особенности кучер Михайло. Ездили они к нему на хутор, по бездорожью, по степи, и он им давал то хлеба, то яиц, то ещё чего-нибудь.

А тут судьба повернула обратно. Наркома Орджоникидзе спросили, почему индустрия хромает, а он ответил, что все-то специалисты сидят по лагерям. После этого по его приказу стали выпускать. Вернулся и дедушка, поступил работать на ДнепроГЭС, а там и дети подросли, стали инженерами, поженились. А про цыганкины деньги бабушка ему рассказала только незадолго перед смертью. Как вам понравится? Интересно, нет? Чудесно! *Interesante, no? Chevere?*

– *No esta mal*. Неплохо! – оценила я.

– А мне не везло. Когда мне было годика три или четыре, мою маму отвезли в больницу; вскоре она умерла от туберкулёза. Папа, конечно, смотреть за мной не мог и отвёз из Магнитогорска в Днепропетровск, к родителям своим. У меня осталась только одна карточка моей мамы, и то порезали, а другие фотографии выбросили...

В её голосе зазвучала явная обида.

– Осталась я с совсем незнакомыми мне людьми. В первый день на завтрак бабушка приготовила яичницу и жареную картошку, а я не захотела есть. Бабушка забрала тарелку и – ни слова. В обед ничего мне не дала. Я даже спросила, не осталась ли яичница с картошкой, а она самым спокойным тоном ответила, что выбросила. Только вечером, когда дедушка вернулся с работы, дала ужин. С тех пор я ела всё и всегда боялась, что мне не дадут обеда, хотя кормили меня три раза в день. Это, по-моему, повлияло мою жадность к еде, я всю жизнь была толстоватая.

А папа тем временем поселился на квартире у вдовы, немки. Муж её, специалист по коксу, приехал строить заводы. Жили в Кемерово, Томске. Когда закончили строительство, то всем немцам предложили вернуться в Германию, он не захотел, вынужден был принять советское гражданство. Позже его арестовали, и он пропал. Несколько других членов его семьи тоже побывали в лагерях. Из его детей осталась молоденькая дочь, Герда; папе из-за неосмотрительности пришлось жениться. Родился Боря, а их всех послали в Молотовск – там строилась военная база.

Бабушка решила их навестить и меня тоже взяла. Ехали мы поездом. Помню, что к северу от Москвы, вдоль дороги были только леса и редко-редко станции из трёх-четырёх домишек... Иногда из чащи выглядывал волк или медведь, смотрел на поезд – так это интересно... В Архангельске жили мы у знакомых, потому что долго пришлось ждать пароходика: погода стояла отвратительная, несмотря на лето. Пароход был страшно грязный, ну, знаете, так что дальше некуда, сесть негде, и капитаном работала женщина.

– Вот до чего равноправие дошло! – возмутилась мать.

– Молотовск стоял весь на деревянных сваях, и всё там было из дерева. Строили его заключённые; их, оборванных, человек по двадцать, водили конвоиры и не давали к ним подходить, а бабушка пыталась увидеть, нет ли знакомых... Папе дали квартиру из двух комнат, столовой и кухни – страшно всё бедно, и всюду клопы! Их нельзя было ничем вывести, потому что сразу приходили новые. Ух! *Ustedes se imaginan cuantas chinches habia? Un horror!*

– В Германии тоже в лагере были... – вспомнила я.

– Днём они не появлялись, а в девять часов вечера выползали, как бы говорили людям, что пора спать. Кровати стояли на блюдах с водой, так клопы бросались на нас с потолка! За три недели я ни разу не увидела солнца и ни разу не выходила без пальто! Это вам называется лето! Зато было достаточно еды, её доставляли на самолётах, это было необходимо, как единственная компенсация за тяжёлые условия. Люди оттуда бежали.

– Неудивительно!

– Папа руководил заключёнными, но не обижал их. Другой инженер, партиец, бил, наказывал, издевался. Раз, когда мы уже вернулись, неожиданно приехал папа с семьёй и тремя чемоданами, без мебели, без ничего. Оказывается, он сдал свою смену (там работали подряд в четыре смены), а следующая была этого инженера-партийца, и кто-то ему назло поджёг сваи, когда уже всё приготовили, чтобы залить их цементом. От этого сгорел весь город! Папа решил, что не стоит дожидаться расследования, а то тот, другой, – партиец, и вину могли свалить на папу. Так, он забрал семью и немедленно смылся.

– Благоразумно...

– Он вообще считал, что нужно переезжать каждые три-четыре года: пока тебя мало знают, меньше цепляются. А если долго сидеть на одном месте, то больше вероятности нажать врагов, кто-нибудь возьмёт и донесёт. *Así fue la cosa, interesante?*

– Всё как полагается в социалистическом «раю»...

– Папа как-то получил работу в Сталино: заведовал всеми путями сообщения. Получил квартиру в две спальни, со столовой и кухней, но одну спальню его заставили сдать какому-то начальнику, и тому сразу поставили телефон. Это первый телефон, что я видела в своей жизни! В его комнате было страшно грязно, всё завалено бумагами и газетами, но он её не запирает, чтобы в случае надобности Герда Фёдоровна могла позвонить.

– Даже любезный, – отметила мать.

– Когда умерла бабушка, мне исполнилось двенадцать лет, и папа опять взял меня к себе. Но с мачехой я плохо уживалась, считала её дурой, ругалась с ней. Она была намного менее культурная, чем дед с бабкой, а потом она всё позволяла Боре, всё ему давала, все мои игрушки и книжки отдала ему на растерзание...

– Это Герда Фёдоровна, конечно, поступила неправильно, – посочувствовала я.

– Началась война, приближались немцы. На меня большое впечатление произвели зелёные мотоциклы с колясками, на которых приехали первые эсэсовцы.

Моему папе Советы приказали взорвать все установки под его началом. Он не хотел, говорил, что он инженер, всю жизнь их строил, а не разрушал. Потом же он боялся, что если он их взорвёт, то немцы его повесят; а если нет, так Советы расстреляют... Он-то не очень храбрый был. Наш квартирант поторопился эвакуироваться и папе советовал. Папа его уверил, что он непременно эвакуируется, а сам нанял подводу и поехал в противоположную сторону.

– Вполне логично! – с сарказмом подтвердила я.

– Ну, а дед с братьями побоялись его взять, всё же могли пострадать. Правда, помогли ему найти пожилую женщину в Макеевке, и спрятались мы в её доме. Мачеха, Боря и я сидели и не выходили, а папа прятался на чердаке. Когда по очереди приходили то немцы, то Советы и обыскивали дом, он забирался в чулан, и мы его закладывали старыми тряпками. Так прожили несколько месяцев. С едой было страшно трудно, выменивали всё что могли. Раз добыли поросёнка, но ели даже без хлеба, и у всех разболелись животы. Ну не обидно?

– Как нам всё это знакомо! Сами наголодались на тридцать лет вперёд! – воскликнула мать.

– Папа не хотел уезжать из России, но потом ничего другого не оставалось. В последнее немецкое отступление все мы ушли с ними. Год жили в Виннице. Мне город понравился, там как-то было больше зелени и хорошие фрукты, которые в Донецке не росли.

– Ну, там южнее, и заводов нет, – согласилась мать.

– Потом двинулись дальше, в поезде из трёх вагонов. В одном лошади занимали полвагона, а мы заняли вторую половину. Поехали самой южной ветвью железной дороги. На какой-то станции наш состав загнали на задворки – там много линий разбомбило, и вся окраина станции оказалась заставленной вагонами с пшеницей, крупой, сахаром; всё на открытом воздухе, под дождём, и нельзя никак увезти. К папе присоединились два немецких солдата, они ему сказа-

ли: «Вы тут посидите, а то вас расстреляют», а сами пошли и принесли нам мешок пшеницы, крупы и мокрого сахара, и этот сахар продержался у нас до самого конца войны.

– Это вам ещё повезло!

– В конце концов приехали, кажется, в Фюсель. Мачеху приняли как фолксдейтч (volksdeutsch). В Германии уже Володя родился. Когда начали возвращать остовцев, дедушка вернулся, говорил, что в Германии скучно, немцы постные, да и языка он не знает, будет папе в тягость. Ну, а в Чехии у него начался приступ астмы, попал в больницу и там умер, правда, успел написать о себе той женщине из Макеевки, у которой мы прятались. Папины братья тоже вернулись – каким-то чудом их не тронули; стали опять жить в Сталино. Уже из Каракаса папа написал в Макеевку, и та женщина сообщила ему про деда и его братьев.

– Каких только случаев и совпадений не бывает!

– Ну а потом война всё перемешала. Попав в Германию, мы очутились в деревне, а папа в лагере в Аугсбурге. Когда оказались в американской зоне, то нас послали в лагерь в Шлезгейме (Schlesheim). Там бараки ещё немецкие. «Удобства» находились довольно далеко – несколько дырок в полу, без сидений. Предпочитали туда не ходить, а пользоваться горшками. Была там и пара душевых кабин с холодной водой, а напротив – пара умывальников. Тоже предпочитали не пользоваться. Около нашего барака был кран, набирали воду и мылись у себя. Кормили три раза в день, но столовая была далековато. Там имелись столики, но большинство предпочитало захватить пару банок и есть у себя в бараке. Утром давали кофе и хлеб. В обед – малопривлекательный суп, и второе, даже какое-то мясо неаппетитное. На ужин то же самое, многие его не ели. Кто мог, покупал что-то на стороне. Ларька не было. А вот если кто-то что-то как-то достанет, то продаёт. Папа хозяйственный, под нашим окном сделал загородку, завёл кур, собачку.

– Как это жизненно и как далеко от наших нынешних условий! – заметила я.

– Плохо то, что война прервала моё ученье. Потом только папа мне давал уроки математики, и некоторое время занималась в Шлезгейме, в русской гимназии при лагере. Так что всё моё ученье продолжалось три-четыре года, и то так-сяк...

– Ну, а я в русской школе вообще не была, – пожаловалась я.

– Вы Савостиных знаете? Так, Кира Васильевна преподавала нам химию. Её недолюбливали: как-то она к нам цеплялась, в особенности ко мне. Её, кажется, заедало, что я училась лучше, чем её Ира, хотя мой папа и не профессор, как у неё, а потомственный пролетарий. И там старые эмигранты сразу начали организовываться, создали отряд «разведчиков», ещё что-то, но всегда так умудрялись сделать, что новые эмигранты оставались вне их групп. Но из этих новых я с несколькими подружилась.

Когда мы приехали, помните, мы в Эль Тромпильо (El Trompillo) познакомились? Оттуда мы переехали на угол Дос-Пилитас (Dos Pilitas) – папа снял комнату в большом двухэтажном доме, с широким патио. Мне исполнилось семнадцать лет, сразу пришлось

идти работать секретаршей. Папа послал меня на топографические курсы, и мне они понравились.

– Никогда не могла понять, как это его угораздило? Совсем не женское дело, и в конце концов эти знания не пригодились, – возмутилась мать.

– Не знаю, но в общем, когда я курсы окончила, продолжала работать секретаршей. Об университете мечтать не приходилось, ведь даже на курсы я ходила вечером, днём работала, возвращалась в десять вечера.

– Вот тоже, девчонку пускать ночью одну! Хорошо хоть тогда жизнь была намного спокойней, люди не боялись. А что вы делали на работе? – спросила мать.

– Вела архив, но скоро сообразила, что, вместо того чтобы раскладывать письма весь день, по мере того как они приходят, намного проще их собрать и в конце дня рассортировать за пару часов. Остальное время читала романы, за что меня и выгнали. Но сразу пошла в другую компанию, потом ещё несколько раз сменила работу. С трудом вела счетоводство, но на машинке не печатала.

– А Борису Сергеевичу как так повезло? – вновь поинтересовалась я.

– Ну, он ходил, ходил, нигде не принимали, а потом какой-то молодой министр дал рекомендательное письмо, и его взяли в ИНОС (INOS), тогда он находился в центре города, на 1.200 боливаров в месяц. Тогда же это были большие деньги. Ну, он в долгу не остался, водохранилище Ла Марипоса (Mariposa – «бабочка») он спроектировал, потом ещё какие-то крупные работы...

– Да, что бы делала Венесуэла без иностранцев?! – подчеркнула мать.

– Начали копить деньги, и когда Боря погорел, то купили участок, четыреста квадратных метров, наверху, на 9-й улице Палос-Грандес (Palos Grandes), позже на мои деньги прикупили ещё двести метров, получилось шестьсот. Я потом несколько лет выплачивала по триста пятьдесят в месяц. Хату на две комнаты из ящиков построили, потом дом. У меня несколько подруг появилось.

– У нас ещё фотографии остались: вместо уборной одна цементная площадка и бананы вокруг растут. Вода в бочке... За вами, по-моему, несколько молодых людей ухаживали, чем они вам не нравились?

– Да не знаю... тряпки, дурные; может, характерами не сошлись...

– Всё-таки они были намного лучше, чем ваш первый муж. Мне кажется, что на вас Герда Фёдоровна повлияла, всё говорила, что немцы – хорошие мужья. А он так любил утверждать, да ещё с таким апломбом, что на десять русских дивизий достаточно одной немецкой. Меня он бесил. И непростительно, что Борис Сергеевич не проверил, кто он такой на самом деле, – задним числом пожурила мать.

– Ну, говорил, что он представитель американской компании, а потом оказалось, что у него здесь есть жена. Он всё уговаривал уехать, а когда собрались, так он забрал чемоданы и исчез. Больше всего мне жалко золотые рубли от бабушки, остатки тех, что для цыганки предназначались. Она их от гражданской войны сберегла

и от Торгсина, а он украл. И все остальные золотые вещи, и тот браслет, что вы на свадьбу мне подарили, даже бельё. У меня после этого почти ничего из России не осталось.

– Вы тогда так похудели, прямо почернели. Всё-таки жалко, что вы за русского не вышли, ведь потом ваши кавалеры женились, и не совсем удачно. Возьмите Серёжу Никитенко – ну что у него за жизнь?

– Причём я сама виновата. Его пригласили на день рождения Киры Кудрявцевой. Он хотел пойти со мной, а я отказалась, мне было неудобно, потому что я Киру не знала. А Кира затянула его в заднюю комнату и, что называется, изнасиловала, а потом заставила жениться, чтобы прикрыть собственный грех: она уже забеременела от кого-то другого. После Андрюшки родились ещё две девочки, уже от Серёжи; но жили они всё время как кошка с собакой, да её мать, Синько, Синчиха, масла подливала, и отчим не отставал. Но всё равно он мне не нравился: слишком мягкий, что ли.

– Синько – старые эмигранты, третировали Серёжу за то, что он новый, и довели до развода. Такие злющие! Теперь Кира собственную мамашу из дома выставила. А бедный Серёжа бежал в Куману, там его подцепила венесуэлка, у которой четверо своих детей. Ну, она на их содержание выжимает из Серёжи все деньги и грозит, что если он уедет, то она его зарежет! – пересказала мать ходившие тогда сплетни. – После того как умер Николай Иванович, в 1974 году, Нина Николаевна сидит в Каракасе одна, когда заболит, так никого нет. Трое внуков – а помочь некому. Бедро сломала, так сутки пролежала на полу, пока её нашли.

– Серёжа Голома женился на венесуэлке. Он вечный неудачник, тряпистый; его родители очень переживали, что у него так сложилась жизнь. И ведь неплохой инженер! Он участвовал в проектировании комплекса «Парке Сентраль» (Parque Central). Это же сколько огромных зданий в нём!

– В нём всё есть. Но это огромный улей. Жить я бы там не хотела, – вставила мать.

– А Костя Жадан влюбился в Олю Островскую, уехал в Америку, когда она вышла за другого, а потом вернулся, сказал ей, что без неё жить не может. Она развелась, и они переехали в США.

– Вот это мужчина! Добивается того, чего хочет, – одобрительно подчеркнула мать.

– Был ещё Юра, славный парень. Женила его на себе Нона Панасова, вы её, наверное, не знаете, у её родителей книжный магазин на площади Альтамира (Altamira), «Американ Бук Стор» (American Book Store). Брат открыл такой же в торговом центре «Конгреса» (Congresa), шикарное помещение. Они уже миллионеры. У неё двое мальчишек, наверное, будут, как она, по сто пятьдесят кило весить, и на редкость невоспитанные, хамоватые, а младший так в школе для умственно отсталых.

Ну так вот, этот Юра, видно, не очень счастлив в таком окружении и пьёт, дурачится, дитяню изображает; в общем, неаппетитный тип получился.

– Да, по-разному складываются жизни людей, вперёд не угадаешь, – пофилософствовала я.

– Правда. Ну да ладно, о чём я рассказывала? А, дом! Ну, папа как собрал денег, стал строить добротню, стены в два слоя кирпичей, так что даже приходили смотреть. Два этажа, четыре спальни, три уборные, гостиная, столовая, кухня, комната для прислуги – всё как полагается. Помните? Всё что мог, он делал сам с Борей по-крестьянски, добротню. От избытка цемента стены местами потрескались.

– Но сам он там прожил всего лет десять. И как это он смог покончить с собой? Как никто не уследил, не догадался, что у него что-то неладное? У него, кажется, обнаружили рак простаты, и он очень боялся? – спросила мать.

Мне вспомнилось, как в 1961 году Шулер, ухаживавший тогда за разведённой Светланой, приехал к нам ночью и с улицы кричал, что Борис Сергеевич умер¹. На похороны меня не взяли, только рассказывали потом, как он повесился. А Герда Фёдоровна, похоже, не очень-то горевала. Меня удивляли её рыбы глаза: прозрачно-голубые, они всегда смотрели как-то мимо людей. Так же смотрела она и на свою семью; не сумела её сплотить. Не лучше относилась и к семейным финансам. Заплатив небольшой налог на наследство, она уехала с детьми в США, живя на аренду с дома.

Светлана продолжала свой рассказ, но заметив, что я отвлеклась.

– Я на них зла. Там мне принадлежали двести метров земли, я за них заплатила, ну и часть дома мне полагалась, одна десятая от остального всего. Договорились, что я от этого откажусь, а взамен возьму участок в Лос Гераниос, за него ещё нужно было выплачивать. Так они считают, что я их обокрала. И мама мне говорила, что Боря ей дал подер (poder), как это называется... полномочие?.. чтобы это оформить. А на самом деле не дал, в «регистро» записал, но не подписал – значит, документ недействителен. Я считаю, что это свинство, хамство. И сколько мне потом пришлось воевать за Лос Гераниос! Урбанизация прогорела, оставила долги, и этот участок нельзя было продать, никто не покупал, его чуть не отобрали банки! Los bancos casi la quitaron!

– Вообще, конечно, поступили они не по-родственному, – согласилась я.

– Да я не знаю, дурные какие-то. Папа тоже чудил. Ведь у него не только рак был, но и с работы уволили, когда сменилась партия у власти и стала ставить своих партийцев на все должности. Вот и с Бориным учением какая каша вышла, всё из-за любви к солидности. Боря ночами шатался невесть где; папа его наказывал – не помогало. Местным школам папа не доверял, отдал его в американскую, а в ней учиться на год дольше, и её диплом не принимают в венесуэльском университете. Пришлось ему сдавать экзамены на ревали-

¹ Несколько раз я слышала, что Борис Сергеевич испугался потому, что у него обнаружили рак. Лишь в апреле 2008 года Светлана сказала, что после очередной смены правительства новопришедшая партия выгнала всех старых служащих, в том числе и Бориса Сергеевича. Когда кончились сбережения, он оказался без работы, без денег, с семьёй...

ду (revalida), потом послали его в техническую школу на шесть лет, когда в университете курс всего четыре года. И только в Америке он как-то выровнялся, почти закончил на мастера. Ему, дураку, оставалось сдать два предмета, так его заметила эта его Нубия, колумбийка, метиска. Видит, парень молодой, здоровый, красивый, семейный, будет получать хорошее жалование – ну и выпустила когти. А он увидел, что у неё физиономия раскрашенная да зад округлый и вертится легко, и решил, что он влюблён. Поскольку, как он говорил, любовь не картошка, в окно не выбросишь, так не доучил этих двух предметов и женился. Как он не понимает, что эти тёмные столетиями ищут белых, чтобы их дети были светлее?

– Он мне говорил, что он чувствует себя венесуэльцем, а не русским, – вспомнила мать.

– Г-м-м. И тоже мне, брак: Нубия в парикмахерскую идёт, а Боря посуду моет; она платья покупает те, что подороже, а Боря пелёнки меняет. Она истерику закатывает, а Боря дом прибирает. Он в Креоле (Creole) получал большие деньги, так она Борино жалованье своим родственникам в Колумбию посылала, они там целую ферму на него купили, чуть ли не наркотиками торгуют; а Боря у мамы и у меня займы просит и норовит не отдать. Через пятнадцать лет, как родственники дом построили и разбогатели, она его бросила и забрала обоих детей, поехала к себе учиться на адвоката. У Бори же только и осталось, что старая машина и участок земли, поросший бурьяном. Ну не дурак ли? No es tonto, no?

– Типичный случай. Высшую математику знает, а жизненную арифметику не выучил. Я бы ещё поняла, если Нубия была бы красивой, а то таких гапочек сколько угодно найдёшь: смазливая, и всё. Как он её терпел? – удивилась я.

– Из-за детей, наверное. Причём старшая дочь смуглая, – отметила мать.

– Поумнел он только «наполовину». После этого нет чтобы обзавестись солидной семьёй, так нашёл себе другую метиску, ещё темнее, только что венесуэлка, на двадцать лет моложе него. Но не женился, был счастлив: удобно, можно пользоваться без обязательств и ответственности.

– Всё-таки я его не понимаю. Да и она хороша, и её семья. Чего она согласилась на такие условия? Как её зовут – Сулай? – заочно укорила её мать.

– Но когда она окончила университет и устала его ждать, она его бросила. Вообще она неплохая и неглупая, умнее, чем он. Теперь он третью метиску нашёл, но у неё папа – местный генерал в отставке, этот сможет заставить жениться. Но не знаю, Нубия дала ему развод или нет, что-то она с него требовала огромную сумму. Esas tipos saben como defenderse! Y atacar tambien! Эти типки умеют защищаться! И нападать тоже!

– Но он, похоже, не унывает, – отметила я.

– А что, его участок теперь стоит несколько миллионов, плюс он в качестве администратора строит два кооперативных здания и получает в них четыре квартиры, почти не вкладывая своих денег. Хочет

выкупить у мамы дом за миллион, хотя по сегодняшним понятиям это бесценно. Я ей советовала не продавать, с чужого она возьмёт вдвое больше. Он и счастлив потому, что так легко ко всему относится, не переживает. Но всё же собственную мамашу надувать...

– А о Володе что вы слышали? – спросила мать.

– Почти ничего. Он даже перестал мне открытки на Рождество писать. Ведь мама его бросила в Америке совсем одного, без всякой помощи, когда через четыре года вернулась сюда, а ему всего семнадцать было. Пришлось работать, чтобы заплатить за университет. Ну, он выучился, женился на американке, купил дом с огромным участком, открыл собственную компанию по производству высокотехнологичного оборудования для машинной промышленности, какие-то там инструменты очень сложные. По-русски почти разучился говорить; одно время был страшно толстым из-за того, что много пил пива. El sabra lo que hace! Он же должен знать, что делает!

– А дети есть?

– Нет, у жены был аборт, и после этого она боялась. Ну, он лет двенадцать с ней прожил, а потом развёлся, причём, конечно, она у него половину отобрала; ему пришлось продавать свою компанию. По сути, он прогорел. Теперь, кажется, новую фирму организывает и собирается жениться на другой американке, а ей под сорок, и двое своих детей. Я ему говорила, что он дурак, нашёл бы себе женщину помоложе, мог бы своих детей иметь, а не растить чужих. ¿Сумо es que no entiende eso?! Как он этого не понимает?

– Да, недаром Герда Фёдоровна говорила, что она не умеет воспитывать. Ведь Лена тоже красивая, но неразвитая. И русским языком хоть и занималась, но говорит плохо, у неё слишком маленький словарный запас. Сколько за ней ухаживал Саша Волков, сын Павла, а она предпочла венесуэльца, причём, кажется, довольно грубого. Всё говорила, что Саша неинтересный, мешок, только сидит и пиво пьёт. Может, и так. Саша так и не женился ни на ком. Её дети по-русски совсем не знают. Где они сейчас? – спросила мать.

– Возможно, что Саша – мешок, без всякой инициативы, – вставила я.

– Это да, а Рони Перниа (Roni, Ronald Pernia) хоть и грубый, но деятельный. Сейчас они уехали с детьми и обеими мамашами в Алабаму, на курсы повышения квалификации, за счёт венесуэльского правительства, и там остались работать. Лена общение со мной теперь тоже считает ниже своего достоинства и не поддерживает связь, потому что, видите ли, у меня нет университетского образования. Как что нужно, так бегут ко мне; а не нужно, так нос задирают.

– Тоже нашла чем кичиться! Не думала, что она такая злая, – заметила мать.

Светлана задумалась, наступило какое-то усталое молчание, какое-то внутреннее перерабатывание пережитого. В большой гостиной, обставленной современными креслами, царил вечерний полумрак. Из тихого переулка не доносилось никакого шума, ничто не мешало вспоминать прошлое, утекшее...

У Светланы жизнь тоже невесёлая сложилась. Обжѣгшись на одном немце, она женила на себе второго. Карл Шулер (Karl Schuler) был на редкость некрасивый, несимпатичный, трусливый, безынициативный, нерешительный, страшно застенчивый из-за своей физиономии без подбородка. Но, по крайней мере, он с ней хорошо обращался. Но в гости, в отпуск, по делам его было почти невозможно сдвинуть: он боялся людей, и из-за него она тоже сидела дома и дичала. Родился у них сын, Карлуша, хорошенький, здоровый мальчик. Стали строить дом в Лос Гераниос, причѣм Шулер, кажется, сам кирпичи таскал на второй этаж. Через несколько лет рядом купили второй участок и поставили другой дом; но этот уже рабочие клали. За оба дома приходилось платить, а значит, работать: Шулер – в «Электрисададе», а она – в Шель, причѣм получала больше мужа.

Чтобы смотреть за сынишкой, Светлана взяла ему няньку русскую, надеясь, что она выучит его языку (Светлана почему-то с ним говорила по-испански). Прислуга была придурковатая, и когда ребѣнку было два года, то упустила или столкнула его с крутой лестницы, так что он проломил себе череп. Еле спасли и еле вылечили; но, несмотря на все усилия и упражнения, он остался немного рыхлым; одна сторона худее другой, подвижнее другой; пол-лица немного обвисшее. Тем не менее он оказался толковым, хорошо учился, разбирался в компьютерах, на первом месте окончил инженерный факультет в университете Симона Боливара, где ему сразу предложили преподавать.

Второй сын, Серѣжа, больше походил на своего папашу. Плюс Светлана его не то жалела, не то разочаровалась, не то устала после первого; она ему позволяла делать, что он хочет, и отрицательных черт не сдерживала. Но с возрастом он как-то выровнялся. Да и она взялась за его учење, так как в дорогой монашеской школе Опус Деи (Opus Dei) он рос почти неграмотным. Превратился в художника, длинного подростка себе на уме, более толкового, чем Карлуша, более деловитого. Он больше заботился о родителях, по дому больше помогал, отметки получал лучше. Сама же Светлана за эти годы то ли по естественному расположению, то ли из-за неурядиц, то ли из-за неудовлетворѣнности мужем, то ли из-за усталости от работы и домашнего хозяйства, а вернее, от всего вместе взятого начала часто болеть. Хотя лечиться не любила и к врачам не ходила, не верила, считала их дураками. Чувствовала себя одинокой, скучала, была подавленной, сильно располнела; еѣ кругозор сузился, она только и знала, что бочки нефти, дорогу до работы и домашние заботы.

– Да, вот так и годы летят, – снова заговорила Светлана. – То всё кажется очень важным, нужно обязательно чего-то добиться, потом смотришь: без всего этого можно обойтись. Изобретаешь себе занятие, чтобы просто убить время. Вот я берегла свои старые книжки для детей, а у них теперь совсем другие интересы: велосипеды, машины, авиамодели, компьютеры. Ну зачем им «Мурзилка» или «Педагогическая поэма»? Я вон еле заставила Серѣжу прочитать по-испански «Мигель Стругов» Жюля Верна, так он начал говорить: какие казаки – варвары. Я его выругала. Что он думает, кто были его предки? Ведь крепостные же. Так чего он воображает, что он что-то особен-

ное? Он, бедняга, прямо опешил, не ожидал такого откровения, мне его даже жалко стало.

– У вас беда, что оба мальчишки и не говорят по-русски, так вам не с кем поделиться, поговорить по душам. Всё-таки девочки ближе к матери. А потом это и ваша вина. Почему вы не настаиваете, чтобы за стол садились все вместе? А то каждый является, когда ему заблагорассудится, и теряется единение семьи.

– А надоело. Зовёшь, зовёшь – никакого впечатления, гоняют себе где-то на улице. Да и все заняты, у всех свои дела, разные расписания: то спешат на работу, то в университет, то до ночи уроки делают в библиотеке. Мой муж никуда не ходит – не любит; а из-за него и я сижу, никого не знаю. Потом привыкаешь, и уже больше ничего тебе не нужно. Пробовала я своих гавриков учить по-русски, ничего не получается, а потом они здесь прижились; ни мы с вами, ни они в Россию никогда больше не попадём, так зачем им язык? Зачем им считать себя русскими? Зачем болеть душой о стране, которую они не видели, о народе, которого не знают? Что они? Гаврики. Хороши и так, сойдут, школу вон закончили первыми учениками. Я так поверить не могу, в кого это они такие прыткие уродились?

– Но всё же...

– А что, лучше так, как мы с вами? Всюду чужие. Здесь мы «мусью», хнычем о России; а ведь если бы туда вернулись, так нас бы тоже не приняли. Ведь мы для русских уже стали марсианами. В Америке или в Европе мы совсем не у места. Так куда нам деваться? И ходим повесив нос, вечно подавленные.

– В этом вы правы, что мы никому не нужны – не ваши, не наши. Мне так часто просто хочется с моста да в воду. Никакие витамины, ни лекарства не помогают. Что ни делаешь, ничего не имеет смысла. Работа – на местных евреев, да они ею и не пользуются, не ценят. Сколько я проучилась, чтобы получить специальность – и всё равно вышвырнули, даже не обернулись. Мужа нет, детей нет, а если бы были, то уже бы денационализировались, а я их хочу для России, а не для Венесуэлы. Для русской колонии что-нибудь сделаешь, так только грызутся, тебя же и ругают. Пробовала раздать старикам средства, что остались от последнего бала, в 1972 году, – несколько месяцев просила список, так и не дали. Сказали, что кто-то узнал в одном из стариков гестаповца, и он ни за что не позволит, чтобы этому старику хоть копейку дали. А остальные? Остались без ничего по чужой вине.

Для России – средств нет, против КГБ особенно не попрёшь. Даже такую простую и невинную вещь, как посылки или письма: боишься, что подведёшь родственников под монастырь. Вот и сидишь в болоте, чахнешь, тухнешь, ждёшь, когда сдохнешь... – подвела я итог.

– Ну ладно, хватит тебе нюнить. От тебя у здорового хандра нападёт, а у меня нервы и так больные. Поехали! Светлана, наверное, уже устала от таких гостей, а вам завтра на работу. То ещё рабство: не хочешь, а надо! – поставила мать заключительную точку.

ФАИНА МАНЗУРОВА. ПТИЧКА ИГОЛОЧКА И ВЕЧНЫЙ ТЕАТР

Жила-была птичка небесная, сиречь портниха, сиречь Фаина Ионовна Манзурова. Поселилась она на этаж ниже, чем Цейгерканские, и на два ниже Шестаковых, за квартал от Avenida Andres Bello и ортопедического детского госпиталя. Мать стала заказывать ей платья, заходить на примерки. Когда мои родители уезжали в Европу, то её приглашали караулить дом или составить мне компанию, за плату, конечно. Но для неё это получался отпуск: из грязного переулка она попадала в полузагородный рай. Так я узнала её жизнь, тем более что она была на редкость словоохотливая, правда, не очень последовательная.

– Родилась-то я в Риге. Мы русские, старообрядцы. Папа плотник, хорошо зарабатывал, имели большой деревянный дом. Помню, мы ходили в молитвенный дом, но я не верю ни в какого Бога, чепуха всё это, люди придумали. У меня вот знакомая адвентистка, ей восемьдесят лет, старушка совсем, а отдаёт своей секте десятую часть своей пенсии, а вся-то пенсия 200 боливаров. Ну что это, не грабёж?

– Грабёж, бесстыдный, – согласилась я.

– Папа мой умер, когда мне было десять лет, едва окончила четыре класса, а у мамы ещё трое маленьких детей. На праздники папа всегда посылал подарки, фрукты, пироги во всякие приюты, тюрьмы, помогал людям; а после него нам тяжело пришлось. Но мама всегда со всеми мягкая, добрая, всегда говорила «хлебушко», а не хлеб.

– А как же вы пережили первую и вторую войну? Голодали?

– Нет, нас Бог миловал, никогда не видели голодовки, трудно жили, но не голодали. В первую войну у нас остались запасы крупы и прочего, ещё от папы. Коллективизацию, как в России, у нас не проводили. Там оладьи испечём, там картошечку...

– Теперь я понимаю, как вы сохранили такое крепкое здоровье!

– Меня отдали учиться в модную мастерскую, хотя шить я никогда не любила. Моё призвание намного выше! – Актёрски вскинула она рукой и подняла голову. – То была лучшая мастерская в Риге, у нас у первых появлялись парижские фасоны. Я всех там развлекала: оденусь старухой и устраиваю представление, все мастерицы смеются. Устроили раз смотры для приёма в балетную школу при театре. Режиссёру я очень понравилась, я несколько месяцев ходила, потом надоело. Русская лень, ха-ха-ха, – делано-деревянно проговорила она, но потом вернулась к нормальному тону: – А моя двоюродная сестра – у неё таланта намного меньше, чем у меня – мне завидовала, но она осталась и потом сделалась знаменитостью, зато в войну голодала, а я иголкой прокормилась.

– Всё же жаль, что вы бросили, вам же нравится.

– У меня душа артистки, а вот не захотела, и всё! Ха-ха-ха, – горько, комично-утрировано и неприятно снова изобразила она шутовской смех. – Смотрите, я ещё могу плясать, я ещё молода!

И она пустилась в бодрый пляс, несмотря на свои шестьдесят пять...

– А Дима когда у вас родился? – любопытствовала я.

– Мой муж был музыкант, пьяница, грубый, я его бросила. Много я за мужчинами не бегала – гордая я. А через несколько лет стала ходить с одним русским инженером, он ко мне хорошо относился. Это он – Димин папа. Когда во вторую войну подошли Советы, он меня устроил на пароход, снабдил деньгами, продуктами, и я уехала из Латвии, а он на пароход не попал, почему-то задержался. Больше я о нём ничего не слышала, не знаю, спасся или красные схватили. А в Германии я страшно боялась попасть в лагерь, ведь Дименьке всего два годика. Я так плакала! Один старый эмигрант увидел, сжался и потихоньку мне сказал, чтобы я в тот же день ехала в посёлок Буркунштадт.

– Значит, вы ни России, ни Советов не видели? И в Германии не голодали?

– Поселилась я у пастора, и всю войну мы прожили сыто и спокойно. Я всё шила, мне часть платили деньгами, часть – продуктами; меня уважали, потому что я жила в доме пастора. Судьба такая.

– Вам повезло, с нами немцы по-собачьи обходились.

– А я пожаловаться на них не могу.

– А в Венесуэле?

– Попала я в Баркисимето. Трудно было. Жила и работала в одной и той же комнате, в старом доме. Питались чем Бог пошлёт, но всё-таки прикармливала бродячих собак оставшейся корочкой – им хуже было. Сватался ко мне пожилой украинец, а потом и венесуэлец, причём богатый. Я думала, а потом отказалась – зачем мне мужики? Хотела быть независимой. А теперь вот сижу одна. Хо-хо, – опять горько-шутовским тоном засмеялась она.

– Напрасно вы отказались. Всё была бы помощь, поддержка, и Диме бы лучше: пример, дисциплина, – прочитала я короткое и неуместное нравоучение.

– Через несколько лет мы с Дименькой переехали в Каракас. Вначале жили у священника в Дос Каминос – видно, мне везёт на попов, а потом сняла эту квартиру. За триста пятьдесят боливаров в месяц – неплохо: две спальни, большая гостиная, балкон, уборная, кухня, новое здание. Что мне ещё нужно?

Её дальнейшую жизнь я уже сама видела. Работала с утра до ночи; иногда нанимала помощниц, но зарабатывала мало, так как брала по пятьдесят боливаров за платье. Сыном заниматься было некогда. А вокруг старые районы, мастерские, фабрички и куча мальчишек без призора. С ними-то и начал водиться беленький, хорошенький, послушный Дименька. Вскоре он почувствовал себя частью этой уличной шпаны. По окончании первоначальной школы он не захотел продолжать учёбу, а в ремесленное училище его не приняли по малолетству: двенадцать, а требовалось четырнадцать лет. И парнишка совсем отбился от рук. К стыду русской колонии, не нашлось никого, кто бы взялся вывести его в люди, вернуть русского в свою культуру, оберечь от отчуждения, от скатывания в трясины. И она никого не попросила помочь пареньку найти правильную дорогу.

Сама же Фаина была очень отзывчивой, намного больше, чем другие: и голодную уличную собаку приютит, и свою подругу-адвентистку восьмидесятилетнюю накормит, хотя у самой в шкафу негусто. Приютила и больного русского автора «В паутине коммунизма» (на испанском)². В книге Пётр Миронов объяснял местным коммунистам некоторые реальности «земного рая». К сожалению, книжка имела маленький тираж (напечатал на свои деньги в Испании) и малое распространение, а туберкулёз вскоре доконал писателя.

Спасением и проклятием Фаины был её легкий, весёлый характер. Она не сильно переживала потери близких, всегда пела, танцевала, шутила, паясничала, к месту и не к месту, в такой степени, что многие её чурались и презирали. Придёт в гости, прошенная или нет, и вдруг осрамит хозяев перед гостями своими скоморошьими маскарадами: начнёт кривляться, изображая старуху, или прыгать как пятилетний ребёнок. Память, правда, была изумительная. Стоило сказать слово, и она вспоминала песню, прибаутку, стихи, целую сцену из тех, что были модными в Риге, когда ей было десять лет. Воображения много, а силы воли, чтобы развить склонности, не хватило, так и осталась на уровне самородка-балаганщика.

Губили её и нехватка торговой жилки, её непрактичность, лень, непостоянство. В Каракасе, имея коммерческую хватку, она могла бы устроить хорошее ателье, купить квартиру, а не снимать, обеспечить себе жизнь. Вместо этого она тридцать лет проишачила за гроши, даже не собрала на первоначальный взнос на дом, когда они были дешёвые. А за ту же самую квартиру брали всё больше и больше: 550, 900, 1.300... несмотря на то, что она давным-давно окупилась, и хозяйки-еврейки здание почти никогда не чинили. Со временем и здание, и квартира приобрели ужасный вид.

Дима, проболтавшись несколько лет на улице, окончил ремесленную школу, уже будучи взрослым. Начал работать, устроился техником в университетской лаборатории. О матери он мало беспокоился, в особенности после того, как женился на венесуэлке, смуглой секретарше, плохо воспитанной и грубой, которой рижские прибаутки сорокалетней давности явно ни к чему. Она их не понимала, они её раздражали. А Фаине необходимо было, чтобы её уважали.

Стала Фаина ревновать сына. С невесткой никак не могла ужиться, и Диме пришлось собрать деньги на апартамент – 70.000, к счастью, успел до резкого роста инфляции семидесятых годов. Потом только приводил двух внуков в гости, и то очень редко. Сам никогда не заходил к матери, даже на день рождения, хотя проходил мимо её окон. Фаина обижалась, втихомолку плакала, а потом вскидывала головой, обрамлённой красивыми седыми волосами:

– Ну и не надо! Если он такой, так пусть. Нет у меня сына! Не хочу ни о ком плакать и грустить. Буду петь и плясать! Я такая!

И, проглотив слезу, начинала петь «Ей, камаринский мужик...»

² Peter Mironow, "En la tela de araña del comunismo", Editorial Delta, Madrid-Caracas, 1952.

Когда трудно стало шить, ей повезло: одна русская научила её брать готовые платья на фабриках, а потом продавать в рассрочку разным знакомым по меньшей цене, чем в магазинах. Но эта соотечественница её обокрала, кажется, на тысячу или больше, после чего Фаина стала торговать сама. Тоже дело непростое для пожилой женщины. Надо поехать в центр на пор пуэсто (маршрутке); выбрать, привезти два-три больших мешка платьев, а они тяжёлые. Потом найти покупательниц, дать им примерить, переменить номер или цвет на фабрике, бесплатно подогнуть или сделать мелкие переделки, а потом ждать несколько месяцев, пока они по 20, по 50, по 100 боливаров в месяц выплачивают за два, четыре или шесть платьев, по 150–500 каждое. А некоторые не платили, уезжали в другие города, прятались, несмотря на то, что сами получали две-три тысячи в месяц и имели приличные места. Тем не менее Фаина так собрала 100.000 и отдала знакомому под проценты. В банке она бы получила 1.000, а он ей платил 3.000 в месяц (он бы в свою очередь в банке платил бы 5.000, так что выгода была обоюдная). А на каждом платье зарабатывала только 10–30 боливаров.

Так дожила Фаина до 78 лет. Одна, экономя каждую копейку на чёрный день, живя в грязной квартире (уже не хватало сил убирать), на замызганной мебели, покрытой ещё более замызганными тряпками (бывшими занавесками её клиентки), сдавая одну или две спальни новоприбывшим колумбийцам, полусумасшедшей кубинке...

Страдала она хроническим кашлем. Она его объясняла тем, что в молодости перенесла сильное воспаление лёгких и плеврит, ну а потом курила. Иногда её даже рвало, но к врачам не ходила.

– Они хуже сделают, они ничего не знают, организм должен бороться сам.

– Да ведь он за сорок лет не смог перебороть вашего кашля! И чего даром страдать, когда можно вылечиться! – пытались мы её убедить.

Появилась дальновзоркость. Зубы никогда не лечила (всё некогда, всё не хватало денег), они вконец испортились. Время на них тратить она не стала, сказала, чтобы все вырвали – а потом сожалела, мучилась. Опять стали мы её уговаривать пойти к врачу.

– Да он сто боливаров возьмёт, да ещё очки будут стоить не меньше трёхсот.

– Но неужели лучше страдать? На кой чёрт вам деньги, если их не использовать, ведь на тот свет не заберёте. А так хоть видеть будете. И зубы приведите в порядок, ведь ваши же, не казённые! Вам ими жевать!

– А я боюсь, и дорого страшно.

Дима ей сделал челюсть у себя в лаборатории, бесплатно, но плохо подогнал, и она надевала только по парадным случаям, а обычно ходила без зубов. Еда превратилась в мучение: всё должно быть мягкое, молотое, или она разрывала мясо пальцами на волокна – получалось весьма неаппетитное зрелище. Она стеснялась и предпочитала есть в одиночестве. Но другой челюсти не заказала, и Дима не сделал. Раз я его спросила, почему он за неё не возьмётся и не отведёт

к врачу, тем более что она записана на его страховке и это ничего не будет стоить.

– Так она не хочет, говорит, что надо в очереди ждать, что в «Сегуро» (Seguro Social, государственная система медицинского обслуживания) босяки, чёрные, что врачи никуда не годятся... – объяснил он на уже полузабытом русском языке.

А Фаина нас учила уму-разуму, ругала:

– Это вы себе травите организм лекарствами, ходите и всё жалуетесь, охаете и стонете. А я вот пою, мне ничего. Я правильно питаюсь, ем мало мяса – это вредно для здоровья, мало соли, без перца, хлебушко, рис, фрукты, сладкое (на хлебе и сладком она и держалась главным образом). Дёшево и здорово, болею я меньше вашего...

– Так вы же ни разу не голодали! А мои родители три голодовки пережили, и я в восемь месяцев от голода опухла. Вон у вас сорок лет назад был плеврит, и вы всё с ним носитесь и на него свой кашель сваливаете! Нельзя же быть такой упрямой!

Каждая сторона оставалась при своём, только росло раздражение, тем более что мы уже потеряли счёт тому, сколько раз слышали все эти доводы и все рассказы о Риге, о Бургунштадте, о Баркисимето и о теории и философии насчёт сопротивления организма, и питания, и врачей. От энного повторения внутри начинало кипеть и бурлить, срочно приходилось пресекать разговор, чтобы не ругаться.

Дошло до того, что однажды, когда Фаине было около восьмидесяти двух лет, она очень сильно заболела. Мы привезли ей антибиотики (правда, не самые дорогие, которые действуют за три дня, а те, которые надо принимать пять дней, тут уже моя вина – поскаредничала), лекарства для циркуляции крови, витамины, еду. Битый час говорили, что нужно их пить регулярно, каждые двенадцать часов, что очень важно выпить всю коробку. Так она несколько таблеток выпила, а как ей стало чуть лучше, бросила, чтобы как-нибудь не отравиться, ведь организм должен бороться сам! Конечно, ей опять стало хуже. Снова уговорили пить таблетки. Чуть ей полегчало – опять бросила!

Так она полностью и не поправилась. Осталась такая хрипота, что Фаина почти не могла говорить, стало почти невозможно её понимать. Начали пухнуть ноги и руки. Но пойти к доктору лечиться отказалась наотрез, предпочитая страдать.

– Врачи ничего не знают, только хуже сделают, да им ещё платить нужно...

СТАРОСТЬ

На Рождество я решила отвезти Фаине Ионовне мармелад и фисташковое масло, немного порадовать старуху на праздник. Мать наотрез отказалась сопровождать меня, боясь одного её вида, того удручающего впечатления, что она производила последние годы. Позвонила ей, чтобы узнать, дома ли она. Фаина отвечала, еле ворочая языком, как бы «разбитыми» словами стала объяснять, рассказы-

вать, хотя понять её стоило большого труда. Переспрашиваешь, а она не слышит.

– Валя, милая, у меня страшно болит спина, ходить не могу. Мне скучно, никто не приходит, никто не вспомнит старуху, теперь я никому не нужна, никто не вспомнит того добра, что я делала. Соседи уехали, стали аристократами, купили дорогую квартиру, а новые не так хорошо ко мне относятся.

– Чёртова дура, – пробормотала я про себя, – ну кто поедет к тебе слушать, как ты шамкаешь? Кому интересны твои дореволюционные шутки и рассказы? И сколько тебе ни говорили, что твоё шутовство только отталкивает людей, ты никогда не хотела этого понять и учесть.

Комната её была в невероятной грязи, пол не мылся годами. На замызганных креслах валялся ворох посеревших гардин, одеял, тряпок. Она ела за маленьким столиком перед диваном, который тоже давно не протирался. Халат почернел. Сама Фаина еле передвигалась, опираясь на палку. Волосы отросли, поседели, поредели, нечёсаные. Беззубый рот одинаково нечленораздельно шамкал и слова, и еду.

– Садитесь, Валичка, поговорим.

Мне было противно прикасаться к её дивану, но всё же села и стала вынимать шприц.

– Не хочу лекарства – это отравка! Укол – больно. Не хочу!

– Да чёрт побери, бросьте кочевряжиться! Разве лучше так мучиться? Задирайте платье и не шебаршьте! – вспыхнула я.

Послушалась. Стала опять что-то шамкать, говорить, что ей надо пойти к врачу уши промыть, но никак не соберётся (это ей твердили несколько лет тому назад, когда она ещё свободно ходила), рассказывать о давно прошедших событиях, о том, как Красный Крест помогал детям в Латвии, раздавал суп после первой войны...

– А вы добились, чтобы вам заплатили за то, что у вас чужую мебель оставили? – перебила я её. – У вас контракт есть? А то квартиру месяцами используют как склад – и даром.

– Нет... – совсем нерешительно промямлила она, разочарованная.

– Ну, так скажите Диме, чтобы продал её; вы имеете полное право, тем более, если нет документа, её и требовать не могут.

– Я хочу получить бумагу от полиции, но я ничего не могу делать, не могу ходить, говорить с чиновниками.

– Но если вы выбросите, продадите или используете мебель сами, то вы бы могли сдать комнату, у вас жили бы люди, вы бы не так скучали, вам бы помогали, убирали. А ваши внуки не могут помочь, ведь уже подростки, сколько им – семнадцать, пятнадцать лет? Или скажите сыну, чтобы он нанял женщину, которая бы приходила убирать, хоть раз или два в неделю.

– Внуки воспитаны по-венесуэльски, они к этому не приучены. А Дима хочет меня отдать в старческий дом, говорит, что там я буду среди таких, как я, с людьми, смогу им устраивать представления, шоу. Я же боюсь: там дисциплина, маленькие комнаты. А тут я делаю что хочу, хоромы как паласио, дворец. Говорю с соседями, выхожу на балкон, кормлю голубя, разговариваю с ним, он мне отвечает... А сдавать

комнату страшно. Квартиранты будут обижать, обкрадывать, оскорблять, как та последняя кубинка, что у меня жила. Еле её выставили. У меня деньги есть – четверть миллиона, я их займы дала.

– А проценты вам платят?

– Да обещают... – К ней опять вернулся сомнительный тон.

– Но попросите Диму, перепишите долг на него, а то пропадут все ваши сбережения; вам не вернут ни процентов, ни капитала.

– Нет, Мари, моя подруга, фиадора (fiadora), поручительница. Она хорошая, она нажмёт на своих сыновей, чтобы они мне заплатили...

– Ну не знаю, – решила не настаивать я.

В душе я опять поражалась её отчаянной, обречённой борьбе за свою независимость.

– Я квартирантов боюсь. Мне нужно, чтобы меня пожалели, не ругали, поняли, поговорили. Расскажите что-нибудь, я не могу долго говорить.

– Нет, извините, мне ещё нужно за продуктами, и мама себя плохо чувствует, дома сидит. Звоните, скажете, как подействует укол.

Я выскочила. Я чувствовала себя уставшей, подавленной, на краю депрессии. Чувствовала, что я вела безнадежную борьбу против неумолимого рока. А где моя Жизнь? Почему я должна переживать две старости, чужую и свою? А взамен? Ни детей, ни семьи, ни достижений, ни успеха. И когда придёт моя очередь, русских в Каракасе совсем не останется. Мне никто не окажет даже такой минимальной помощи, какую давала я. Меня никто не отвезёт к врачу, не сделает укола, а уж тем более не пожалеет, не приголубит, не погладит седые волосы... На мне эта цепочка оборвётся...

10 января 1988 года

ЗАБРОШЕННАЯ ПТИЧКА

Конец 1988 года забрал и Фаину. Незадолго до неё умер сын Негоднова, но его я не знала или, во всяком случае, не помню. А ещё раньше, 1 марта, умер доктор Мирза, Атуйчик, а 5 марта умерла Воропаева. Затем последовали Растворова и Киселёв. Богатый оказался год для Смерти.

Фаина изредка мне звонила, обычно по воскресеньям, чтобы немножко поговорить, скоротать время, смягчить одиночество. Я еле слышала её приглушённый голос и разбирала прошамканные слова (мама её вообще уже не понимала), отвечать приходилось криком, потому что она не слышала.

– У меня теперь Акулина работает, очень хорошая; теперь вся квартира убрана, всё чисто, я ей две тысячи в месяц плачу. Только вот в субботу и воскресенье я одна, мне очень скучно. Когда вы приедете меня навестить? Немножко, на часик, найдите время для старухи.

– Хорошо, я постараюсь. Только сейчас у меня много проблем из-за квартирантов, я забегалась. Да и мама всё время болеет. Но как только смогу, я заеду. К доктору вы, конечно, не ходили?

– Нужно пойти, нужно, но всё никак не соберусь.

Это была полуправда с обеих сторон. К доктору она вовсе не собиралась. Я же забегалась, но вдобавок мне просто не хотелось попасть в удручающую обстановку больного человека, запертого в квартире, беспомощного, полунемого, полуглухого, полуслеплого. У мамы от неё настроение совсем портилось, увеличивалась подавленность; она предпочитала ничего не видеть, а то начинала злиться на Фаину за её упрямство и халатность, и ей самой становилось хуже.

До этого, кажется, в конце 1987 года, у Фаины сильно заболела спина, так, что она не могла ходить, спала сидя в кресле, не могла лежать. Просила меня помочь. Но, зная, что она лекарств и врачей не признаёт (да и у самой был грипп), я откладывала недели две, пока она совсем не взмолилась. Даже согласилась на врача. Сама же я боялась спускать её по лестнице. С трудом дозвонилась до Димы, а он как раз сломал себе руку в автомобильной аварии. С грехом пополам довели её до Красного Креста (несколько кварталов), прождали там несколько часов (Дима не хотел везти её в частную клинику, так как там намного дороже). В конце концов нас приняла молоденькая врачиха и только заохала, увидев, как у Фаины согнулась спина и какая у неё была бледная кожа. Определила, что у неё декальсификация – потеря кальция в костях, и сильное малокровие. Оперировать было опасно и бесполезно. Послала делать рентген и анализы, потом приписала разные уколы, и через несколько недель Фаине стало лучше. Успокоилась боль, она стала ходить по комнате и даже прогнала свою Акулину «за воровство и грубость» (похоже, та не только на неё орала, но силой кормила и угрожала). Перед Рождеством соседи по квартире собрались и, на пари, убрали донельзя грязную квартиру больной старухи, так что Фаина в восторге всё повторяла: «Milagro, milagro!» (чудо). Но вместе с мусором выбросили и тетрадь, где Фаина записывала свои стихи. Как-то она мне пару прочла – неплохие, прочувствованные, пропитаны любовью к России, желанием борьбы. Жаль, что пропали.

Так я всё этот визит откладывала и откладывала, чуть не с самой Пасхи, когда мы Фаине отвезли кулич. В октябре позвонил мне Дима, сказал, что Фаина выходила ночью из уборной, упала, сломала бедро и её должны оперировать.

– Ай-ай! Это плохо! Вы её в университетскую клинику отвезли? – неубедительно удручённым голосом спросила я, соображая, что это конец (я где-то читала, что старики редко живут более шести месяцев после такого перелома).

– Нет, там не было койки, ни получастной (semiprivado, на двоих), никакой. Я её в Перес-де-Леон (Perez de Leon) отвёз.

– Это та, что в Петаре?

Я пришла в ужас. Я туда один раз возила Евгению Сергеевну, и мне запомнились грязь, долгое ожидание врача, отсутствие оборудования, чёрные пациенты, бедность всего и вся.

– Да, там мой друг работает, там хорошие хирурги. Он должен был оперировать маму в четверг, но заболела бабка врача, в Сан-Кристобале, и он поехал её оперировать. Поэтому отложили на понедельник.

– Ой, это нехорошо. Нельзя откладывать, это ведь очень тяжёлая операция, и чем больше ждать, тем хуже будет срастаться кость. Потом понадобится кресло на колёсах и всё такое. А как же это случилось?

– Я ей купил палочку с четырьмя концами, чтобы она с ней ходила, а она не хотела. А теперь вот такое получилось. Просила вам позвонить.

– Но когда она упала?

– На прошлой неделе; уже девять дней в больнице.

– Я сейчас к ней приехать не могу, у меня грипп; если я её заражу перед операцией, то это будет свинство с моей стороны. А телефон у неё есть?

– Нет, это общая женская комната, Sala de Mujeres, сама 12 (кровать 12). Можно приезжать только между четырьмя и пятью часами вечера.

– Ну, как только я поправлюсь, я к ней заеду. Надеюсь, что всё пройдёт благополучно. Позвоните после операции.

– Хорошо, я позвоню.

Дима, видно, ожидал от меня большего. А я не знала, что делать. Объяснить этому воспитаннику улицы, что он повёз свою мать не в больницу, а на свалку, было бесполезно. Говорить ему, что у неё имелось достаточно денег, чтобы заплатить за частную клинику, пусть не «люкс», было поздно, да и вряд ли он послушает, ведь он считает, что по качеству это заведение «для народа» её вполне устраивало. Если даже Фаина выдержит операцию, потом ей придётся несколько месяцев лежать – кто за ней будет ухаживать? Ведь не сыночек же, не внуки родные, не ненавистная и ненавидящая невестка... Придётся отвезти её в старческий дом, куда Фаине так не хотелось...

В понедельник вечером никто не звонит. Позвонила я. Ответила невестка.

– А мы про неё ничего не знаем, оперировать должны были в два часа, а в четыре из больницы вызвали Диму, потому что она не хотела оперироваться. Он до сих пор не вернулся.

– Она, наверное, страшно перенервничала. Если бы мне пришлось ждать одиннадцать дней такой операции, я бы тоже боялась и капризничала. А что же теперь будет?

– Не знаю. Потом мы вам позвоним.

– Ну и сыночек! Бросил мать, как собаку у ветеринара, и даже не сидел с ней, когда её должны были забрать в операционную! – сказала я матери. – Нужно бы к ней поехать, а то бедняга там одна! Представляю, как ей страшно среди чужих ложиться под нож...

– Ты же её заразишь, и сама заразишься в той грязи, не надо, – стала отговаривать меня мать, хотя простуда у меня почти прошла.

Вечером 17 октября позвонила невестка. В голосе чувствовалось облегчение.

– Плохие новости.

– Что, Фаина не выдержала?

– Нет, даже не оперировали... Сердце остановилось до того, как её увезли. Сейчас Дима оформляет все бумаги, завтра похороны,

а сейчас будет «велорио» (velorio, бдение, когда родственники и знакомые сидят с покойником ночь или сутки). У Димы никогда не болит голова, а сейчас жалуеться, наверное, от всех забот.

– У меня машина в мастерской, сейчас я не могу, а завтра с утра я заеду в похоронное бюро.

– Хорошо, мы туда пойдём сейчас.

– Кончилась Фаина, «выходил» её сыночек с друзьями! – сказала я матери. – В этой чёртовой больнице человеку, видно, даже успокоительной таблетки не могут дать, ждут, пока сам окочурится от испуга. И в каком госпитале допускают, чтобы срочную операцию ждали две недели?

– А что с ней?

– Умерла, сердечный удар.

– Умерла? Не может быть! Как мне её жалко! То я её ругала, а теперь мне больно за неё. Как же это так получилось? – скорбным голосом посетовала мать.

– Знаешь, для Фаины, может, это лучше, – постаралась я её утешить. – Операция очень тяжёлая, потом надо долго лежать в гипсе, тем более что она очень ослабела. А кто её покормит, кто ей утку вовремя подставит? Кто с ней поговорит, бельё переменит? Лежала бы как собака в собственной грязи и дохла бы с голоду.

– Может, и так, но я страшно расстроена. Какая бы она ни была, сколько лет мы её знали...

– Да, пропали её стишки и песенки. И Дима – какой бесчувственный пень! Бетон и то человечнее. Хоть у неё характер здорово тяжёлый, но всё-таки это его мать, не сломанный сундук.

На следующий день поехала я в похоронное бюро, к моему удивлению, даже чистое и приличное. В зале сидели только три женщины: две белые, средних лет, и в стороне от них – молодая мулатка. Я подошла к дешёвенькому гробу, перед которым стоял один венок, на гробу лежал венок от семьи. Фаина лежала в одном из тех платьев, которыми она когда-то торговала. Внешне спокойная, с новыми пятнами на лбу, с заклеенным беззубым ртом. Ничто не выдавало переживаний, доведших её до удара. Мне так стыдно было перед ней, что я её не навестила вовремя. А теперь поздно. Комок сдавил горло. Улетела птичка божья, не вернётся. Подсела к белым; одну я встречала у Фаины, другая оказалась её соседкой. Разговорились, стали обсуждать происшедшее.

– Она упала в воскресенье, до обеда. Сын был внизу, в ботинке, пил с друзьями, а к ней не зашёл. Её нашла в девять или десять утра следующего дня соседка, что ей приносит кофе. Представляете себе: позвонили Диме, так он собирался часа два, хотя тут езды пять минут! В первый день он ей не нашёл места в больнице, так на ночь он её оставил совершенно одну. Ведь он же мог провести ночь у неё, помочь ей, если понадобится, хоть воды дать. Нет, ничего. И я ему говорила отвезти её в Перес Карреньо (Perez Carreno), там и оборудование есть, и её бы сразу прооперировали, да и близко от дома, а не на другом конце города. А он упёрся в свой Перес-де-Леон, что мол-де у него там два друга, и всё. Так она и пролежала там две

недели одна. И ведь деньги у них есть, могли бы и в частную клинику её отвезти.

– Много ему помогли его друзья!

– И невестка её ненавидела, и внуки ничем не помогли, хоть старший уже довольно большой. Могли бы убрать, принести поесть, посидеть с ней.

Появился Дима – бодрый, почти весёлый, обрадованный своим освобождением от сыновнего звания и чина. Я ему даже соболезнования не выразила, подумав обо всех пролитых Фаиной слезах – и раньше, а тем более в эти страшные две недели.

– Купил четыре ниши на кладбище, 24.000 взяли, но ничего, это теперь устроено, – сообщил бывший сын.

Соседка попросила у него портрет Фаины в дни её молодости (очень неудачный), который невестка брать не хотела, а я попросила тетрадку её стихов, если найдут. Ещё сказала, чтобы не выбрасывал её швейную машинку, так как теперь это настоящая музейная редкость и дорого стоит (в надежде, что хоть деньги заинтересуют наследников). Начали приходить родственники со стороны невестки, внуки-подростки. Но я дальше ждать не стала. Ещё раз попрощалась с покойницей и уехала на работу.

В последующие месяцы я пару раз звонила соседке и Диме, спрашивая про тетрадку стихов, но тетрадь не нашли, передали только письма от двоюродной сестры из Австралии и ветхую книжку про оздоровление питанием. Ещё Фаина говорила, что тетрадь выбросили соседи, когда чистили квартиру перед последним Рождеством. Невестка себя как бы оправдывала, говоря, что поступила так, как её учили в семье: в течение девяти дней устраивала вечерние моления. Соседка же ругалась: почему такое беспокойство о мёртвой, когда о живой не волновались? А с квартирой Дима поступил по-хозяйски.

– Я всё почищу, приведу в порядок, и с братом жены устроим фабрику по шитью бумажников и записных книжек. Или просто ему сдам.

Хотела ему сказать, почему он не привёл в порядок эту самую квартиру, когда мать его была жива и могла порадоваться чистоте, но плюнула. Его не переделаешь, а Фаину не оживишь.

Так ушёл из жизни ещё один член русской колонии – без церемоний.

«АХ, ТУМАНЫ МОИ, РАСТУМАНЫ...»

В Сан-Франциско в конце 1984 года я делала последние попытки найти себе жениха, партнёра, друга. Ходила по всяким клубам, коктейлям, семинарам и курсам, платным и бесплатным. Например, журналистов, ищущих работу. Желających выступать, говорить перед публикой. Или людей, надеющихся пользоваться компьютерами для установления связей. Даже записалась в муниципальный колледж, чтобы научиться счетоводству и пользованию счётной машинкой (в магазине). Но всюду терпела неудачу. Напряжённость отно-

шений, даже в самых «легкомысленных» собраниях, общая настороженность (у всех на уме одно: что я могу получить от другого? что другой хочет от меня?) не поощряли искренности, непринужденности, доверия, не вызывали симпатию или желания повторной встречи.

Даже если и находились впечатляющие мужчины, выхоленные, одетые с иголки, занимающие хорошо оплачиваемые ответственные должности и уверенные в своих качествах, то ничего у меня не получалось. К этому времени я вполне осознала, что я серая, вялая, застенчивая, с фигурой и лицом, оставляющими желать лучшего, профессионально атрофировавшаяся и в тот момент безработная в придачу. Такие мужчины на мне глаз не остановят, хорошо если будут просто вежливыми. А искать они будут молодых, высоких, стройных, модных, здоровых, покрашенных, энергичных, нахрапистых девиц, которым палец в рот не клади – способных постоять за себя, и на хороших, современных работах.

Среди прочих мер написала я в журнал объявление о том, что ищу пару. Стали приходить ответы. Тут я обнаружила, насколько острожно надо с ними обращаться. Иногда прямо по телефону выясняешь, что мы друг другу не подходим. Один тип стал писать каждый день, что ему необходима женщина, что он сопьётся от одиночества. Посоветовала ему обратиться к психиатру. Другой прислал порнографическое письмо – ему не ответила. С ещё одним, представлявшим себя в объявлении как весёлого ирландца, даже встретилась – оказалось, старый толстяк, страдавший от депрессии, несколько раз резавший себе вены, которому нужна была бесплатная нянька-медсестра-любовница. Чешский еврей, хозяин ресторана, с места в карьер предложил поехать на субботу на озеро Тахо (Тахое, четыре часа езды) и страшно разозлился, когда я отказалась, и он даром потратил свои кровные деньги на ужин. Один англичанин, молодой изобретатель, оказался интересным собеседником, но жил в другом городе – не повстречаешься каждый день. И вдруг – о чудо! – русский, с техническим образованием! Созвонились и договорились встретиться в ресторане «Возрождение». Я, правда, страшно опоздала, потому что полчаса искала место для машины и, отчаявшись, отвезла её домой, а в ресторан пошла пешком.

В небольшом помещении, украшенном русскими куклами и картинами русских плясок на частично расписанных стенах, за баром сидел и что-то пил довольно благообразный мужчина, худой, невесть как одетый, одного со мной роста и, как оказалось, мой одноклассник. Он оживлённо разговаривал с хозяином, Борисом Вертлугиным (из харбинцев) и с кем-то ещё из обслуживающих. Я обратила внимание, что Вертлугин не очень доброжелательно относится к своему посетителю. Я заказала себе сок, без спиртного, и начался неловкий разговор-расспрос с новым знакомым, которого звали Филиппом. Обстановку облегчали обслуживающие Алексей и Нина, вмешавшиеся в беседу.

– А как вы уехали из России? Давно ли?

(Это было важно, так как по году выезда легче было установить действительную национальность.)

– Та уже шесть лет, сбёг с парохода.

– По какому рейсу вы плавали? Или то был военный корабль?

– Та не, торговый. Успел побывать во всех странах Южной Америки, что там: Перу, Аргентина, Бразилия – был и в Африке, в Индии, Австралии, Норвегии, Франции.

Такой список меня несколько озадачил, показался слегка преувеличенным.

– Кем же вы здесь работаете, как устроились? По специальности, нет? Обзавелись домом, машиной?

– Та машина есть, вон на улице бывший «Паккард» стоит (через стену ничего не было видно). Ну, а живу в порту, прямо на доках, около дежурной, там хозяин мастерской дал мне комнату. Так намного дешевле, а мне хватает, на пароходе я привык, и хлопот меньше.

«Да ты, похоже, совсем не техник, а чернорабочий... Чего же ты брешешь? Или хочется чем-то пощеголять, хоть для самоподбадривания?» – зашевелилось в моих мозгах.

– Извините, нескромный вопрос: вы женаты?

– В России осталась жена с дочкой, а тут никак не приспособлюсь. Одна женщина только и смотрела, когда мне получку дают, и всё забирала себе под разными предложениями. Бросил её, а то обидно на другого работать. Другая истеричная была, всё кричала, плакала, да и пила много. Тоже бросил, а то из-за неё и сам сопьюсь. Я, конечно, не враг рюмочку опрокинуть, но всё же в алкоголики не хочу.

– Да, тут много пьют, почти столько же, как и в России, только в другом стиле, что ли.

– Мне бы вот такую, как вы, чтобы держать меня на ровной дорожке. А пока давайте закажем ужин, думаю, вы проголодались.

– Ну так, не очень, – сказала я осторожно, зная, что в «Возрождении» драли по-средневековому, без особых зазрений совести, а финансовое положение моего экс-морьяка и экс-техника было мне неизвестно.

– Тогда мы закажем порцию пельменей и две тарелки.

– Хорошо, как хотите.

Про себя же я подумала, что у этого героя с деньгами негусто или он ещё больший скряга, чем я.

Принесли мисочку пельменей, которую любой одолел бы без труда в одиночку; нам же её поделили. Я опять заметила неодобрительный взгляд Вертугина.

– Знаете, я ищу женщину без проблем. А то с одной я дружил, хорошая такая была, но образованная, всё читает и читает. К чему мне это? И всё хотела по закону, всё настаивала жениться. Я от неё избавился тоже, а то обязательства на себя возмёшь, а она этим воспользуется и тоже начнёт выколачивать из меня все заработки.

Тут мои шариком заработали быстрее: «Эге, да у тебя комплекс неполноценности из-за отсутствия образования, и хоть ты и петушишься, а тебе не по себе, когда женщина тебя переплюнула. Ты, похоже, неплохой парень, но над тобой придётся много поработать, заставить окончить какие-нибудь курсы, найти более сложную и лучше оплачиваемую работу, от водки отучать...» Вслух я, конечно,

но, не высказала ему свою воспитательную программу, а постаралась сгладить «грехи» неудавшейся соперницы.

– Ну а как же, её тоже можно понять. Хотела какую-то гарантию, обеспеченность, уверенность в завтрашнем дне. Ведь, согласитесь, убирать, стирать и варить человеку так, за одни красивые глаза, неинтересно и не всякий согласится. А вдруг вы найдёте другую, уйдёте, а эта останется ни с чем и все её труды пропадут даром?

– Так-то оно так, но что я с ней буду делать? Читает всё и читает и всё пытается меня заставить. А к чему это? На что мне? Да и дом она порывалась купить, а за него потом плати и плати, а если потом развод, так она его себе приберёт – и плакали мои денежки. Нет, мне нужно женщину без таких требований, чтобы с ней жить попросту.

– Ну, не знаю... – промычала я, чтобы что-то сказать.

– Знаете такую песенку: «Ах туманы мои, растуманы...»? Я её очень любил, это как в Ленинграде часто туманы...

– Слышала, что такая есть, но знать целиком не знаю. Уже довольно поздно, думаю, стоит идти.

Разговор не вязался, не о чем было говорить. Допрашивать о подробностях его жизни значило всё больше раскрывать дутость, пустоту его бытия. Рассказывать о себе значило вызывать у него зависть, чувство неполноценности, чувство провала. До общих отвлечённых тем он не дорос, не хватало образования. А весело трепаться о чепухе не получалось у меня: слишком я была застенчива и натянута в разговоре с незнакомым человеком.

Он расплатился, и мы пошли. Я думала, что поедем на его белом «Паккарде», так как по Сан-Франциско ночью ходить не советуют, но он сказал, что тут недалеко, можно пройти. У меня zakралось подозрение, что машины у него тоже нет, как и того технического образования, о котором он писал в своём объявлении в газете. Ничего не поделаешь, реклама есть реклама.

Моросило. Через капли дождя мерцали огни бульвара Гери.

– Погода совсем как в Ленинграде... «Ах туманы мои, растуманы...» – повторил бедный Филипп, не зная, что сказать.

– Да, туман... – поддержала я.

В уме же я прикидывала другое. Через две недели намечен мой отъезд обратно в Каракас. Полтора года в Сан-Франциско не дали никакого результата (кроме депрессии), а в Венесуэле я всё-таки добьюсь повышения в послы. Должны же признать мои заслуги по изданию книги о границах (как я глубоко ошибалась, хотя хорошо знала своё министерство!). Когда я этого добилась – через два с половиной года, после многих унижений, – то совсем не за издание книг. Если бы ты мне раньше встретился, я бы попыталась тебя обтесать. С тобой нужно долго возиться, и ещё неизвестно, что получится. Может, ты и мне скажешь, что я много читаю и тебе это не годится. Вообще же ты, похоже, хочешь бесплатное обслуживание и никаких обязанностей. Ещё не известно, что о тебе говорят эти женщины... Каких «мужчин» «производит» «социалистическое воспитание» в СССР! «Самое лучшее в мире!»

– В субботу будет вечер в Русском центре, если хотите, можно пойти, – неуверенно пригласил Филипп.

– Спасибо, но не знаю, как у меня будет со временем, я готовлюсь к отъезду. Надо будет созвониться.

Мы подходили к дому. На углу, чтобы не показывать, где я живу, я сказала, что отсюда уже дойду сама. Мы распрощались. Он, похоже, был не очень доволен моим ответом и выходкой. Я сознавала, что он прав, но осторожность брала верх.

– Ну до свидания, тогда созвонимся. «Ах, туманы мои, растуманы...»

Мне было его жалко. Видно, по нему прокатилась война, может, и ЧК кого из родственников прихватил, может, он из раскулаченных или власть имущие причисляли его ещё к какой-то категории «врагов». Ведь это одно из главных «достижений» «интернационалистов»: разделить народ на послушных «энтузиастов» и на подлежащих истреблению «врагов». Из-за этого он не доучился. Привык к поражениям, привык к тому, что хороших вещей ему в жизни не полагается, это для номенклатуры, социалистической или капиталистической. А отсюда и прибитость, пришибленность, слабость характера, чувство неполноценности, попытки петушиться, выдавать себя за что-то другое. То есть выдавать единоличную «туфту». Где и когда произошла революция, а вот мы, внуки её переживших, до сих пор платим за её последствия; они сидят внутри нас, с нами переселяются из страны в страну. И как бы подсознательно мы находим один путь пресечения этой цепи: отказываемся от продолжения собственного рода. Сдавая свою «мужскость» и «женскость»! Отказываемся от своих мужских и женских качеств! От своей природы!

Было бы больше времени, можно было бы попытаться подтянуть тебя, Филипп, хотя шансов на успех мало, а терять министерскую работу (от которой теперь зависело моё собственное выздоровление после всех сан-францисских разочарований) и посольский чин ради весьма сомнительного перевоспитания одного душевного калеки другой душевной калекой... Я сделала выбор: ехать бороться за посольское звание – и тем самым отказалась от маловероятного сближения с одним из немногих русских, которые хоть в теории могли мне подойти...

Было горько. Всё хотелось обвинить проклятую систему, покалечившую столько жизней. Но этим ничью жизнь не исправишь ни в прошлом, ни в настоящем. А те, кто от системы получал пользу, продолжали пожинать её блага и поддерживать её. Мы же оказались бессильными перед ней, перед её злом.

«Ах, туманы мои, растуманы...»



**Галина
ДЕРБИНА**

БУЛГАКОВСКИЕ ШАРАДЫ

1. ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ ПИЛАТА

– Что такое истина?
*Истина прежде всего заключается в том,
что у тебя болит голова...*

(Из беседы булгаковских героев)

Знаменитый роман «Мастер и Маргарита», написанный М. А. Булгаковым ещё в первой половине прошлого века, по сей день является одним из самых читаемых произведений, удивляя безудержной фантазией, глубиной психологического осмысления и, конечно, острой буффонадной сатирой. При всей занимательности современных глав романа его «библейская» часть остаётся до конца непонятой, а посему наиболее обсуждаемой. Версий на этот счёт высказано множество и среди них немало неодобрительных. Начало отрицательным мнениям положил А. Булис, написавший послесловие к первой публикации романа в журнале «Москва». Он полагал, что «роман не свободен от ошибочных взглядов», а «в главах «Евангелия от Воланда» пародийно переосмысливается сюжет Нового Завета и пр. Не исключаю, что во времена советского атеистического разгула Булис был вынужден высказаться подобным образом, дабы помочь роману увидеть свет. Так заставляет думать финал его статьи, где он восклицает: «Мастер и Маргарита» – выдающееся явление русской прозы!»

-
- Галина Васильевна Дербина родилась в 1950 году в Москве. Окончила Московский университет культуры по специальности «Режиссёр массовых праздников и представлений». Работала режиссёром в Центральном доме культуры профтехобразования. Служила в Министерстве культуры СССР. В 90-е годы проживала во Франции. Публиковала в газетах и журналах культурологические статьи. Живёт в Москве. Автор более 150 сценариев.

Уверена, что идея романа намного глубже, чем шаржирование канонических книг. Думаю, вполне возможно отбросить навязанные роману атеистический шлейф, мнение о пародировании новозаветных текстов и пр. Чтобы приблизиться к пониманию авторского замысла, предлагаю начать с булгаковского Пилата.

В романе Пилат величает себя всадником Золотое Копьё. Всадник – знатное римское сословие, своего рода элита¹. То, что прокуратор является всадником, характеризует его как «самого сильного мира сего».

Из новозаветных Евангелий известно, что во время суда Пилат трижды отказывался предать смерти Иисуса Христа, тем не менее вынес смертный приговор. Понтий Пилат из «Евангелия от Воланда» активно не желает казнить Иешуа, но под воздействием обстоятельств вынужден вынести страшное решение. Этот факт является единственным совпадением, все остальные события лишь отдалённо напоминают канонический текст. И это закономерно: писатель не ставил задачу простого пересказа библейской истории. Скажу больше, в «Мастере и Маргарите» не Пилат, а Воланд задумал и воплотил казнь Иешуа. Здесь справедливым будет вопрос: каким образом он смог повернуть это меропрятие, если в главах романа, повествующих о Га-Ноцри, Сатана отсутствует? Забегая вперёд, отвечу: тайным образом. Точнее, Михаил Афанасьевич повествует о суде Пилата в полном соответствии с мистическим жанром, раскрывая «незримую» миссию Сатаны в многочисленных пояснениях и подтекстах.

В начале 2-й главы Пилат начинает ощущать нагнетание чего-то тяжёлого. Его тревога и испуг от ремарки к ремарке становятся всё сильнее. Ниже по тексту замечаем, что описание поведения прокуратора нарочито противоречиво. К примеру, после того, как Крысобоу ударил бичом Иешуа, повествуется не о страданиях побитого, а о муках Пилата: «Вспухшее веко (*Пилата*) приподнялось, подёрнутый дымкой страдания глаз уставился на арестованного. Другой глаз остался закрытым». Невольно создаётся впечатление, что пострадавшим оказался не подследственный, а судья. Хорошо знающие роман возразят и напомнят, что у прокуратора болит голова, отсюда его муки. Это справедливо, если писатель имел в виду обычное человеческое заболевание. Однако такая яркая характеристика, как ужасная боль в столь ответственный момент, по меньшей мере отражает особую задумку автора, тем более что ни в одном из Евангелий о гемикрании и помину нет. Допускаю, что заболевание придумано Булгаковым и внесено в сцену суда для того, чтобы ослабить «сильного» Пилата, а проще говоря, он специально поставлен писателем в ситуацию, где самый «сильный мира сего» беспомощен.

Попробуем разобраться, что же это за болезнь, названная «непобедимой», болезнь, от которой «нет средств, нет никакого спасения». Подсказку находим в сцене разговора с Каифой, который называет Пилата губителем. «Губитель» – это ёмкое и образное

¹ К примеру, всадником был М. Т. Цицерон.

слово, в библейском словаре употребляемое только в адрес Сатаны. Неслучайно далее по тексту головная боль названа «адской», а жара в момент принятия решения о казни – «дьявольской» и «как в пекле». Замечу, что вне зависимости от жары Пилат испытывает сильнейший холод, напоминающий холод мёртвого тела. Одновременно с этим читаем, что голос прокуратора становится «придушенным», он «сидел как каменный». Его человеческая улыбка замещается «оскалом», прокуратор по-звериному «скалит зубы» и к концу суда напоминает волка, попавшего в капкан. Глаза Пилата тоже несут в себе отпечаток влияния потусторонних сил, под воздействием которых они трансформируются, превращаясь из живых в загробные.

Известно, что в домашнем собрании книг Михаила Афанасьевича имелась «История сношений человека с дьяволом» М. А. Орлова, которой писатель пользовался во время работы над романом. Опуская детали, отмечу, что основные признаки воздействия сверхъестественных сил на людей, рассмотренных в книге, в сцене суда писателем использованы многократно. Так, у Орлова развёрнуто описан принцип подселения к человеку нечистой души. Не менее подробно он внесён Булгаковым в Пилатовы муки и его последующее перерождение. Наиболее объёмно эти изменения читаются в динамике взгляда Пилата: сначала его человеческий взгляд становится «воспалённым», затем «заплывает красными жилками», потом «взор становится бешеным» и с «дьявольскими искрами», «глаза как будто провалились». Эту косвенную параллель между прокуратором и «иностранном консультантом» писатель усиливает метафорами, которые одновременно касаются и глаз Пилата, и глаз Волаанда. У эlegantного незнакомца правый глаз «был мёртв», а левый зелёный «то мерцал, то сверкал». У Пилата после Волаандовой обработки глаза «мерцают», «сверкают», а впоследствии «мертвеют».

В изменении взгляда Пилата читается аллегория, где неправильный взгляд отражает позицию не света, но тьмы. Кстати, такого рода аллегория довольно часто встречается в книгах Нового Завета. Так, в «Деяниях Апостолов» читаем: «...открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу». (Деян 26;18)

Монологу Пилата не соответствуют, а иногда прямо противостоят его поступки. Так, допрашивая, Пилат произносит грозные слова, обличает, а местами откровенно запугивает Га-Ноцри, но вместе с этим «...послал в своём взгляде какую-то мысль, которую как бы хотел внушить арестанту». Помогая понять вынужденную двойственность Пилата, Булгаков обращает внимание читателя на его странные мысли: «Мысли понеслись короткие, бессвязные и необыкновенные». В чём их странность? Попросту говоря, в том, что в поток Пилатовых дум писатель умышленно вклинивает чужие соображения. При этом автор замечает, что прокуратор сам не всегда понимает «свои мысли», и это удивительное и совершенно неестественное обстоятельство больше всего пугает его. В голове у Пилата всё время сталкиваются два потока мыслей, исключаящих друг друга. Чужие мысли довольно агрессивные, они постепенно овладевают вначале мозгом Пилата, а затем телом и, как следствие, последующими действиями.

Прокуратор, вернее, его оставшаяся не порабощённой часть мозга, пытается понять происходящее и констатирует: «...ум уже не служит мне больше...» Выходит, что чужой ум заставил сделать Пилата то, что было противно его воле. Удивляться догадке о тайных манипуляциях Воланда не приходится, так как в беседе на Патриарших профессор сообщил Берлиозу и Бездомному: «...я лично присутствовал при всём этом. И на балконе был у Понтия Пилата, и в саду, когда он с Каифой разговаривал, и на помосте, но только тайно, инкогнито...» Невидимое присутствие Сатаны закреплено автором в деталях, имеющих отношение к Пилату, многие из которых переходят из современных глав в библейские, и обратно.

Одним из наиболее знаковых «кочующих» предметов является плащ. У Пилата он белый с красным подбоем, у Сатаны – чёрный с красным. Кровавый подбой плаща объединяет героев не только предметно, но и по смысловому подтексту. В 26-й главе, рассказывающей о вечере после казни, Пилат вновь ощущает присутствие рядом того, кто воздействует на него. Растревоженный, он пытается обнаружить невидимого врага: «Один раз он (*Пилат*) оглянулся и почему-то вздрогнул, бросив взгляд на пустое кресло, на спинке которого лежал плащ. Приближалась праздничная ночь, вечерние тени играли свою игру, и, вероятно, усталому прокуратору померещилось, что кто-то сидит в пустом кресле. Допустив малодушие – пошевелив плащ, прокуратор оставил его...» Присутствие Воланда почувствовал и чуткий Левий Матвей, приведённый Афранием в покои Пилата: «Сядь», – молвил Пилат и указал на кресло. Левий недоверчиво поглядел на прокуратора, двинулся к креслу, испуганно покопился на золотые ручки и сел не в кресло, а рядом с ним, на пол». Левий не решился сесть в кресло, внешне стоящее пустым, но, судя по подтексту, заполненное духом зла.

Из вышесказанного получается, что булгаковский прокуратор был всего лишь жертвой, а точнее, орудием, инструментом для выполнения далеко идущего плана Сатаны. О Воландовом плане речь пойдёт ниже. Здесь же отмечу, что роман Мастера не может носить иное название, как только – «Евангелие от Воланда».

Евангелие переводится с греческого как благая весть. Во имя спасения человечества Бог Отец послал в мир Сына. Иисус Христос принёс на землю благую весть; Он сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь». (Ин. 14:6) По мысли Булгакова, Воланд, подражая Богу Отцу, как бы посылает в мир своего «духовного» сына (точнее, идею, каким он бы хотел представить людям Христа, пародию на Спасителя, чтобы ввести в соблазн) – Иешуа; Га-Ноцри предлагает иную весть, которая не является ни благостью, ни спасением. «Благая» весть Иешуа – болезнь и следующая за ней гибель. Отсюда неслучайно, последнее, что пришло Пилату в голову: «Погиб!..»

2. МИР ПЕРЕВЕРНУТЫЙ – МИР ВОЛАНДА

– *Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего...*

(Воланд)

– *Просите, и дано будет вам; ищите и найдёте; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает...*

(Спаситель. (Мф 7.7–8))

Латунский и иже с ним ошиблись, назвав «Евангелие от Воланда» «апологией Иисуса Христа», так как в жизни Га-Ноцри найти детали биографии Христа почти не представляется возможным. У них разные места рождения, жительства, захоронения и возраст. По-разному описаны сцены восхождения на крест и снятия с креста. Не говоря уж о том, что у Га-Ноцри всего один ученик, и он не умер на кресте, а был заколот палачами и т. д. Все перечисленные несоответствия жизненного пути Иешуа с биографией Иисуса Христа имеют одну причину и подчинены авторской идее, которая носит апокалиптический характер.

Не последним отличием является несхожесть значений их имён. О значении имени Иешуа Га-Ноцри написано немало, остановлюсь на решающем расхождении. Христос в переводе с греческого означает – помазанник, Мессия, по-простому – Спаситель. Га-Ноцри имеет массу переводов, но главное, что мессианский смысл в прозвище булгаковского героя отсутствует. Кстати сказать, имена героев «библейских» глав романа отличаются от евангельских: Каиафа – Каифа, Матфей – Матвей...

«Одна буква – не велика разница», – подумает кто-то.

Да, всего одна буква, но в ней заключён код или приём, с помощью которого можно многое уяснить. Подобный приём зафиксирован ветхозаветным автором в истории Авраама из книги «Бытие». Когда Господь явился ему и заключил с ним завет, Он тут же изменил его имя, прибавив к последнему ровно одну букву. «Я – вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов...» (Быт. 17. 4–5) Тогда же имя Сары стало – Сарра. Затем последовали известные события: девяностолетняя Сарра понесла от девяностодевятилетнего Авраама и родила Исаака. И это не удивительно. Божественное слово, состоящее из Божественных букв, – это животворящий Логос...

Полагаю, что Булгаков воспользовался приёмом, известным всякому, кто внимательно читал Библию, чтобы не только отделить литературных героев от исторических, но, в большей степени, помочь читателю понять суть придуманных им образов. Итак, Бог прибавил букву к имени Авраама, а булгаковский дьявол убирает букву или меняет имя вовсе, тем самым подводя читателя к мысли: мир Сатаны – мир перевернутый. Он противоположен Божественному замыслу.

С рассказом об Аврааме соприкасается шарada, связанная с отцом Иешуа. Напомним, что родители Га-Ноцри неизвестны, но один из них – сириец. Для чего же подобное уточнение могло понадобиться Булгакову? Следуя моей догадке о том, что построение образа Иешуа диаметрально противоположно образу Иисуса, могу предположить: уточнив национальность родителей героя, писатель говорит, что Иешуа не может быть Мессией, так как не является потомком рода Авраама. В христианской традиции Иисус Христос потому и признаётся Мессией, что, судя по родословной (Лк 3: 23–38), ведёт свою генеалогию через Авраама, а для Спасителя мира это было обязательным условием ещё с ветхозаветных времён.

Здесь стоит отметить, что у Иешуа есть своего рода прототип – это Иисус из «Евангелия Льва Толстого». Конечно, сравнивать напрямую два столь разных образа трудно, но идеи так называемых «евангелий» схожи, а именно: оба повествуют не о Мессии – Спасителе мира, а об обычном человеке. Они и заканчиваются одинаково: смертью Иисуса-Иешуа. Из своего «евангелия» Толстой вычеркнул все строфы о чудесах Спасителя, о светлом Воскресении, Вознесении. Он отрицал Христово непорочное зачатие, важнейшие события жизни Спасителя. По его мнению, они противоречат разумному пониманию. Допускаю, что Михаил Афанасьевич Булгаков, мягко говоря, был не согласен с религиозными воззрениями Льва Николаевича Толстого, причём настолько, что почти напрямую заимствовал толстовскую антимиессианскую идею образа Иисуса и «вложил» её в «Евангелие от Воланда». Конечно, нельзя не отметить, что толстовский Иисус, а вслед за ним и Иешуа – люди хорошие и очень добрые. Правду сказать, доброта Иешуа нарочита и противоречит здравому смыслу. Автором она умышленно доведена до абсурда: вероятно, именно подобной добротой устлана дорога в ад.

3. ОБЕЩАНИЕ ВОЛАНДА

– Ваш роман вам принесёт ещё сюрпризы.

(Воланд)

Некоторые читатели считают Воланда справедливым и честным. А как можно думать иначе, если сразу по приезде в Москву он устроил весёлый праздник в варьете, дал шикарный бал и, главное, вернул из небытия «угаданный» Мастером роман. За год до этого Воланд заботливо обеспечил Мастера огромным выигрышем, а чтобы он не трудился в поисках газеты с выигрышной таблицей, подкинул её в корзину с грязным бельём. А ещё принарядил Мастера в «прекрасный серый костюм» и поселил в подвал, чтобы тому, кого назначил себе соавтором-медиумом, было удобнее слышать мысли, которые Сатана нашёптывал ему из преисподней. И в довершение он устроил Мастеру встречу с любимой, предварительно заморочив ей голову, как

в начале времён праматери Еве. Всё это так, если читать роман Булгакова «по поверхности» и не думать, зачем понадобилось писателю после Толстого сочинять ещё один сокращённый вариант Евангелия. Ответ на этот вопрос соприкасается с шарадой о возрасте Иешуа.

Когда впервые я задумалась над тем, почему Иешуа 27 лет, а не 33 года, то первое пришедшее в голову: герою Булгакова 27 лет потому, что так захотела фантазия писателя, художественному образу не нужны документальные обоснования. Спустя время я вспомнила про ошибку монаха Дионисия Малогод². Известно, что в 535 году он вычислил дату рождения Христа, которую католическая церковь приняла как истинную. Позже выяснилось, что в его расчёты вкралась погрешность, из которой следует, что Христос родился в 3 году н. э. Сегодня существует много новых пересчётов начала летоисчисления и названы разные цифры-ошибки. А это значит, что все исчисления одновременно можно поставить под сомнение, а посему у Булгакова были все основания ввести любую дату рождения Иешуа.

Вопрос, однако, заключается в том, что в тексте романа одновременно присутствует не одно, а сразу оба числа: и 27, и 33. Число 33 введено в повествование косвенным образом. В начале второй главы читаем: «Ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана...» Булгаков точно указывает месяц и число, если к ним прибавить день недели, то будет очень просто определить год. Из контекста следует, что дело было в пятницу. Напомню: лишь в пятницу возможны приготовления персонажей к праздничной субботе – иудейской пасхе. Иными словами, речь идёт о 33 годе нашей эры. Из вышеизложенного получается, что Иешуа казнили в 33 году по Р. Х., в возрасте двадцати семи лет. Что же несёт в себе это таинственное число 27? Полный и довольно простой ответ на эту загадку даёт нам древний язык Библии. В ней часто цифры, помимо определённого значения или даже вне его, наряду с прямым лексическим, имеют мистический смысл.³

С уверенностью скажу: если Булгаков указывает точное число, то это может быть подсказка, безусловно, надо видеть и возраст героя, и нечто обобщённое, что может обозначать весь объём информации, измеряемой числом 27. Использование писателем условных библейских приёмов по всему полотну романа позволяет расшифровать число как символ, определяющий суть деятельности литературного героя. Итак, кем же может быть Иешуа по сути?

Как известно, Новый Завет, повествующий об Иисусе Христе, состоит из 27 богодуховных произведений. Последняя, двадцать седьмая книга – «Откровение Иоанна Богослова» или «Апокалипсис». Он и является ответом на шараду о возрасте Иешуа. В «Апокалипсисе» два героя – Христос и Антихрист, как, впрочем, и в романе

² Оговорюсь, что тогда я ещё не догадывалась об апокалиптической идее булгаковского романа и полагала, что Иешуа Га-Ноцри идентичен образу Иисуса Христа.

³ Самой известной является цифра 3. Бог предстаёт перед Авраамом в виде трёх ангелов (Троица). «Четыре» означает совокупность: четыре Евангелиста, четыре стороны света. 12 – символ цельности: в году 12 месяцев; день, как и ночь, состоит из 12 часов, 12 Апостолов, 12 колен Израилевых.

«Мастер и Маргарита». В «московских» главах Воланд рассказывает об Иисусе, а в библейских – об Иешуа. Герой «Апокалипсиса» Антихрист, так же, как и Иешуа, вроде бы всем походит на Иисуса Христа, но, как говорит русская пословица: «Федот, да не тот».

И последнее. Как и многих, меня всегда волновал вопрос о том, как определить приближение апокалиптических времён. На эту тему я прочитала много интересных размышлений. Остановлюсь на одном. Иоанн Кронштадтский (кстати, его имя упомянуто в романе, и это не случайно, это очередная булгаковская подсказка) считал, что пока «Благая весть» о Спасителе не распространится по всему миру, пока о ней не узнает самый последний человек, ожидать апокалипсиса не стоит, так как Бог любит всех одинаково и не может оставить без надежды на спасение хотя бы одного человека, пусть даже не самого хорошего. Из этого может следовать, что сюрприз, который пообещал Воланд, заключается в тайной миссии Сатаны, мастерски и остроумно придуманной Булгаковым. Если таинственный профессор, написавший фальшивое евангелие, распространит его в параллель с Богом, то часть человечества, предпочитающая Га-Ноцри Христу, стройными рядами пойдёт в противоположную сторону от дороги, пройденной Спасителем. Здесь стоит опять остановиться, так как дорога Иешуа на Лысую гору и впрямь лежит в стороне от крестного пути Иисуса Христа на Голгофу.⁴ И в этом читается явный авторский намёк, что отождествлять Иешуа Га-Ноцри с Иисусом Христом ошибочно. У них разные духовные пути-дороги. Литературный антихрист Иешуа не может принести людям спасение, а только гибель, что, собственно, логично, ведь он герой, которого в конце времён планирует послать в мир Сатана.

Воланд, как и большинство подобных ему литературных предшественников, ироничен, коварен и хитёр. Однако перед нами новые параметры зла, представленные в элегантном и даже благородном обличье. Булгаковский дьявол – истинный князь тьмы, воплотивший безграничное зло, лишний раз он не шагнёт и слова не молвит. Писатель рисует своего героя крупными мазками и ставит перед ним задачу глобального масштаба. Сатана Булгакова притомился искушать людей по отдельности и задумал покончить с миром одним махом. Дьявол явился в Москву не балы давать, а внедрять в людские умы, отравленные атеизмом, евангелие о добром Иешуа, проповедующем своего рода непротивление злу, поскольку практически зла нет, ведь, как говорил Иешуа, все люди хорошие. Судя по тому, как уважительно многие относятся к булгаковскому Сатане и его рассказу о Га-Ноцри, на сегодняшний день Воланду эта каверза пока удалась.

Слава Богу, есть ещё время, и мы можем перечитать и Новый Завет, и роман великого писателя, а главное – поразмышлять, по какому пути следует двигаться каждому из нас.

⁴ Проверено мною по карте Древнего Иерусалима.

К 55-ЛЕТИЮ ПОЛЁТА ПЕРВОГО КОСМОНАВТА ЗЕМЛИ Ю. А. ГАГАРИНА В КОСМОС



**Владимир
ЕФИМОВ**

ТОМАШОВКА. ШКОЛА. «КОСМИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ»

12 апреля средняя школа в деревне Томашовка Брестского района Республики Беларусь превращается в наземную «космическую станцию». В День космонавтики на малой родине трижды покорителя Вселенной Петра Климука всё в ней подчиняется космической теме, даже блюда повара школьной столовой приготовят по специальным рецептам для космонавтов.

КОСМИЧЕСКИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВСЕОБУЧ

Если сказать, что Томашовская средняя школа, обладающая неповторимым и единственным в Республике Беларусь Музеем космонавтики, к космосу приобщается только перед самым 12 апреля, значит, не сказать ровным счётом ничего или погрешить против истины. Даже сотворённая стараниями преподавателя изобразительного искусства Анатолия Полещука эмблема этой сельской школы тоже «космическая»: на голубом фоне рука человека обращена к солнцу.

Особые перегрузки на долю преподавателей и учащихся выпадают ещё задолго до этой апрельской даты. И тут проявляется исключительная особенность: до чего же неповторима и богата человеческая фантазия! Казалось бы, ну, что ещё можно придумать нового из года в год? Но каждый День космонавтики не похож на предыдущий.

Юбилейный год тоже стал неповторимым и удивительным. Ещё в феврале здесь объявили конкурс рисунков

-
- Владимир Ефимов окончил филологический факультет Саратовского педагогического института. Работал корреспондентом многих саратовских газет. Собственный корреспондент федеральных еженедельников в Нижнем Поволжье и Республике Беларусь. Публиковался в журнале «Волга—XXI век», других периодических изданиях.

и плакатов «Голубая Вселенная». В этот день каждый учебный класс превращается в орбитальную станцию, ей придумывают название, многие ученики войдут в неё в костюмах космонавтов, учительская становится «центром подготовки космонавтов», а директор Алексей Желенюк на один день меняет кресло педагогическое на должность... начальника центра управления полётами. Разумеется, только школьными. В том числе и полётами поистине заоблачной фантазии.

По сложившейся традиции, прежде чем начать «управление», директор позвонит в Москву своему земляку – лётчику-космонавту СССР Петру Ильичу Климуку, поздравит его и всех покорителей космоса с праздником и доложит о готовности школы и её пионерской дружины имени Петра Климука совершить полёт на «станции», которая в этот день, образно говоря, «стыкуется» с постоянно действующей здесь станцией – стилизованным под неё уникальным школьным Музеем космонавтики. Нетрудно догадаться, что и девиз у дружины тоже космический: «Мы красные галстуки звёздам повяжем и солнцу салют отдадим», как и названия её отрядов: «Стрела» и «Комета».

Алексей Николаевич воспользовался удобным случаем и в телефонном разговоре с Климуком напомнил про его давнее обещание подарить музею новые экспонаты, например, часть космической станции с тренажёрами. Однако успех этой акции, думаю, зависел от обстановки и реакции космонавта на сообщение о запущенной на маленькую школьную орбиту «станции» со всеми её элементами: конкурсами, фестивалями, занятиями по всем предметам. Даже уроки физического воспитания, не говоря уже про историю, астрономию и физику, посвящены исключительно космическим темам. Как преподаватель истории, директор школы рассказывает ученикам об освоении Луны. Учитель физики и астрономии Любовь Дульдер тоже приближает тему урока «к звёздам». Даже драматический кружок готовит спектакль. На переменках звучит космическая музыка. В актовом зале демонстрируются модели космической моды. В бассейне проходят соревнования, приближенные к тренировкам космонавтов под водой: выполнялась крайне сложная операция поиска на дне предметов и доставка их на поверхность.

– Это день полной свободы детского творчества и смекалки, – отмечает Желенюк. – У нас непросто работать. К нам – особое внимание. В деревню Томашовка, которая много лет назад слилась с Комаровкой, где родился Климук, приезжают не только со всех концов Беларуси, но и всего мира. Однажды побывали китайцы и кубинцы. Гости из Поднебесной очень удивились месту своего нахождения: то ли они в городе, то ли в селе – не видели между Томашовкой и городом никакой разницы. На самом деле они оказались в одном из многочисленных в республике агрогородков.

Учителя нашей школы идут в ногу со временем, освоили компьютерный всеобуч. Как и космический всеобуч. В школьном Музее космонавтики принимаем в пионеры, вручаем паспорта. На линейке я обязательно говорю: «Пётр Ильич каждый день смотрит на вас, знает, какие оценки вы получаете на уроках». Эта маленькая хитрость способна, на мой взгляд, подстегнуть ребят хорошо учиться. Хоте-

лось, чтобы кто-то из выпускников школы продолжил дело Петра Ильича и стал покорителем Вселенной, но сейчас, увы, это практически невозможно. В отличие от своих сверстников первых космических лет, нынешние школьники хотят стать не космонавтами, а банкирами и коммерсантами.

– Я прекрасно помню тот декабрьский день 1965 года, когда стало известно о первом полёте Петра Климука. Тогда наш пионерский отряд носил имя Юрия Гагарина, – вспоминает руководитель музея Татьяна Желенюк. – Нас выстроили на школьном дворе на митинг. Все мечтали стать космонавтами. И я тоже. Но никто им не стал, хотя в авиацию пошли мой родной брат Виктор Дмитрук и двоюродный брат Владимир Сивоха. Оба окончили военные лётные училища, а Володя даже академию в Ростове-на-Дону. Помню приезд Климука в нашу школу. Но даже представить не могла, что через много лет космическая тема займёт важное место в моей работе и я буду встречаться с Петром Ильичом. Его учительница русского языка Мария Яковлевна Краснова многое сделала для создания нашего музея. А одноклассница Данута Станиславовна Хрущ работала в школе учителем начальных классов.

ЗЕМНОЙ «ПОЛЁТ»

Всякий переступающий порог открытого в 1978 году музея даже не входит – на мгновение застывает от неожиданного видения голубой небесной дали и тут же будто «вплывает» через орбитальный отсек пристыкованного к «станции» космического корабля. Даже мозаичные окна-иллюминаторы – и те с космическими сценами. Небольшой полёт фантазии, «наводки»-подсказки экскурсовода – и ты ощущаешь себя как на настоящей станции, паришь и видишь по обеим сторонам отсека поручни, портреты Циолковского, Цандера, Королёва – на фоне больших рисунков то ли дирижаблей, то ли космопланов, телескопов и иных приборов для исследования Вселенной. Уже с первых шагов звёздный мир завораживает, и, преодолев это пространство, попадаешь в первый зал, где перед твоим взором предстают модель космического корабля с величавой надписью: «СССР», модель искусственного спутника Земли и ракеты, поистине уникальные вещи, «побывавшие» в космосе: гидрокомбинезон Климука, его амортизационное кресло, теплозащитный костюм, продукты питания, прибор для питья воды в условиях невесомости.

Но вот начинается самое интересное. На стене перед входом в первый зал, над большим рисунком «плывущего» в космосе исследователя – слова Сергея Павловича Королёва: «Патриотизм, отвага, скромность, трезвость мгновенного расчёта, железная воля, любовь к людям – вот определяющие черты космонавта». Спрессованные, слитые воедино в некий нерушимый монолит, они как требование и залог успешного решения поставленных перед каждым космонавтом задач. Этому высочайшему мерилу отвечали все советские покорители Вселенной: и первопроходцы, и те, кто шёл по ими проложенному

пути. Пётр Климук продолжил начатое Юрием Гагариным дело. Для него Первый космонавт Земли был примером: «Когда меня спрашивают, кто твой любимый герой, я, не раздумывая, отвечаю: Юрий Гагарин. Буду бесконечно счастлив, если внесу в дело, начатое им, свой хотя бы небольшой вклад». Так удивительно скромный Пётр Климук оценивает свои три полёта в космос. Приезжая в Томашовку, он при встречах признаётся: «У меня такое ощущение, что я что-то должен, я здесь в вечном долгу».

КОСМИЧЕСКОЕ ДОСЬЕ ЗЕМЛЯКА

78 дней, 18 часов, 18 минут и 42 секунды провёл на околоземной орбите советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Пётр Ильич Климук. В 1965 году, в год первого выхода человека – Алексея Леонова – в открытое космическое пространство, 23-летний военный лётчик, уроженец села Комаровка Брестского района Пётр Климук был зачислен в Отряд советских космонавтов и стал первым из тех, кому довелось совершить три полёта в качестве командира экипажа.

С каждым стартом программа и цели полётов значительно усложнялись, были выбраны и шлифовались поистине революционные направления в освоении космического пространства: шла подготовка к созданию принципиально новых космических станций длительного многоразового использования. Свой первый полёт Климук совершил 18–25 декабря 1973 года на корабле «Союз-13» вместе с бортинженером Валентином Витальевичем Лебедевым. В апреле 1975 года он был дублёром командира корабля при неудачном старте «Союза-18-1». Второй раз он поднялся в космос 24 мая того же года на корабле «Союз-18-2» вместе с бортинженером Виталием Ивановичем Севастьяновым к орбитальной станции «Салют-4». В дальнейшем готовился по программе «Интеркосмос» с участием государств Социалистического Содружества. С 27 июня по 5 июля 1978 года он возглавлял один такой международный экипаж. Он отправился на корабле «Союз-30» вместе с космонавтом-исследователем, гражданином Польской Народной Республики Мирославом Гермашевским, а затем они стали участниками экипажа станции «Салют-5» вместе с Владимиром Васильевичем Ковалёнком и Александром Сергеевичем Иванченковым.

СТУПЕНЬКА В КОСМОС

– Все, кто впервые попадает в наш музей, сразу же цепенеют от неожиданности, непривычная «космическая» обстановка завораживает, – рассказывала мне экскурсовод – старшеклассница Ирина Карпюк, кстати, живущая по соседству с родной сестрой Петра Ильича.

Руководитель музея Татьяна Желенюк предложила ей, ещё семикласснице, и её двоюродной сестре Кристине Карпюк вести экскурсию. Девочки согласились и начали учить, но не заучивать предложенный им текст. Его не надо было пересказывать – только рассказывать,

чтобы уже на первой минуте не «убить» своей заунывной декламацией интерес слушателя, а, напротив, пробудить в нём интерес. После нескольких проб девочки освоили роль экскурсоводов.

Поразившись всему впервые увиденному в музее, Климук воскликнул: «Дать бы невесомость, точно чувствовал бы себя в космосе!» И, представьте, невесомость и состояние полёта тут тоже «дают», но уже в другом зале: она появляется, когда на потолке возникают импровизированные звёзды, начинается звучать космическая музыка и перед посетителями внезапно возникает макет аппарата «Спутник-1» – в натуральную величину.

– Видя голубое небо, корабли, слушая космическую музыку, некоторые почему-то считали, что их ожидает дискотека, – вспоминала Ирина. – Так и спрашивали: «Что, будет дискотека»? Но я рассказывала посетителям о первых космонавтах, спутниках и ракетах, про еду в тубиках, и это увлекало гостей. Они спрашивали о масштабах представленных здесь экспонатов, просили рассказать об интересных фактах освоения космоса. И тогда мне приходилось искать ответы на эти вопросы в книгах. Все видевшие настоящее, побывавшее на станции и специально изготовленное кресло для Петра Ильича приходили в трепет. Моя мечта – видеть наш маленький музей большим.

В том же втором зале под стеклом видим переданный Петром Ильичом его генеральский мундир, большую копию первой полосы газеты «Правда» с сообщением ТАСС о первом его полёте – совместно с Валентином Лебедевым, книги о Гагарине, его большой портрет и книгу «Утро космической эры» с развёрнутыми страницами, на которых фотографии, сделанные сразу после приземления космонавта. В год полёта Юрия Алексеевича её подарил своей дочери Елене, родившейся в сентябре 1961 года, отец – майор Советской Армии Алексей Иванович Щетнев, служивший в ракетных войсках. «Если эта книга, – написал он в сопроводительной записке, – как экспонат займёт достойное место в вашем музее, семья будет очень рада. Мы поручаем подарить эту книгу учащимся 2 «Е» класса средней школы № 23 Бреста и их учительнице Татьяне Васильевне Котковской. Извините за внешний вид. Эта книга путешествовала вместе с нашей семьёй от Прибалтики до Дальнего Востока и вернулась в Беларусь, где и была подарена».

Из этого наполненного документами и картинами космоса «орбитального отсека» перемещаешься в другое, земное пространство и попадаешь в годы детства и юности Климук: видишь скромную крестьянскую хату, в которой жила его семья после войны (запечатлённый на полотне местного художника, этот дом сохранился до сих пор). Напротив входа – швейная машинка, а прямо по центру – портрет родителей Петра Ильича и его школьная парта. Во время одного из своих посещений школы Климук сел за неё вместе со своим не менее прославленным земляком и однокашником – Героем Беларуси Петром Прокоповичем. Эту школу он успешно окончил в 1959 году. К тому времени проблема выбора профессии перед ним уже не стояла: он твёрдо решил стать лётчиком. Татьяна Желенюк вспоминает, как он зимой вместе с друзьями на местном замёрзшем

озере ставил колесо от повозки, и оно превращалось в центрифугу. Она ему до начала космической эры, естественно, не была известна, но её необходимость в подготовке лётчика он словно бы чувствовал и предвосхищал.

Фанатичная любовь к небу, к заоблачным высотам и звёздам проявилась у выпускника школы Климука во время выпускных экзаменов. Получилось так, что день полётов в Брестском аэроклубе ДОСААФ пришёлся на день сдачи экзамена по математике. Оказавшись в нелёгкой для себя ситуации, юноша принимает столь же непростое для себя и столь же дерзкое по своей смелости решение: просит Прокоповича убедить экзаменационную комиссию задержаться после приёма экзамена у всех одноклассников и дожждаться его возвращения с экзамена лётного. Вполне возможно, просьбу какого-то другого ученика комиссия не выполнила бы, но с доводами страстно любившего небо Пети Климука согласилась и дождалась его возвращения. Он примчался на экзамен и сдал его успешно. Как знать, не пойдя комиссия навстречу Климуку, между ним и небом возник бы шлагбаум. Правда, зная любовь Петра к небу, можно предположить, что он бы осуществил мечту позже, с большими для себя временными потерями, но буквально через год он становится курсантом лётного училища, потом служба, полёты и в 1965 году – приглашение в Отряд советских космонавтов.

Кроме профессии, у него есть ещё одно увлечение – изготовление мебели. В доказательство этого в третьей музейной комнате-«отсеке» представлены несколько столярных, плотницких «снарядов» и этажерка, но, к сожалению, отсутствует многое из того, что он делал из дерева, уже будучи знаменитым на весь мир человеком. Знаменитым, но по-прежнему удивительно скромным.

БЕСКОНЕЧНЫЙ МАРШРУТ «СТАНЦИИ»

Поразительная скромность исследователя космоса очень долго препятствовала появлению перед зданием Томашовской школы его бюста, который уже давно изготовил минский скульптор Иван Акимович Мисько, но Климука не давал разрешения на его установку. Однако потом всё же согласился.

Новая идея школы: поднимается вопрос о присвоении ей имени знаменитого выпускника, но опять инициативу снизу надо согласовывать. Между тем не так давно по решению сельского совета одной из новых улиц Томашовки, расположенной неподалёку от улицы имени Юрия Гагарина, присвоено имя Климука. Ресторан – и тот носит название «Космос». Он расположен рядом со старой гостиницей, но планируют строить новую, современную и просторную – для многочисленных гостей, приезжающих сюда «по космическим делам». На подходе к школе, этой своеобразной «космической станции», гости видят реактивный самолёт. Он появился здесь несколько лет назад. Точно на таком же летал в своё время Пётр Климука. Потом он пришёл в Отряд космонавтов и навсегда связал своё будущее с космосом.

Есть знаменательная, как постулат, величина: у всякого его покорителя дорога во Вселенную начиналась именно с любви к авиации. Без преданности небу не может быть преодолена невероятно трудная дорога в космос. Она покорила немногих. Среди них был и простой деревенский парень Петя Климук. Гагарин, его кумир, тоже был родом из села. Их обоих объединил космос.

Вот и юные томашовцы – волею счастливой судьбы и в знак благодарности своему легендарному односельчанину – не могут быть равнодушны к небу. Пусть без взлёта к нему, а только со стартом и финишем на Земле. Но и этого внимания и почитания вполне достаточно. Томашовская «станция» всегда на верном и бесконечно длящемся маршруте.

Выйдя из музея, я тут же мысленно «перекинул мостик» в такой же космический музей Юрия Гагарина. Я не хочу сравнивать оба музея по важности и предписанной им роли – каждый из них выполняет свою. Однако мне представляется, что, как и Томашовский его «собрат», Народный музей на саратовской улице имени Сакко и Ванцетти заслужил полное право быть внешне более respectable, чем сейчас, конечно, может быть, не таким фешенебельным, но – непременно красиво оформленным.

Возможно, кто-то посчитает мою идею обновления музея неактуальной и слишком затратной для реализации. Возражу: во-первых, для сохранения ПАМЯТИ – а здесь память особая – споры о финансах излишни, во-вторых, Томашовский музей в простом белорусском селе разве не является для нас примером? Разве жители Саратова с их огромным вкладом в дело освоения космоса не заслуживают музея такого уровня? И чем Саратов хуже в этом плане Томашовки?

**Село Томашовка Брестского района
Брестской области Республики Беларусь
– Саратов**



Елизавета
МАРТЫНОВА

Царство красоты

Н. Ф. Кременская. Колпак Буратино: Роман. Рассказы. — Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2010. — 180 с.

«Колпак Буратино» — очень хорошая книга, хотя, как кажется на первый взгляд, состоит из отдельных эпизодов из жизни автора. Читателю привычнее другое: целостное повествование или рассказы с одними и теми же героями, переходящими из произведения в произведение.

Но автор романа «Колпак Буратино» пошёл по третьему пути. Нелли Кременская из своей творческой биографии выбирает события, которые рисуют жизнь художника в главных её проявлениях, в самых важных для него деталях.

В книге нет чёткой грани между автором и героем (роман написан от первого лица), это придаёт повествованию особую убедительность. Но своё «я» писательница как бы «отдаляет» от изображаемых событий, рассказывает о своих переживаниях не только лирически задушевно, но и с юмором и иронией.

Это роман о творческом человеке, о человеке искусства, художнике и писателе. В рассказ о себе вкраплены вставные новеллы, и неслучайно: они показывают, как создаётся произведение искусства, как «писатель пишет», а точнее, в жизни видит то, что тут же превращается в произведение искусства.

Героиня — романтик, но умеет посмотреть и на себя, и на всё происходящее со стороны. Это как раз говорит и об уме, и том, что автор нашёл интересный подход к повествованию: и изнутри, и извне.

Героиня (Наталья Ивановна) рассказывает о своей жизни, вернее, о том её периоде, когда судьба её наградила «колпаком Буратино». Сюжет складывается из описания череды неудач на работе, в быту, в отношениях с коллегами и т. д. Художницу спасает творчество: резьба по дереву, живопись, написание рассказов. Более того, она преображает и свою жизнь, пересотворяя её, превращая в нечто худо-

жественное и типическое, поднимается над ней. Поэтому верно замечание, которым завершается аннотация: «Автор предупреждает читателя, что все герои романа, жизненные и производственные события им выдуманы. Все совпадения случайны...»

Конечно, Нелли Кременская пишет не только о себе, но и о судьбе творческого человека своего времени. О судьбе неординарного человека, живущего «в системе» и не вписывающегося в неё — нет, не из-за гордости или тщеславия, а именно в силу своего творческого отношения к жизни, к искусству, к людям. Она принципиальна и бескомпромиссна. Красота, всё доброе и прекрасное её восхищает. Всё уродливое и несправедливое возмущает, нарушает душевное равновесие.

Герои романа много говорят о творчестве, художниках, писателях — пристрастно, как о жизненно важном. Много интересных мыслей-афоризмов об искусстве: о том, что художник должен оставаться в одиночестве, и об объективной и субъективной красоте, и о том, что представления о красоте у людей всего мира похожие. Пишет, не злоупотребляя искусствоведческими терминами, как человек, любящий всё прекрасное, и её восхищение заражает читателя.

В романе больше героев светлых, талантливых, интересных, чем наделённых отрицательными качествами, «серых» и бесталанных. Наталья умеет восхищаться творчеством других людей, не воспринимает его как чужое, скорее, как прекрасное. С удовольствием пишет о своих друзьях, хотя и с юмором, но и с любовью тоже.

Понравился сам стиль, особенно в тех местах, где даны портреты, натюрморты — короче говоря, где появляется «живопись словом» («Бублики твёрдые, словно из керамики»). Портреты и речевые харак-

теристики героев удачные, многие образы, сравнения запоминаются. Детали определяют характер героев (например, «бутылка, заткнутая сверху газетой»). Правда, где-то в портретах проскальзывают штампы («белые от бешенства глаза»), но они не раздражают.

Хорошо, что главная героиня относится с иронией, юмором ко всем своим будничным невзгодам. Действительно, она пишет о СИСТЕМЕ, в которую поневоле встроены творческие люди. Есть попытка проанализировать, почему это происходит. Пожалуй, даже публицистические объяснения здесь излишни, сама типизация героев многое объясняет. Реальность, изображённая в романе, настолько абсурдна, что походит или на художественный мир произведений Андрея Платонова (не зря героиня романа иллюстрирует произведения этого писателя), или на сказку. Поэтому, конечно, «Колпак Буратино». И другие персонажи тоже воспринимаются как куклы (марионетки) – из крепостного кукольного театра. Много значений у выбранного заглавия, и придумано оно очень удачно.

Как герой сказки о Буратино, героиня не всегда чувствует подвох, коварство. Её легко обмануть именно потому, что

она видит в людях прежде всего хорошее, доброе, идеальное – такими, какими они должны быть. Взгляд художника из всего окружающего создаёт «царство красоты». Слова о нём вынесены на обложку книги. *«Я попала в волшебное царство красоты, пыталась вить собственные узоры. На протяжении всей жизни творчество поднимало меня на огромную высоту, где и воздух чище, панорама шире, и низвергало в сырые и тёмные ущелья, где острые камни беспощадно рвали душу...»*

Чёрная полоса сменилась белой. У жизненной сказки оказался хороший конец. Сбывается мечта Натальи – она становится признанным художником, лауреатом конкурсов, у неё организована первая персональная выставка. Можно сказать, что это – роман о становлении творческого человека, об освобождении от всех «нетворческих» страхов (или хотя бы временном освобождении при помощи творчества).

Остаётся добавить, что книга проиллюстрирована работами автора. Это задаёт убедительный тон: представлены как раз те работы, те картины и скульптуры, о которых пишет Н. Ф. Кременская.



Елизавета
МАРТЫНОВА

По велению сердца

И. М. Корнилов. Стадион: Роман. Повесть. Рассказы. — Саратов: Изд-во «Новый ветер», 2016. — 352 с.

Книга Ивана Михайловича Корнилова «Стадион» включает одноимённый роман, повесть «Недотёпа» и рассказы. Последние знакомы читателю по прежним публикациям, но в сборнике оказываются созвучны новому произведению — роману «Стадион».

Все герои — и в романе, и в рассказах — живут ожиданием чуда. Их бытовая жизнь если не скучна, то устроена не так, как им хотелось бы. Или они занимаются нелюбимым делом, трудятся ради заработка, а мечта их и радость находятся где-то далеко и в то же время совсем близко, как море у «недотёпы» Толика, стрижи немца Вальтера, влюблённость у Павла Камышилова. И всегда это чудо сбывается-обнаруживается неожиданно, и выясняется, что у героев И. М. Корнилова — безграничные возможности.

Каждый человек, по Корнилову, волен выбирать, как ему жить, чем ему заниматься, с кем общаться. Волен выбрать собственную тропинку — не из честолюбия, а единственно по велению сердца.

Удивительно, что у героев Корнилова веление сердца не противоречит чувству долга, а скорее, правильный жизненный выбор делает из них настоящих людей. Так, Павел Камышилов бросает работу геолога ради оседлой семейной жизни, политолог Вальтер вдруг увлекается изучением жизни птиц — и благодаря этому интересу преобразается, так же, как «недотёпа» Толик, с его любовью к морю и стихам, становится иным, уверенным в себе, когда отец перестаёт обучать его нелюбимой профессии, а разрешает быть самим собой.

В центре повествования в произведениях И. М. Корнилова всегда оказывается проблема жизненного и нравственного выбора. Писатель никого из героев не осуждает, хотя все его персонажи — личности довольно противоречивые, их нельзя назвать целостными натурами, просто он мягко их подводит к необходимо-

сти поменять свою жизнь. И писателю это удаётся сделать ненавязчиво, естественно, с психологической убедительностью — одним словом, художественно, о ком бы он ни писал: о деревенском школьнике или о «заграничном» политологе, о водителе-дальнобойщике или о бизнесмене. Особенно «масштабным» полотном получился роман «Стадион» — это роман о нашем городе, о его людях и судьбах.

Конечно, эта особенность прозы И. М. Корнилова говорит о богатом жизненном опыте писателя, о его умении общаться с разными людьми, понимать их и писать о них. Сам рассказчик, который появляется в некоторых произведениях, отличается не только удивительной скромностью, умением отойти на второй план, но и способностью сочувствовать, сопереживать своим персонажам. Никогда он не называет себя писателем. Но везде ощущаются его любовь и жадность к жизни, интерес ко всему новому, точнее — способствующему обновлению человека. И конечно, за кадром оказывается реальный автор, отчасти списавший рассказчика с себя. Вот и в интервью, завершающем книгу, И. М. Корнилов отводит писателю довольно скромную роль: «...Ведь писатель лишь отражает время, тот или иной исторический период или процесс... Чутким ли сердцем, обострённым ли слухом, называемым интуицией, истинный писатель в меру отпущенного ему дара «внедряет» своих героев в историческое полотно, а читатели или критики рассудят потом, смог ли стать автор выразителем своего времени».

Суждение о роли писателя спорное, с ним нельзя безоговорочно согласиться, но всё же можно предположить, что Ивану Михайловичу Корнилову в его произведениях удалось отразить время, изобразить современников благодаря богатому жизненному опыту и писательской пронзительности.



**Натэлла
ЛЕВИЦКА**

Продолжение.
Начало в №№ 3–4 2016

ЛИЧНОСТИ И ЛИЧИНКИ

Глава XII

СУХОЙ ОСТАТОК

Замалчивание причины неприязни принимается за огульное охаивание. Но все проблемы в мире – от недосказанности. Думаешь, человек не дурак и сам всё поймёт.

А человек окажется как раз «дураком» и не поймёт ничего. И будет считать себя неуязвимо-правым, и наматывать лишние километры недопонимания, строя на нём иллюзию собственного правомочия. Главное, за собственным голосом он и не расслышит аргументов стороны противной. Да ежели когда-нибудь и расслышит, под конец жизни, то и опять вряд ли что поймёт.

А причина неприязни была...

Перед тем как я уходила, отключался весь свет – так уж заведено – в фойе, в вестибюле... (И ради того, чтоб впотьмах не разбился насмерть один-разъединственный кассир, никто бы не стал менять устоявшиеся порядки... Но и мало кто из новичков подозревал о присутствии во мраке стороннего. Так, очевидно, рождаются легенды о ПОТУстороннем.)

Итак: сразу полнейшая темь – и идёшь впотьмах, на ощупь. Страшно не было – ощущение сюрреальности.

Одним таким непроглядным вечером успела только-только дойти до бельэтажа – и свет померк. Пробую дверь – заперта. И – некая подвешенность: позади – мрак, впереди – замок. Ничего не остаётся – облокотись о перила, жду пожарного.

Свет чуть-чуть пробивается с улицы. Слегка сероватый оттенок верхней панорамы. И – контрастируя – узкая полоска внизу, из женских комнат...

Мучительно долго никто не приходит меня вызволять. Посещает мысль: забыли. Караулю балконную дверь, из которой явится старичок-спаситель.

И вдруг...

Среди полнейшего мрака и одиночества – вообразите – раздаётся некий звук, будто трут донными частями фарфоровых тарелок, там где обод без глазури...

В то время я не страшилась потёмок, ибо ещё не заигрывала с тёмными силами и являлась материалистом. Потому, отменяя глюки, попыталась установить характер и источник звука.

Нет, ну представьте: три замёрзших, прозрачных этажа, в пролёте темноты и лестниц – и мерзкое шорканье, некий скрежет зубовный, адовый...

Спускаюсь на две ступени, перевешиваюсь через буковые перила, и – что вижу? Как из освещённой туалетной комнаты... осветитель – тот самый, с цыганской внешностью, любитель халявных дорогих коньяков – прёт нагло в ночи коробки с кафелем... Представляю, что сказали утром плиточники: пришли – а работать не с чем...

А судя по долгострою – нырлял ворюга за плиткой часто и регулярно.

Так вот кто таскал мои плюшки!

А из смежного, никогда не запираемого кабинета – оба телефонных аппарата – с корнями!

И мнится, вот кто свинтил все бронзовые, в виде львиных голов ручки с дверей: начальство утром пришло – а попасть в кабинеты не может, не за что зацепиться! И – паника, и бросание на стены – а поди ж ты, открывать всё равно нечем...

Стою... и смотрю на активацию его деятельности... в неосвещённое время суток...

По счастью, дверца в бельэтаж распахнулась, меня выпустили, и с двойственным ощущением гадливости и сопричастности я пребывала весь вечер...

Что с этим делать?

Каждый раз, встречая его после, пристально всматриваюсь, ища бегающие глазки, суетливо прячущиеся в карманы руки – не тут-то! Ни признака, ни полунамёка... Скорее у самой глаза начнут бегать...

А ведь могла в тот момент либо завывать потусторонним голосом, либо рывкнуть типичное: «Брось, а то уронишь!» То есть поглумиться, проявиться, поставить перед фактом и – отбить охоту расхищать добро.

...Ан нет. Промолчала.

Глава XIII

«КАРИЧНЕВЫЙ КОТ ВАСЬКА»

Из главных художников, а не из подмастерьев, мне как художнику нравились двое.

Каждый в своё время.

Один написал к «Дилетантам» мчащийся по хлябям, по раздрызганной ухабистой дороге фаэтон... И вдали, за церквами – садящееся багровое солнце. Чёрно-белое... лужи... лошади... А карета... Невероятно! Выхожу в фойе время от времени – и стою смотрю... Как дурак... Стою – и смотрю...

Другой главный художник похож на испанского гранда по стилю с полотен Эль Греко... Забрал «фрамугу» к новой премьере – и я затосковала...

Стенда не было долго. И вдруг – двое из монтажки несут, прогибаясь...

...А у него рука не поднялась, как это доселе было принято в цеху, заново загрунтовать и всё закрасить – он ПЕРЕТЯНУЛ полотном наизнанку, и теперь мне не надо выходить в фойе: картина находится здесь, в кабинете, у меня над головой. 3 на 4 метра, плюс-минус.

– Как это: другой рисовал, а я уничтожу? – пояснил позже, когда зашла речь.

Восхитилась. Чисто с этической стороны... Порядочность – она и в мелочах порядочна...

И – ему приходится начальствовать над гримзами, отбрёхивающимися от текущей работы. Такому порядочному.

И он – такой огромный и неповоротливый – идёт к Гребенщикову с плакатом – для меня, автограф.

Тот:

– Чем писать?

Он принёс баночку белил и колонковую кисточку. Гребенщикову, как художнику, сие понравилось.

Плакат и чудесная, огромная фотография сверху наколота – долго висели...

Гранд испанский, говорят, пишет крутой сюр... Жаль, но ни разу не поднялась в его мастерскую...

Даже когда дело зашло о моём портрете (начало 92-го) – а ноги не идут в цеха...

Общение вообще, как и дружба, и любовь, таинство двоих... Лишние люди – сковывают.

– Я фон нашла. Почти благородно. – Привожу его на своё рабочее место, показываю бордовые гардины.

– Почти! Не почти, а благородно! – восклицает он.

Мне хочется такую вещичку... искромётную, а-ля принцесса, но почему-то брякаю:

– Чтоб не стыдно было понести за гробом...

Две недели по два часа. Барьер как-то сам по себе исчез, кокетую, балагурю, витийствую...

– Мне сделали замечание, что моё кокетство уместно было б во времена Пушкина. А сейчас люди воспринимают иначе...

Он – кистью о полотно:

– Умный человек поймёт как надо.

Заметил на рабочем столе обрывки бумаг с зарисовками...

– И что, всё вот в таком состоянии? – ужасается. – Да вы преступно относитесь к таланту. Так нельзя же!

Ба!

Впервые от художника, серьёзного мастера – такое... Задумываюсь... Запасаюсь картоном...

В последние два-три сеанса такой помолодевший, оживлённый и осиянный! Обновлённый.

– Не знаю, от вас столько энергии... Так себя чувствую... Даже жаль, что окончили.

Дарю ему шикарное издание Библии и такое же – Евангелия. Чёрное. С золотом. (Закупила у адвентистов по случаю и распространяла по домам, где обреталась. Надо заметить: до того в тех домах Библии не было. Её вообще нигде ещё не было...)

В процессе сеансов рассказала ему: в детстве пошли классом на выставку. И там меня поразила одна огромная картина: распахнутое окно, на подоконнике стеклянный, дутый, сверкающий кувшин, крюшонник, до половины с водой; белая, ослепительная салфетка, крахмальная, жёсткая, слегка скомканная, – а там, напротив, стена дома и – мажущие бликами троллейбусные провода. Режущие глаза вспышки...

Стояла... и всё...

А после ещё и ещё приходила... И ещё...

А после спустя годы по телевидению увидела эту картину в спектакле драмтеатра...

А фамилия художника врезалась в память: Ионайтис.

Он обрадовался страшно:

– Мы с ним вместе учились!

Законченная сюжетная линия. Родом из детства...

Если картина висит, то в пятом акте...

После него – художников в театре не было. Конъюнктурщики, пожалуй. А муза – ушла.

И спустя время вижу его рисунок... в доме адвентистки! Портрет карандашный внука её. Стиль – ни с чем не спутать. Он подрабатывал на проспекте. Несколько раз находила его там за работой...

Сколь приятно увидеть нечто знакомое в чужом жилище...

Прислушалась-таки...

Рабочее время трачу на себя. В ход идёт всё, оборотные стороны афиш – тоже.

У меня хорошо оборудовано место: стол, лампа с левой стороны, одиночество.

Какое-то время спустя захожу за подругой – а её нет дома. Частный сектор, окружённый высотками. Входишь в глубь дворов – и оказываешься в деревне.

Она – приносила Борхеса...

Выбираюсь из двориков и вижу на скамеечке неординарную личность. С лонгреновской бородкой и... без носков... Такой чистюлька, только что из ванны будто б. Одет с иголочки.

Сопоставляю факты и, проходя мимо, вдруг утвердительно называю его фамилию:

– Да, – удивляется он.

Садимся и ждём вместе...
Ещё раньше одна девушка говорила о его картинах: мол, пишет все виды смерти. Назвала его некрофилом.
Не могу судить.
Я – проста-ая:
– Говорят, вы – некрофил?
– Да что вы! – смущается.
Пауза...
– Скорее, некрофоб...
Говорят, он установил своего рода рекорд: был женат целых семнадцать дней...
Подруга застаёт нас оживлённо болтающими и офигевает, но сдерживает негатив.
Грянула гроза... Шквал.
Прячемся в домике и пьём чай.
Домик крошечный – и весь завален книгами, книгами, богатыми книгами. Беженцы. Она спит на циновке, уступая мне постель. Подводит разговор к тому, что и я, мол, из их братии.
– Покажете? – оживляется художник.
Захожу в театр ночью – выношу.
Ночь. Улица. Фонари. Раскладывает рисунки на бордюре пересохшего фонтана. Смотрит молча. И вдруг:
– У меня скоро выставка. Давайте объединимся?
Как всё просто. И неожиданно.
Но померкнуть сразу же, на выходе, в свете его шедевров – подобное не по мне. Всё произойдёт, но чуть позже. Не сейчас.
А пока – просто благодарна: одному – что первым пожурил. Другому – что предложил. Без них бы никогда не тронулась с места.

Несмотря на её предельную холодность и высокомерие – сопредельное, я бы сказала, с долей фригидности относительно жизни вообще, – с подругой связано два довольно живых сюжета.

И она – Рак. И, замечая за мною местами бесконтрольные позы, говорит:

– Не королевствуй. Когда Ахматова, тоже Рак, задумавшись, становилась надменной, её сын говаривал: «Мамочка, не королевствуй, пожалуйста».

Сама, впрочем, тоже частенько «королевствует» (покупает совершенно царскую шубу с невероятным, королевского кроя воротником и три месяца опосля сидит на одной грече, без масла...)

И второе: на одном из гаражей в её дворике мелом написано большими буквами: «кАричевый кот Васька».

– Именно «кАричевый», представляешь? Утром идёшь на работу: холодно, плохое настроение... Посмотришь – а тут: «кАричевый кот Васька» – и становится так хорошо-хорошо. А после гараж перекрасили – и надписи не стало... Словно опустело...

Тоска! Идёшь – и ни-че-го не радует.

И тогда ночью тихо выходит во двор и огромными белыми буквами пишет: «кАричевый кот Васька».

Она же:

– Когда-нибудь я растолстею и буду бургершей...

С кружкой пива, надо полагать... Домовитой и сытой. А что, в определённом смысле и возрасте – это, может, как раз то, чего теперь мне не хватает: толстоты, равнодушия и бургерства. Самодовольного, свинячьего счастья.

Глава XIV

«ДА, МЫ ПТИЦЫ, И НАС ПОДСТРЕЛЯТ...»

Анхен... Её стихи для меня – нечто большее, чем мои. В своё время она почему-то путалась и именовала меня – Гончаровой. Помню несколько сюжетов, с нею связанных. Она у стекла моей конторки, говорим... Приходит озабоченный дядька и начинает узнавать:

– А на сегодня есть билеты?

– Есть.

– А на завтра?

– Есть.

– А на послезавтра?

– Есть.

– А если я приду завтра, билеты будут?

– Будут.

– А вы – будете?

– Буду.

– А вдруг я приду, а билетов не будет?

– Будут.

– А если я приду, а вас не будет?

– Буду. Я здесь одна.

– А вдруг – я приду, а вас нет и билетов нет?

– Вы придёте – и я буду, и билеты будут.

– А если сегодня купить?

– Покупайте сегодня.

– То есть завтра может и не быть?

– Нет, не может. Я вам отложу.

– Ага! Значит, я приду завтра – и спокойно куплю билет?

– Да. Спокойно купите.

– ВБ мне отложите?

– Да.

– А вдруг вы мне отложите, я приду, а вас – нет?

И тут нервы подруги сдают, она твёрдо говорит:

– Да, её завтра не будет.

Мужичонка подпрыгнул:

– А! Вот видите! Не будет! – И, поворачиваясь ко мне: – А где вы будете?

– Она завтра в Париж улетает, – продолжает Анхен.

– В Париж... – у него перехватывает в зобу. – Девушка! – Кидается в мою сторону. – Можно, я за вами чемоданы понесу?!

– За ней не носят чемоданы, – так же спокойно, выпуская струйку дыма, щурится Анхен, – за нею носят шлейф.

Дядька полностью деморализован.

Или: стоит у конторки, облокотясь о буковые перила, курит, щурясь от дыма, с совершенно серьёзным видом изучает мои рукописные листочки, переворачивает странички с таким характерным прищуром... Тишина... Только шелест страниц...

И я вдруг говорю ей:

– Мы с тобой, Анхен, птицы...

(Имелся, наверное, в виду какой-то редкий, вымирающий вид...)

– Да, мы птицы, – утвердительно говорит она, дымя сигаретой. – И нас когда-нибудь подстрелят.

– Я возьму у тебя эту строчку, – говорю я.

Она кивает самодостаточно:

– Бери.

...Да, мы птицы, и нас подстрелят, дым лиловой изнанкою стелет...

А может, и не лиловой вовсе, не помню...

Анхен – заядлая театралка, на этой почве и сошлись... Всегда – с розами... Изящная платиновая блондинка с породистым точёным носом, зелёными глазами и срощенной мочкой уха... Первый раз, что называется, отоваривая её, заметила вскользь:

– По совокупности примет вас бы в Средние века сожгли на костре...

Как ей польстило! Слово за слово...

Однажды она, в свою очередь, со своей подругой Эм двигала мебель в моей комнатухе во время моего отсутствия, ибо я обслуживала жаждущих зрелищ...

И вот, перетаскивая шкаф, в самый ответственный момент, что называется, НА КАРАЧКАХ, она вдруг взглянула на Эм из-за мебели и говорит:

– Вот свезло нам так свезло!

Шкаф затрясся от хохота...

...Она писала стихи... Страшные: «Знаешь, Солнце, я тебя ненавижу. В моём парке наступает утро...»

И тискала в малотиражах мои – чтоб сделать приятное, а я злилась и не разговаривала с ней... (Не мой формат...)

И вот: я звоню – а её нет. Сгорела в частном доме... (28 сентября, как выяснилось позже).

Сутки блуждала, думала – и позвонила тому самому редактору, где когда-то она работала и чей телефон оставила для «аварийной» связи...

И спросила, как же так?..

Та – ничего не знала об этом, но:

– А вы знаете... я чувствовала... Что что-то такое произошло... Она не давала о себе знать.

Редактор пошла интуитивно по местам «боевой славы» Анхен – хотя и не знала о том, что её уже нет.

– Конечно, она была человеком мистическим...

– То есть? – не поняла я.

– Ну, Булгаков, доведённый до крайности... Что-то такое она знала о себе... Потому что за девять лет до этого, когда я ей: «Что же ты с собой делаешь, со своим талантом!» А она: «Мне надо многое успеть, я в 29 ухожу». И вся её жизнь – сплошной экстрим.

– Не понимаю!.. – обескураженно, ибо со мной она ни о чём таком не говорила. Да и как! Если я: это глупости, это пройдёт... Это детство, скоро закончится..

– Ну, экстремальный человек... Что-то такое и должно было с ней произойти – страшное...

Глава XV

НЕМНОЖЕЧКО О ТЕАТРЕ

БАЙКИ

Кураж был у всех: можно встретить на подступах к театру парочку монтировщиков, одетых в хлам, в рванину, в обноски: драные во всех местах тельняшки, бескозырки, пробитые шинели – на манер анархистов.

И не то чтоб демарш... Просто люди направляются в близлежащий гастроном...

«ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЁША БРОДИТ...»

Или же в час пик, в давку, в толчею непроточную Герцог, отбывая домой отобедать, мог войти в трамвай с совершенно равнодушным видом и автоматом Калашникова на плече.

Моментально вокруг него образовывалась полоса отчуждения, свободная зона, прослойка кислорода.

Он молча стоял всю дорогу. Вокруг него все напряжённо молчали... Никто же не станет всматриваться в просверлённый ствол.

Он так же спокойно выходил на конечной.

И не ясно, а что сие было?

Или же: на проходной вижу его среди рабочих сцены, одетым, соответственно, в робу. (Два метра, платиновые кудри... вздох умиления...)

Поворачивается по направлению к сцене – а на спине поверх куртки масляной краской написано: «Лёха».

Следом разворачивается бригадир, а от плеча к плечу выведено: «Ельцин сын».

С непривычки шалею.

Человек-оркестр, что поутру звучит особо, может внезапно в общественном же транспорте прикинуться слепым и начать шарить руками по чужим физиономиям, к полнейшему стыду провожаемой девушки.

Поначалу всеобщая эпатажность удивляет. Но постепенно постигаю: театр избавляет человека от комплексов, раскрепощает внешне и внутренне.

Чего как раз не наблюдалось в окружающей, враждебной среде.

В этой оси координат люди постепенно становились самими собою – обретали внутренние и внешние границы.

Вот отчего, уходя, но поболтавшись в общей месильне и давилъне, они вновь возвращались в театр: НЕ МЫСЛИЛИ себя ЗА его пределами. Ибо вне – всегда зона особого напряжения, строгого режима, жёсткого реагирования, особого хамства.

А внутри, как бы банально это ни звучало, – островок спасения, оазис, особенный микроклимат и атмосфера праздника жизни, за безусловной и безоговорочной ненормированностью труда.

Пусть на данной территории не действует кодекс о труде – но и другие кодексы также отсутствуют. Исключительно все заняты любимым делом, а не отбыванием некоей обязательной повинности. Весь механизм работает, но как-то весело. И нигде ничего не сбоят.

«ЗОЙКИНА КВАРТИРА»

Один из тех искромётных спектаклей, где ни убавить, ни прибавить.

На круг выезжает группа манекенщиц. У одной – сногшибательные ноги в умопомрачительном мини... фактурные ножки... Выясняется: и то, и другое принадлежит... Азazelло (он же Троль)...

Ускользящая натура... Отчего бы ему не сыграть тётку Чарлея?

Будь моя воля...

Главный герой (Аметистов, он же Бегемот, он же Всадник в белой бурке...) играет за пределами добра и зла... Это его бенефис – каскад

импровизации, острот, возносящихся из ниоткуда и вживляющихся в последующие спектакли...

Зрительницы обмениваются репликами на выходе:

– Какой перспективный молодой человек...

Но! Не дай вам Боже попасть на тот просмотр, что по времени совпадает с чемпионатом Кубка по футболу...

Я, увы, попала... Спектакль нёсся к финишу, как «ламборджини» на скоростной трассе – едва вписываясь в повороты; никто из партнёров не успевал слово вставить, с укоризной пытаясь его приструнить: «Молодой человек!..» Но – Бегемота не остановить! – он укладывался по времени к началу игры, если даст по газам – и гори оно синим пламенем...

МЕТЁЛКИН, НЕ ПЕРЕСАЛИВАЙ!

Будучи на пике куража – прямо по ходу «Багрового острова» – он творчески переосмыслил фамилии главных персонажей, и в его трактовке это звучало уже как: лорд и леди Гленервань (вместо Гленерван), месье ПагАнель (вместо Паганель)... Надо было видеть их, впервые услышавших подобную интерБредацию...

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

...Каким-то ветром в театр занесло двух молодых господ – немца с переводчиком. Именно на этот спектакль. И переводчик бойко переводил все нюансы...

Пока наконец, получив затрещину от леди Гленерван, главный герой (условно – Тролль...) не вскричал:

– Сколько раз говорил себе: не связывайся с ледЯми!

Переводчик закатился и на нетерпеливые торможения спутника лишь показывал рукой, мол, сейчас... Видимо, по ходу обдумывая: и как же сие перевести?

Додо... Видимо – лебединая песня Маэстро... Если я чего-то и ждала в стенах вверенного мне... ради чего ВСЁ это и затевалось – так ради этого...

То ли гений режиссёра предложил новый, совершенно киношный ракурс восприятия действительности – но назвать спектакль иначе, как триумфом его таланта, язык не повернётся.

Их – трое, но хороши все, безумно трогательные птички... Совершенно новый разворот крыла у юноши (того самого, зацелованного «Маргаритищей») – впрочем, он везде хорош – гротесковый актёр... Циничная Чайка в его исполнении – кладезь мудрости... А как он, слегка матерясь, учит неповоротливых птах летать!

– Поймал струю, мля – и никаких хлоп-хлоп!

Просто – руководство к действию...

А вот сама Додо... Наверное, это компенсация с лихвой всех несбывшихся в стенах этого театра надежд и годов – годов! – ожидания...

Той самой мажущей скоростной лентой по кругу проносятся: море, чайки, пальмы... Любовь двух маленьких птиц перед фактом наиболее полного небытия... Любовь на грани умиранья...

За один этот спектакль маэстро можно отпустить все грехи и возрастное чудачество в двух словах: гений, блин!

«ШАРКАЮЩЕЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ ПОХОДКОЙ...»

Не спеша, чуть вразвалочку, нехотя к остановке ступает Пилат... С занятой мною точки видны и он, и за три квартала выворачивающий из-за угла трамвай. Утро.

Если Понтий Пилат (шикарный, молодой, с ореховыми длинными волосами и безумно породистым носом) чуть-чуть прибавит шаг, то успеет с запасом. Но!

В том-то и дело!

Трамвай неумолимо приближается, а Пилат – дефилирует прогулочной походкой, не реагируя на данность.

Даже ежели сейчас поднажмёт, то ещё успеет. Но он вял, апатичен, самодостаточен и ни на граммулечку не поспешает. Трамвай какое-то время ждёт, ибо более желающих на остановке нет. Затем полагает: это не его клиент – и отъезжает. И через четыре размеренных шага на место, по мизансцене, мысленно помеченной крестиком, встаёт сногшибательно красивый прокуратор.

Теперь он ожидает следующего.

Да-а... Однако...

Ни на йоту не отошёл от имиджа. Ну не хочет суетиться. Царственный совершенно.

КОРОВЬЕВ

Если на премьерных спектаклях, поворачиваясь спиной к зрителям, он шокирует дыркой на штанах – прямёхонько на ягодиче, то по ходу сезона дырочка становится ОТЧЕГО-ТО всё более и более... И нежная розовая кожица выглядывает всё более задиристо и вызывающе.

Наконец, на второй-третий сезон – помилуйте! – это уже не проеха, а отваленный шмат ткани, на манер овечьего хвоста.

И Коровьев крепит его к телу пластырем.

...А причина ошеломляет.

Пьём чай в реквизиторской. Заходит оный персонаж (в образе) – и... девчонки, бросая чаепитие, устремляют с десятков рук – дёрнуть рванину. Регент отбивается – но не тут-то... Дырища увеличивается на глазах. Визг, хохот...

Да, теперь-то мы знаем, ОТЧЕГО в ближайшее время Фагот может остаться и вовсе без штанов...

НЕ ВСЁ ТАК МИЛО...

Но однажды...

В общей толпе зрителей после спектакля ожидаем трамвая в ночи. Фонари, тёмная майская теплынь. Хорошо-то как!

От театра отъезжает белый «жигулёк», пронесётся мимо, потом вдруг резко разворачивается, фланирует по встречной к остановке, притормаживает... Из него ЯКОБЫ легко выпархивает «эпизодулька» – та самая, центнер, но с мечтою быть кисой – и ЛЕГКО (якобы), повизгивая, всей массой бросается несколько раз на капот... Затем, похохатывая, ИГРИВО отбегает, делает «па» ножкой вот этак, залезает в авто, разворачивается – и быстро исчезает...

Общая отвисшая челюсть...

Стыдобища!..

Видимо, потуга изобразить блондинку из «Берегись автомобиля».

...Н-да-а...

Слава Всевышнему, зрители достаточно деликатно не комментируют бомбардировку.

Дело вкуса... Но! Видела б она себя со стороны...

Дорисуем: прогнутый капот, бабахнувшие шины. Ударная волна размётывает нечаянную публику.

ЗАНАВЕС...

Глава XVI

РОНЯЯ ГРОБ, ПРОШЛА...

СЦЕНЫ ИЗ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Эпизод: реквизитор приносит картонную коробку с рублёвыми кольцами, перстнями с цветными стекляшками – дабы состав прибрахлился к предстоящей премьере: играть-то французский двор...

Вновь прибывающие меряют, подбирают себе по размеру... И, с руками, полныя перстней, удаляются... Все – в облачении... Кардинал, неспешно надевши, отстраняет длань, созерцает, одобряет:

– Пожалуй, возьму-ка это...

Берёт следующее, и – то же отстранённое, созерцательное:

– И, пожалуй, это и вот это... – Отбывает, шурша мантией.

Процедура сама по себе, может, и рядовая, но забавная...

Ибо: тут же находится субъект, коего определила на полях как: «холодный красавЕц»... А после переосмыслила: скорее – «красивый холодец»...

Говорят, он подавал надежды... не просто же так попасть в академдраму... Но что-то не заладилось... Не поехало... Надежды умерли, а он остался. И голос гнусавый, и выше статиста – ну никак... И шутки плоские: подойти со стартовым пистолетом и бабахнуть прямо в ухо – своеобразный уровень... И непонятно вначале: дурак или прикидывается?.. (Нет, после выстрела сразу всё определилось: дурень, и ещё тот... Причём в голове моей будто разорвали маленькую стеклянную противопехотную мину времён Отечественной: чёрный фон, брызги мозга, полнейшая глухота и отключка вестибулярки... Только гул по нарастающей, и лопаются искры, круги, цветные пятна... Казалось, я в очередной раз померла... Но медленно, с жужжанием и колебанием кадров возвращаюсь – и вижу ржущую рожу стрелка:

– Здорово, правда?!

Идиот...

Убить упрямую тварь...)

Но дурачок и не может долго скрываться.

Он так же сидит на банкетке, наблюдает за примеркой и молвит:

– Тоже мне, дешёвка...

– А тебе что же, настоящие подать? – иронически спрашивает завцеха.

– На что они мне? У нас дома настоящих – завались, полным-полно! Штук... – мысленно подсчитывает и выдаёт: – Две.

Немая сцена...

И всё-то как-то... что ни ляп – всё мимо. Пытается острить – тоже не идёт! Но хочется выпендриться.

А сидим-то ведь втроём, пьём чай... Сравниваю: его, никакого, с сидящим поблизости Плейбоем...

Между нами – некая безмолвная группировка... От пошлости тот забавно так морщится, но связываться не хочется... А мне – необходимо, чтоб чудило свалил куда-нибудь, и с этим-то – перекинуться словечком... Поскольку есть о чём...

Например: в очередной раз он увидел меня чуть ли не в первом ряду на давно вышедшем в тираж спектакле, раз в месяц идущем ради древней актрисы, отовсюду давным-давно снятой (зал – тоска-а – пустой, и я торчу – группа поддержки). Спрашивается: ради кого? Ведь никто из моих любимчиков не занят...

А где-то в массовке стоит Плейбой, у него, по-видимому, возникли свои соображения на сей счёт: встретился со мной глазами, подмигнул – и его РАСКОЛОЛО...

Вообразите: в дурейшем спектакле, в дурейшей сцене, в дурейшем наряде – и угарает, просто прыскает со смеху...

А тут, как на грех, трагедия: гроб тащат. Он – среди несущих, а ему смешно, сил нет, – и спотыкается, теряет равновесие... Все хватаются за страшный реквизит – держат баланс, а паренька совсем погибает поперёк живота...

А остальные делают СМУРНЫЕ физиономии, но видно: ещё чуть-чуть подобной веселухи – и все повалятся...

Ужас...

(Причём в гробу лежит ни много ни мало – народный, и было бы лихо, ежели, грянув оземь, он вдруг вернулся в мир живых... Финалочка спектакля поимела бы совсем иной смысл, а из заунывно-бытового сюжет превратился бы в готический... К слову, персонаж любит полежать в гробах всех конструкций и конфигураций... Мистика...)

И я понимаю, что это я-а – я, в первом ряду сидя, видом своим серьёзно-дурацким вывела его из равновесия... Стыд, опускаю очи долу и жду, пока он успокоится. Но! Стоит поднять глаза – а оно, это чудовище, смотрит в упор – и опять в веселье.

Так или приблизительно так чуть было не сорвали мероприятие. Утром – даже жутко идти на службу: боялась нагоняя.

Мыслю: приду, а меня этак поманят пальцем и молвят: «Нуте-с, что же это вы творите, милочка? Актёров смешите во время работы?»

Он же – мимоходом – влюбил в себя мою племянницу...

Поначалу впускала её тайно внутрь театра. Сидели впотьмах.

До начала сезона – месяц.

И вдруг ахнула музыка из «Мастера и Маргариты» из зала. С репетиции...

Девчушка, полумодел, подпрыгнула:

– ЧТО ЭТО?

– Генеральная репетиция.

– Я хочу посмотреть!

– Иди, только тихо. За шторами постоишь. И дверь – аккуратно, чтоб не хлопнула.

И вдруг – опрометью бежит назад, губы дрожат, в глазах слёзы. Бухнулась на стул. Молчит, перебарывает рёв.

– Что случилось?

Сопит.

– Выгнали?

Головой отрицательно.

– Испугалась, что ли?

Улеглось...

И внезапно:

– А ПРАВДА, что в театре со всеми здороваться надо?

– В принципе, да. А что?

Молчит.

– Кто-то сделал замечание?

Кивает.

– Кто?

Жмёт плечами.

– И что сказал?

– «Девчушка, а у нас в театре все здороваются».

– Ну, выглядит-то как?

– ТАКОЙ... ТАКОЙ... ТАКОЙ КРАСИВЫЙ... – И лепет нечленораздельный.

- Э, милая! Здесь все красивые.
- НЕ-ЭТ! ЭТОТ САМЫЙ КРАСИВЫЙ! ЛУЧШЕ ВСЕХ!
- Ладно. Закрываем лавочку. Идём.
- Куда?! – ужас.
- Опознавать. Врага надо знать в лицо.
- Нет! Я не пойду!
- Что значит не пойду? Не в зал же!
- А куда?
- Фотографии смотреть.

Поднимаемся наверх. Идём вдоль галереи портретов.

– Э тот? Нет? Может, этот? Нет? Даже странно, кто же ещё красивее...

Внезапно столбенеет. Шепчет:

- Вот он.
- А-а... – улыбаюсь я...

Понятно... Дон Жуан, сердцеед, Казанова... Оказалось, он застиг её, притаившуюся за входной гардиной, сделал замечание (что было не деликатностью с его стороны), усмехнулся – и всё...

А у девочки снесло башню.

И после я – я! – под её натиском – утащить фото:

- Как ты себе это представляешь?
 - Как-нибудь! Я очень-очень хочу! Ну пожалуйста! А то я умру!
- Обречённо иду... к замдиректора. И говорю ей (имя-отчество):
- Идёмте украдём фотографию (имя)...
 - Ты сошла с ума!
 - Не я! Одна девица несовершеннолетняя!

И МЫ С НАЧАЛЬСТВОМ поздно вечером двинулись «на дело». Будто с осмотром. Часть свёрстанных снимков лежала на паркете, у стендов, часть уже висела... Тот, на который запала дивчина, увы, уже приклеен...

– Нужно лезвие... Ты иди к себе, – заговорщицки шепчет зам, – ВДВОЁМ НЕ УЙТИ!

Спускаюсь. Жду.

Раскрывается дверь, и маленькая блондинка, укоризненно и недоверчиво глядя в глаза, протягивает огромное фото.

- Врёшь ведь, сама, небось, втрескалась?
- Честное слово! – делаю круглые глаза. – Что я, одичала, что ли?

И вот я – ему:

- В тебя влюблена моя племяшка.

Он:

- А сколько ей?
- Семнадцать.

Он:

- Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта... Эт-та...

И мне бы столько тем с ним перетереть...

А тут – ЭТОТ. Пошлый и беспринципный. А перерыв заканчивается, и я в отчаянии:

- Да, – киваю на Плейбоя, – вы с ним, конечно же, небо и земля...

Вижу недоумение, поясняю:
– Ты (имя) – земля, а он – небо.
– Небо? – хлопает бессмысленными глазёнками «застрелитель». –
Небо... Голубое... – И, радостно подпрыгивая, оборотясь к сердцу:
– Голубой! Голубой! Не хочу играть с тобой!
Общая картина изумления. Слов нет.
Мы с ловеласом разводим руками.

ЗАНАВЕС...

Глава XVII

О «МЕРСЕДЕСАХ» С БЛЕСТЯЩИМИ РУЧКАМИ

Некая девица. Балерина. Трепанация черепа. Сдвиг по фазе. Внешне – не подумаешь. Только через полчаса общения.

Она – секретарь директрисы всех гостиниц города.

И вот тут-то...

Гастроли, актёры, столичные театры, столичные штучки... Секретарша – ну не может отказать себе в удовольствии попробовать всех, кого можно.

Слухи о похождениях бравой «секретульки» доходят до начальницы.

Директор:

– Ты – моё лицо. Такого лица – мне не надо! Вон поди!

И вон её, без характеристики. Иди куда хочешь...

И вот она – уже уборщица, но в театре. И здесь туда-сюда снуют золотистые рыбки, которых хочется, хочется, ну **ОЧЕНЬ** хочется покормить с рук, но **ПОКА** она не знает, с кого бы и чего начать, и вот садится на хвост... мне!

Возле меня – такое бурное течение, некая воронка, круговорот лиц. При бурном течении и вода, предполагается, чистая...

На фоне всеобщих отпусков и тихих сводов, троекратно повторяющегося эха от стука помойного ведёрка и шлепка сырой тряпки она быстро определила, где сейчас движение. И, по-вампи́рски заточив клыки, устремилась...

Я б назвала и этого персонажа – Франкенштейн: пугающая формация лобной кости, и взгляд – как сквозь амбразуру...

Она заходит мыть кабинет – и что-то настораживает – и уводит меня от темы... Не знаю, может, слабый запах пота, растворяющийся в воздухе с её появлением, или вот этот взгляд...

Всякий раз, моя вестибюлище, лишь заслышав наши С КЕМ-ЛИБО голоса, она точно определяет: второй – мужской! – бросает всё, затаивается... А по ЕГО уходу мчится отчитывать меня, вся возбуждённая и какая-то... озлобленная... Стоит хлопнуть вертушке и исчезнуть персонажу – она тут как тут.

...Во время одного из таких порывов, собственно, она и поведала историю похотливых манипуляций – что, мол, гастроли – это самое то... (хлебное времечко...)

...Я слушаю об одном известном человечке, втором, третьем...
Наконец прерываю:

– ЗАЧЕМ ты это делаешь?

Она с минуту, не понимая, молчит. Ждёт разъяснений:

– Что – ЭТО? – уточняет с нехорошим прищуром.

– Компрометируешь довольно известных людей. Цель?

– Цель?.. – Думает.

(Видимо, она ожидала завистливого «ух ты!» или разделения смака от рассказа...)

И выдаёт ту ключевую фразу, ради которой, видимо, и состоялось наше знакомство.

– Представь, ты идёшь и видишь новенький, красивый автомобиль – «мерседес» или ещё какой-то дорогой, с блестящими ручками... Он сверкает на солнце. Хочется его потрогать руками. А внутри у него шикарная обивка, тебе хочется сесть и прокатиться...

Я почему-то представила тут же авто: ретро, с золотистыми спицами, колпаками, клаксоном и подьёмным верхом...

– ...и ты садишься – и едешь... И все тебе завидуют! Так вот, а таких автомобилей много, и в каждом нужно успеть прокатиться.

«Седалища не хватит, – думаю я. А после: – Нет, пожалуй, хватит. Такой безбашенной – хватит».

Делюсь впечатлением об услышанном: о «сверкающих на солнце мерседесах» – с патронессой...

Она прищуривает иронический взгляд:

– И все эти сверкающие ручечки, стёкла – все эти «мерседесы» – НИКОГДА не будут её. Она, конечно, в них ПРОКАТИТСЯ – но и только!

Новый поворот, класс... Мои, ещё зеленовато-салатные... мозги устойчиво сформированы: ОН НИКОГДА НЕ БУДЕТ ТВОИМ.

Директор – тот самый красивый джентльмен в клетчатых брючках – приглашает её «на ковёр».

Она – напугана (откуда знает?), но идёт, словно к удаву на закланье.

А он:

– Вы ведь работали в управлении?

– Работали... – лопочет она.

– Секретарём? А у нас как раз секретарь ушёл. Приносите характеристику. С этим ведь не будет сложности? И – приступайте.

– ДА УЖ НЕТ!.. – Она представила, в Образах и образАх СВОЮ характеристику: – Я лучше – уборщицей...

Он – дался диву. В недоумении. Экое бессребреничество...

Глава XVIII

ТЕ САМЫЕ ЧЕРВЯЧКИ, ИЗ ПЕРВОГО АКТА...

НАЧАЛО КОНЦА

*...а яблоко висело – не упасть,
но изнутри ОНО его точило...*

Первоначально хотела включить сюда находку: ЛИЧНОСТИ И ЛИЧИНКИ. По аналогии с понравившимся «Ангелы и насекомые» – вроде бы, и у тех, и у других есть крылья... Как бы...

Так вот, о личинках.

С теми, кого приятно видеть, прибежал и отвратительный – голубой администратор.

Вползает – в строгом костюмчике, пиджак, воротничок, все дела, а на лацкане – РОЗОВЫЙ ПОРОСЁНОЧЕК.

Этот любит исповедоваться в грязненьких похождениях. И всё трогать ручонками.

После его визитов мчусь мыть руки.

...Подмахиваю накладные, а он трогает украшения.

– Как я всю эту женскую бижутерию люблю...

Тихо:

– Я не ношу бижутерию...

Топаз, саксонский – за бижую...

Всякий раз обмазывает взглядом поклонников и комментирует, мерзко комментирует о... хорошеньких мальчишках... о породистых котиках...

И – хамит: «Не старовата ли киска для этого котика?»

Огорчаюсь жутко, говорю подруге:

– Представляешь, у меня вкус на мужчин, КАК У ГОЛУБОГО...

Улыбается:

– Да успокойся ты. Это у голубых – женские вкусы.

...А всё равно... Словно мухи наследили...

И главное, ведь когда-то не взяла нужного тона – и принуждена слушать гадости.

А потом внутрецах – всё так гадко и муторно... И весь день перепачкан...

И подходит пассия, а я ёжусь и смотрю так кисло, а во рту – словно лягушонок или устрица непроглоченная. И вид – соответственно...

– Ты чего такая?

А я:

– Отклонись за занавесочку.

– Зачем?

– А то тебя администратор увидит.

– И – что?

– И – всё!

И всё же... На каком-то этапе наши вкусы реально совпали... И с ТОЙ стороны поступило конкретное предложение. А с этой стороны – реальное... Слов нет, одни междометия, но до мордобоя не дошло. По счастью, я видела лишь краешек развязки, но не саму сцену.

И позже – услышала, КАК ОНО БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ, и о чудовищных разрушениях, за собой повлекших... разрушение идеалов.

Но на сей момент СТАНОВЛЕНИЯ ПЕРЕД ФАКТОМ – ощущение непередаваемое... Ещё раз про ничего святого... Я НЕ ЛЮБЛЮ, когда маляр... какой-то... мне пачкает... картину Рафаэля... Я-то находилась ещё на подступах к мечте, где-то в заоблачных высях витая, ещё только-только ЛЮБУЯСЬ, СОРАЗМЕРЯЯ дистанцию. И ВДРУГ говорят: тебя опередили... И КАК! Ну, не так же... в самом деле...

И... СЛОВНО С ХРУСТОМ – БИТОЙ ПО КРЫЛАМ... вниз пинком с заоблачных эмпиреев.

Спустя время зашёл разговор с набриолиненным Корсаром. Уже допустимы иронические оценки незадачливого предлагателя, уже не столь и страшно, как смешно, и шок первичный позади.

– И он ему по физиономии не съездил? – уточняю диспозицию я. – Было б лихо – вашим же салом да вам по мусалам.

– Ну! У него другое воспитание.

Неугомонность – дурная привычка.

Недолго думая – ведь же сосёт и тянет изнутри – с тем же вопросом подъезжаю к ПРИНЦУ на белом коне (условно – Эльф): мол, как же так, что за дела и как ты жив?

И – с высоты белого коня, осиянный платиной волос, чуть удивлённо, снисходительно улыбнувшись (белые одежды, плащ поверх доспехов, копьё, все дела...):

– Наи-и-вна-я... – И, слегка наклонившись в седле, чтоб наконец дошло: – Ты вокруг себя-то посмотри. Повнимательнее...

Крушение иллюзий начинается с фундамента.

У других, не спорю, декорации рушатся иначе: вначале вылетают витражи, срывает ветром флюгера, ссыпается черепица, отламываются шпили...

Мой мир (мирок) уж если пролетает, то в тартарары.

И – Я СТОЮ ВНИЗУ. ВСЯ В ШТУКАТУРКЕ...

При землетрясении, говорю, не страшно. Коль сей храм и обвалится, то и разбирать не надо – сплошной мрамор – памятника не нужно...

После этого и вследствие одного случая, при полной утрате розовых очков, стала приглядываться и приноживаться...

Впрочем, если бы одно это!

В особо промозглый осенний день всех гонят в выстуженные, ледяные цеха художников. Аврал, не успевают с декорациями.

Удовольствие ниже среднего, не люблю скученности. Веду раздельный образ жизни – коллективизм как таковой мне чужд.

Да и стужа (а я после тяжёлого и продолжительного недуга, вся обколотая, скукоженная, на спазмалитиках, простуда – и ага... на всю оставшуюся жизнь...)

Но – приказной порядок.

Там – все. И бабульки-билетёрши. Все КРУТЯТ ДЕРЕВЬЯ*.

Билетёры и гардеробщицы – отдельный культурный пласт. На лицах написано по два высших образования. Невероятно доброжелательные дамы. Одна:

– Ой! А я вчера вас по радио слышала! Сколько работаем вместе, а я и не знала, что вы – художник! Поздравляю с выставкой! – искренне и добро.

Движения художников на миг замедлились.

У меня тонкий нюх. И слух. Краем уха и глаза слышу и вижу, как одна тихонько спрашивает другую, якобы в мои дела вхожую:

– Она что, в самом деле – художник?

Та нехотя поводит плечами.

– И у неё – выставки? – шепчет художница.

Та вяло кивает.

Полнейшая деморализация.

Всё, что им остаётся в повседневной жизни – малярить стены и перила... А тут...

– И что же она рисует?

– Да так... руки... ноги... – отвечает дивчина.

Тема закрывается.

Однако...

Было бы не странно слышать от кого-то другого. Но два года назад – именно эта охотилась за мною по трамваям, выслеживала до работы, а после предложила дружбу, чётко и конкретно. Дружим.

Видит мои работы – и вдруг плачет.

– Ты что?

– А меня в училище разучили рисовать... – И слёзы, натуральные!

Выясняется: где-то на окраине города, в захолустном кинотеатре (в просторечье именуемом курятником) она пишет букочки на афишках.

Пять человек на сеансе в будни. Двадцать – в выходные. Двадцать первая – я: рядом живу.

Чужой город. Никого знакомых. Одна. Тоска и рутина.

– И вдруг в трамвае (*Помнит число и день.*) вижу тебя – с необыкновенной причёской, надменную, из прошлого века.

Открывает охоту. Отлов. Вылавливает.

* Изготовление бутафорной древесины.

Я, дурак, протезирую её в народный театр. Я, дурак, иду в отдел кадров. Её берут художником...

Но задолго до этого с интересом замечаю за нею странность: чудовищный вампир.

А у меня на тот период – энергетический взрыв.

Мы сошлись.

Внезапно, визави, за обедом вижу: часть лба у неё – чёрная изнутри...

Уже знаю, что та больна на полголовы и – ведьмует. И раз в год её возят в Москву по врачам. А по причине постоянной накаченности галлюциногенами – она там ВЕЩАЕТ, ей выделяют кабинет, и персонал бегаёт узнавать будущность... Тёмный лоб настораживает.

Когда-то должны были закончиться хиханьки и включиться инстинкт самосохранения. Включился! Консультируюсь с общей знакомой, психологом (шельма ещё та!).

– У таких людей часто нарушено кровообращение в зоне поражения, – отвечает Психологиня, – они к тому же зомбированы. Но чтобы вот так, невооружённым глазом... (жест: «примите мои восхищения»).

Именно она в 90-м, держа во время спектакля мою ладонь, наклоняется и шепчет:

– Ты ладошками лечить можешь, энергетический поток мощный.

– Да брось!..

– Серьёзно. Попробуй. – И показывает бугор Венеры. – Вот здесь.

И при мне как-то спросила у одного мужчины:

– И часто у вас голова болит? В височной области?

Тот удивился, ответил.

– А вы зайдите к ней, – кивает, – она вам положит ладошки на голову, и всё будет хорошо.

Провокатор...

Он зашёл. Да не за тем...

Кстати о креслах.

Питерцы... Невероятные умняги! ДАРЯТ МНЕ на все гастроли ДВА КРЕСЛА из брони, с тем, чтобы я каждый вечер могла провести с собой одного человека... Бесплатно.

В том числе и не аккредитованную ими театральную критику...

– Зачем НАМ критика? – забавно спрашивают они друг у друга. – Вам (имя-отчество) нужна критика? И мне тоже. А вы приводите, кого хотите.

Критике сие о-о-чень не понравилось...

О Психологине. Позднейшие наблюдения: она была страшна тем, что профессионально добытую интимную информацию обращала против намеченной жертвы.

Вначале – исповедует. А после, вооружённая до зубов, добивает контрольным выстрелом в упор.

Что же касается Вампирёзы... теперь-то догоняю: просто кровоизлияние, просто гематома...

Но... В тот момент шевельнулось: как «Майская ночь, или Утопленница...» И раз она пьёт мою энергию... значит... я вполне МОГУ МАНИПУЛИРОВАТЬ ЕЁ СОЗНАНИЕМ!

И недолго думая совершаю один из первых самых неэтичных поступков.

Во время спектакля захожу в зал (как всегда, позже всех), сажусь на последний ряд, с краю. Начинаю шарить глазами во мраке. Нахожу. В шестом ряду. Слева.

«А сейчас ты медленно встала и идёшь ко мне. Тебе скучно сидеть одной. Ты знаешь, что я здесь. И ты идёшь ко мне». Смотрю на неё. Но та – ни с места!

«Тебе сейчас не до спектакля. Тебе нужна моя энергия. Иди сюда. Здесь есть место... – продолжаю в том же духе. – Представь: ты возьмёшь мою руку в свои... У меня горячие руки, а тебе пора запитаться...» – глухо.

Минут через двадцать, перекосив все мозги, понимаю: ну, и самомнение у вас, любимая! И бросаю пустое занятие.

В антракте она МЕДЛЕННО ВСТАЁТ, очень медленно шевеля ногами, идёт ко мне, огромная, метр девяносто, нависает надо мною и – сквозь зубы:

– Что ж ты делаешь-то, а?

– Что? – совершенно наивно вопрошаю.

– Что?! Я себя двумя руками держала, в подлокотники вцепилась, чтоб не поддаться! Тебе не совестно?

– Нет, – честно отвечаю.

Но... надо же!

Скорее всего, впервые контактирую с вампиром.

Позже, благодаря непоседливому зуду испытателя, пробилась незабываемая брешь... Но тогда не воспринималось всерьёз.

Какая чудная игра!.. Не больше.

В ответной реакции что делает вамп? Мало кровушки попитой – она ненавязчиво, со страшной силой вторгается в моё жизненное пространство – не так, так этак – и за моей спиной предлагает себя в жёны:

а) моим знакомым;

б) моим друзьям;

в) и это уже не столь смешно – моим же любовникам...

Финиш.

Но чисто внешне – якобы продолжаем дружить. А куда ей деваться? Пока...

Та, что заметила любовь к дорогим вещам:

– Гони её от себя! Со служебного хода она крутит с твоим молодым человеком. Это не подруга.

И она же является ОТЧИТЫВАТЬ за распущенные мною о себе же слухи...

Да-а... Чудны дела Твои...

«Руки и ноги» – последняя капля. Осознаю: сказано из зависти.

А таких и в самом деле полагается сторониться. Впрочем, на тот момент «дружба» сама собою сошла на нет: по-видимому, был найден другой, более мощный источник подпитки: я была слишком маленькой батарейкой для такой лампочки.

На прощание – дарит кольцо. Из кошачьего глаза. С ПОЖЕЛАНИЕМ.

Не верю.

Надеваю кольцо... Через ТРИ дня оказываюсь в больнице (именно тот случай, перед «закруткой деревьев»). Пожелание сбывается от и до.

Казалось бы, чего тебе ещё?

Ан нет!

Проходит год. Думаю: а не накрутила ли я себя?

Достаю колечко. Оно мне слегка великовато. Но! Стоит надеть, и – не поверишь – невозможно снять! Только с мылом.

(А в сказки, даже в страшные, пока не очень-то и верю...)

И вот ведь фокус! Через ТРИ дня ровнёхонько – руку с кольцом раздробило.

Хочу вернуть проклятый подарок. Выясняется: та в глубоко интересном положении. И с ней может произойти то же, что со мной. Нельзя. «Я подл, но в меру».

И дальнейшие попытки вернуть не увенчались успехом. Приезжаю, как маньяк, с кольцом в сумочке... И так же уезжаю – «чёртова свитка»...

В конце концов оно попадает в чужие руки. И приводит к летальному исходу.

«Ты развела вокруг себя много хищников»...

ГЛАВА XIX

БЕЗ ХРОНОЛОГИИ

Бедность вкуса не формирует.

*Внешность – визитная карточка
внутреннего мира.*

*У лесных птиц короткие крылья и длинный хвост
(о самолюбовании: при скудости способностей –
недюжинное самолюбование).*

Парадокс. Меценат где-то отозвался обо мне: «капризная ханжа». Странно... Ну, капризная. А почему – ханжа? Что он имел в виду, так характеризую?

Надо сказать, он же и приволок в мою комнату хренову прорву хиппи. Грязных, голодных, никчемушных...

Первый налёт кое-как стерпела. После них – гора грязной посуды и затоптанный пол. А мыть-то – ледяной водой...

В другой раз поздно с работы приезжаю с финиками (страсть, как люблю), намыла блюдо, зажгла свечи, протянула затёкшие ноги – и вдруг: трам-бам-тарарам – врываются, с гитарами, с девками, нечёсанные, невымытые, на ночь глядя. Меценат – во главе отряда. Слопали всё. И – ничего хозяйке. Хотя бы пару штучек, приличия ради, оставили на тарелке...

И опять могла повториться ТА ЖЕ история. Но, заметив их отходное настроение, говорю:

– Так, ребятишки, а теперь встали, дружно взяли свои чашки, вышли и друженько вымыли.

Шок. Удручённо, гуськом, каждый со своей посудиною ушли. Затем гуськом, МОЛЧА возвращаются, демонстративно ставят чистую посуду – и оскорблённо уходят.

Меценат потоптался и говорит ОСУЖДАЮЩЕ:

– Так нельзя. Так к вам никто ходить не будет...

Да-а... Поди-ка... Заходите, гости дорогие, берите, что хотите. А я работаю в поте лица, так сказать, чтоб кормить саранчовое поле.

Эльф (Принц на белом коне), спустя 10 лет:

– А я почему-то думал тогда, что ты – хиппи.

– Нет! – ужасаюсь я. И – после паузы, с содроганием: – Но они ко мне ходили...

– А к кому тогда они не ходили...

Дама, хряпающая кальмаров с особым хрустом, рассказала, как младший братишка приволок таких вот ночевать. Один раз. Второго – отец не допустил.

А старшая сестра разложила диван, постелила им ослепительное бельё – и не поймет: топчутся, шушукуются. Что-то не так. Что-то их смущает. Затем снимают бельё, аккуратноенько складывают стопочкой – и валятся прямо на обшивку.

– Бельё им, видите ли, жаль было пачкать! А – гобелен?! Его-то не постираешь!

А парадокс-то в том, что для одних – «капризная ханжа», а для других...

Дарвинистка:

– Ты – рефлекслирующая шлюшка.

Заявила так заявила!.. Что возьмёшь, и я бы, может, стала злой осенней мухой, останься в старых девках, девах, но, хоть и дева, и старая, но язык-то контролировать надо...

– Почему шлюшка? – спрашиваю недобро.

– Потому что везде шляешься, – чувствуя, ляпнула так уж ляпнула, пытается выйти из ситуации.

– А рефлекслирующая?

– Потому что не просто так шляешься, а ещё рассуждаешь!

Тем же годом – раскрываю альбом: юное существо, выдохнутое – и не только – из пасти дракона...

Говорю:

– Происхождение женщины... Одна – из ребра Адама. Другая – из пасти дракона.

– Я – от обезьяны! – возражает коллега.

Именно! От обезьяны. Кто бы усомнился...

И постоянно, язва, шпыняет...

У неё – ТОЖЕ СВОЙ «УГОЛ ФЭНТЕЗИ», оклеенный плакатами красивых актёров.

Затянувшаяся ветрянка. Детскими болезнями лучше переболеть в детстве...

На двери в туалет – одно лицо. Внутри туалета – другое...

Внезапно врываюсь к ней в кабинет – она испуганно, по-детски что-то прячет на столе.

Я – бесцеремонно, как и она:

– Ну-ка, ну-ка!..

А там – мать святая! – весь обнажённый Наполеон! с любовницей! И, доложу вам, параметры, в принципе, анатомически несоразмерны:

– Да-а... Однако, – философски подхожу я, – многое повидала я на своём веку...

– Бессовестная! – вопит, аж сиреневея от стыда... как бы её назвать... Ну, продукт эволюции по Дарвину...

– А мне-то что стыдиться? Интересно! Это я, что ли, в рабочее время – ай-я-яй! – тут люблюсь... Наполеоном! А-ля натюрель!

Завесила кабинетик inferнальными сценами. Красиво выполненными, технически безупречными картинами кого-то из современных.

Над столом – вся в голубом сиянье лунном – юная леди мчится на метле на шабаш. Силуэт Джульетты, рафф.

– Здесь тематические неточности, – замечаю я.

– Нет здесь неточностей! – злится Дарвинистка.

– Во-первых, метла.

– А что – метла?

– Метлу держали вперёд прутьями. Не эстетик – но именно прутьями вперёд. Во-вторых...

– А есть и во-вторых? – ехидничает дитя бисово.

– Во-вторых, летали на шабаш голышом. Закон сохранения энергии.

– Могли и в одежде!

– Не могли. Летит-то она не сама по себе, а усилием воли. И тратить энергию на тряпки неэкономично.

– Да много ты знаешь!

– В этих делах побольше тебя.

– А всё равно – красиво.

– Конечно, красиво. Хотя и неточно.

Женщина умнеет, становясь женщиной. Мудреет, становясь матерью. Если этот процесс нарушить или исключить какое-то звено, развитие замедляется. Законсервированные полудетские мозги. Отсюда – недоразвитое восприятие действительности.

Однажды с подружкой нарезали круги по Детскому парку. Она – моционила с коляской. Я – за компанию.

Нашли тихий уголок. Присели.

А напротив двое мальчиков играли в бадминтон с двумя девочками. Лет всем по семнадцати. Девочки нарочито пищали и повизгивали, пропуская волан. Всё время визжали...

– И того не подозревают, как глуповато выглядят со стороны, – заметила я.

– Ну, глупо, – согласилась подруга. – А я им завидую.

– Да чему же?!

– А возрасту. Прекрасный возраст – семнадцать лет.

– Чего же хорошего? Глупы как пробки. Вот двадцать пять – да. Самый прекрасный возраст.

– Двадцать пять? Чего же хорошего? Ну, мне двадцать пять, и – что? – возмущается она.

– Если б можно было, чтоб всегда – двадцать пять... – продолжаю я.

Помолчали, стучит воланчик... Визжат глупыги...

– А вообще-то ты права, – вдруг говорит она. – Двадцать пять – уже умна, но ещё красива.

Какая шикарная фраза!

Позднее всякое застолье по поводу дня рождения я начинала так:

– Ну, за двадцать пять?

Гости недоуменно пытались поправить. А она улыбалась:

– За двадцать пять!

Дарвинистка... Захожу – а у неё к книжной полке пришпилен... портрет генерала Тучкова.

– Ба, Тучков! – обрадовалась я.

– А ты ДАЖЕ Тучкова знаешь?! – негодуяще фыркает она.

– Лично? Нет.

Не хила ри... Сдаётся, она застолбила право на всех красивых мужчин. Всех эпох. И народов...

А мои познания объясняются просто: портрет из набора репродукций героев 1812 года.

Мой тогдашний юношеский идеал (блондины) воплотился в это чересчур истончённое личико. Только-то. Но – наша-то мадемуазель считает всех, ВСЕХ, ВСЕХ – глупее себя (кто занимает нижеоплачиваемую должность. С вышестоящими – она подобострастна).

Мне не дано быть подобострастной. По определению: слишком уж цинично выперли нас с наших позиций, чтоб терять и последнее – обычное человеческое лицо. Достоинство, так сказать.

Но, увы, меня раздражает, когда надо мною глумится новое начальство (хамы от партии), а она смущённо, но как-то по-лебезятнически хихикает рядом. И лицо при этом... Непередаваемо. Ей самой себя-то совестно. Но руководство в данный момент, по счастью, хамит не ей! Уже праздник.

Отступление.

Что такое маленький, но начальник? Это ущемлённое в детстве самолюбие. Самовыразиться хотелось, а таланта не было.

И когда оно, это ущемлённое самолюбие, дорывается ХОТЬ ДО КАКОГО-НИБУДЬ местечка, где от него ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ зависит, оно начинает мстить всем и вся за собственные комплексы. Страшненький тип саботажника по сути и природе своей. По Гончарову: дело, за которое он не возьмётся, но если возьмётся, то не дай Бог, если из этого что-то выйдет.

И главное: он, этот тип, станет давить и месить всех вокруг, давить и месить. И ежели не встретит раболепия, а ещё хуже – встретит сопротивление – о-оу!.. На это стоит посмотреть, но лучше дистанцироваться.

Волна обоюдной раздражительности нарастает. В её жизни нет места эксперименту, подвигу, разгону облаков. Тихое, ничегоне-

происходящее состояние считалось бы счастьем вполне, если бы... на соседнем участке, что через тоненький заборчик, не летали бы гости на мётлах, не цвело вишнёвое дерево среди зимы, не появлялись принцы и чудовища, в ассортименте, – в общем, не шла бы реальная, а не бумажная, жизнь в нереальном времени и пространстве.

Я – не так сижую, не так лежю, не то ношу, а эти декольте – сплошное убийство; а эти духи – сплошной разврат! а это вечное такси, меня вези! а эти ногти!..

О телефоне:

– Ручкой номер набирает! – И такое зло на лице. – Прямо как замдиректора!

– Просто ты ни разу не выходила от маникюрши, вот и всё.

(«Рефлексирующая» – последний шлепок, птичкой сверху...)

– А лучше как ты: закупориться в банке и сидеть в консервированном виде всю жизнь?

– Да вот, лучше в консервированном! Зато ни один микроб не залезет!

– Ну, знаешь ли, консервы тоже вспучиваются.

– Отчего это они вспучатся? Они – стерильны!

– От срока давности.

Продолжение следует.



*А. Б. Белоглазова
у оформленного ею стенда краеведческой литературы*

Журнал «Волга–XXI век» зарегистрирован МПТР РФ,
свидетельство ПИ № 77-16080 от 6 августа 2003 года.

Учредители: Министерство информации и печати Саратовской области, Саратовское региональное
отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России».

Издатель: ГАУ СМИ СО «Регион 64».

Директор – Владислав Степанов.

Редакция:

Главный редактор – Елизавета Данилова.

Дизайн и вёрстка – Лилия Баранова.

Корректор – Елена Березина.

Фото предоставлены Владимиром Вардугиним и Владимиром Ефимовым.

Подписано в печать 28 июня 2016 года.

Дата выхода в свет 30 июня 2016 года.

Журнал отпечатан в ООО «Амирит».

Адрес типографии: г. Саратов, ул. Чернышевского, 88.

Заказ № 09/28066

Цена свободная.

Почтовый адрес: 410005, г. Саратов, а/я 3535.

Адрес редакции: г. Саратов, ул. Соборная, 42.

Тел. (факс): (845-2) 28-63-49.

E-mail: lizamart@yandex.ru

Сайт: www.g-64.ru/volga

Подписной индекс 14320

При перепечатке ссылка на издание обязательна.

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своём решении.

Формат 70x100 1/16. Усл. печ. л. 15,60.

Бумага типографская. Печать цифровая.

Тираж свободный.



© ГАУ СМИ СО «Регион 64», 2016.

© «Волга–XXI век», 2016.



Лётчик-космонавт СССР
П. И. Климук



В Музее космонавтики



Лётчик-космонавт СССР
П. И. Климуk



ISSN 1993-9477

80616